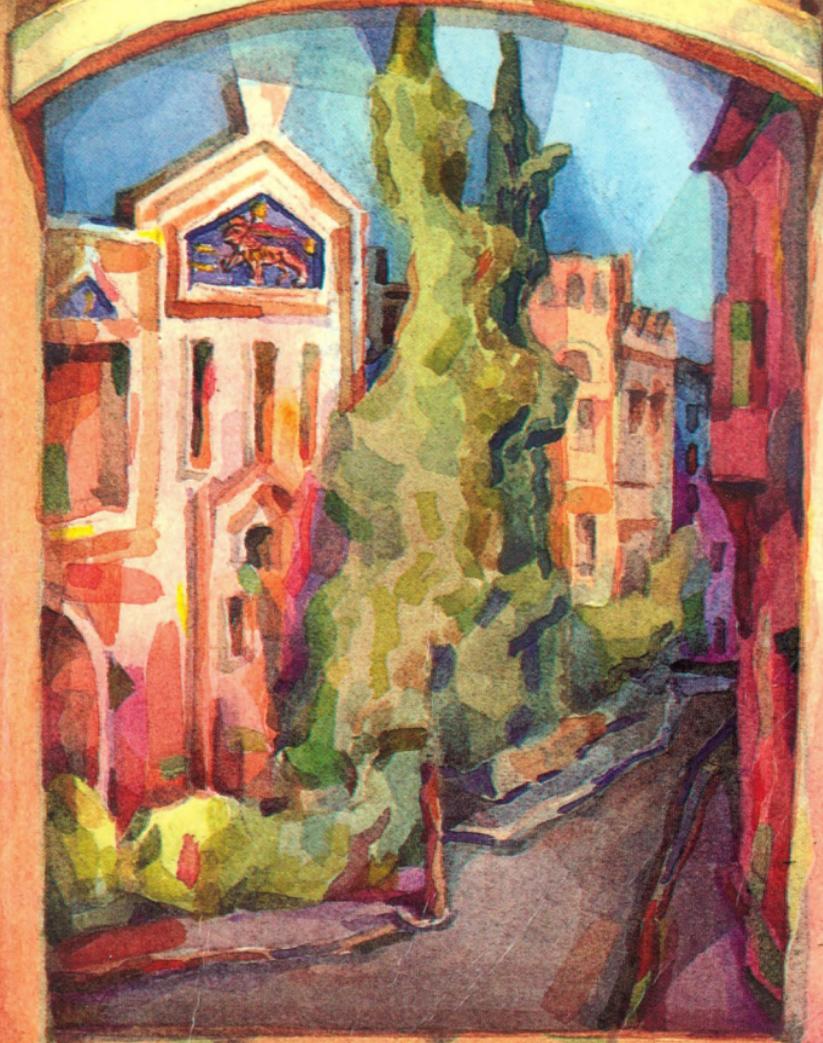




Д. Шахар ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ

157

Давид Шахар



ЛЕТО НА УЛИЦЕ
ПРОРОКОВ

Давид Шахар
ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ

ДАВИД ШАХАР

**ЛЕТО НА УЛИЦЕ
ПРОРОКОВ**



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1991

דוד שחר

קייץ בדרך הנביאים

David Shahar

**SUMMER IN THE ROAD
OF THE PROPHETS**

Перевод с иврита *Н. Вольберг*

Редактор *М. Шкловская*

Консультант *З. Копельман*

Оформление обложки *Х. Капчиц*

ISBN 965-320-157-3

©

All rights reserved

הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 4140 ירושלים

יצא לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

ואירגון הגוינט העולמי, ניו-יורק

Supported by The Society for
Research on Jewish Communities, Jerusalem, and
The American Jewish Joint
Distribution Committee,
New-York

Typesetting, plates and printing by PRISMA-PRESS,
Jerusalem

Printed in Israel

СОДЕРЖАНИЕ

В поисках утраченной жизни. <i>Ефрем Баух</i>	9
Истоки памяти	33
Глаз короля	46
Моисей и его жена-эфиопка	57
Луна и голубь	84
Звуки Абиссинской улицы	101
Визит старого судьи	112
Меж двух заветов	142
Возвращение блудного сына	183
Примечания	271

*Светлой душе
Авитара посвящается*

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ЖИЗНИ

(Предисловие)

В заглавии намеренно перефразировано название знаменитого цикла романов Марселя Пруста "В поисках утраченного времени". Если за спиной Пруста стояло "обычное" прошлое, специфичность и неповторимость которого он пытался восстановить, то за спиной военного поколения ивритских писателей — родились ли они в диаспоре или в Эрец-Исраэль — стояла черная дыра Катастрофы, к осмыслению и описанию которой привычными средствами прозы невозможно было подступить. Катастрофа привела к резкой поляризации отношения евреев к Богу: у одних — к углублению в мистику и мессианство, у других — к воинственной антирелигиозности.

После Второй мировой войны массы евреев из Европы и арабских стран двинулись в Израиль, и спустя десятилетия многоцветная пестрота жизни разных стран диаспоры хлынула в ивритскую прозу. Анализируя ее, критики писали о поисках общего знаменателя еврейского существования в Израиле, о ностальгии по прошлому, о новой конфликтности, выделявая при этом всевозможные антраша вокруг слова "побег": чем же является ивритская литература — побегом от своих корней или побегами единого корня, бегством — или бегом в единой упряжке...

Однако в недрах литературного процесса в по-

следние годы все усиливается голос новой, богатой содержанием, "параболической" и "фресковой" ивритской литературы.

Выдающимся представителем этого направления является Давид Шахар — пока единственный ивритский писатель, предпринявший грандиозную попытку создать разветвленную художественную систему, разворачивающуюся целым циклом романов под общим названием "Храм разбитых сосудов", его второе название — "Луриана", по имени одного из главных героев цикла, Габриэля Лурия, которое, в свою очередь, связано с именем великого каббалиста рабби Ашкенази Ицхака Лурия, сокращенно Ари (1534 — 1572). Эта огромная система в буквальном и переносном смысле разворачивается или, точнее сказать, вырастает подобно годовым кольцам дерева вокруг небольшого "пяточка" — жизни иерусалимского подростка в годы британского мандата. Имя этого мальчика — Давид Шахар.

Цикл романов Шахара — как бы прустинский поток сознания, организованный по известному принципу книги Кохэлэт (Экклесиаст): "Все возвращается на круги своя", — но каждый раз в новом измерении, с иной точки зрения, имея другую исходную позицию. Подобно романам Пруста "В сторону Свана" или "У Германтов", его романы движутся в сторону "Лета на улице Пророков", в сторону "Путешествия в Ур Халдейский". Эти два и четыре других романа — "День графини", "День привидений", "Нингель", "Сон в ночь Таммуза" — выдвигают на первый план то один, то другой образ, меняя при этом точку зрения на весь разворачиваемый повествованием мир. Движение романа и жизни идет от мальчика к взрослому человеку, живущему в независимом Израиле, однако с непрерывным возвращением к дням детства, очевидно, чтобы пройти проверку юношеским беско-

рытием и наивностью. Небольшое "реалистическое событие" начинает меняться, на глазах обрастая подробностями, оживая то так, то этак, рассматриваясь с уличной, психологической, лирико-символической, фантастической, наконец, мистической точек зрения. И каждое изменение точки зрения — это некий сдвиг в отношении автора к герою. Таким образом, читатель, вошедший в мир Шахара, обязательно проходит все его "круги", каждый раз как бы заново осозная всю структуру, всю архитектонику "Храма разбитых сосудов".

С публикацией пятого романа, "День привидений", у читателей и критиков создалось ощущение, что разворот темы движется к завершению, однако шестой, новый, роман — "Сон в ночь Таммуза" — опроверг это ощущение, поставив целый ряд новых психологических и философских проблем. Впечатление такое, что "Луриана" остается открытой системой и Шахар намеревается создать *израильский* вариант "В поисках утраченного времени" Пруста — произведение всей его жизни, призванное идеалистическим путем решить проблему времени, которое является и временем жизни автора. Эта система не может быть завершена, она может оборваться, но так и останется по самой своей концепции открытой, ибо как можно описать время, которое все завершает и не завершает ничего?

Как-то незаметно, в 60-е годы, начался этот цикл, как бы со стороны присоединяясь к пространству израильской прозы. Именно потому, что проза Шахара пришла с опозданием и с "другой стороны", она сразу привлекла к себе внимание — своей необычной образностью, особым языком и сложной системой взаимосвязей героев и сюжетных линий. Постепенно этот цикл выдвинулся на авансцену израильской прозы. В срав-

нительно короткий срок Шахар создал некую тотальную литературную систему, существующую под знаком "или все — или ничего", систему, охватывающую на экзистенциальном уровне всю пестроту и сложность израильской жизни: существование личности, детство, семейную ячейку, домашнее хозяйство, психологический климат, культуру со всеми элементами влияний Запада и Востока, исторические события, кризис зрелости, ту особую атмосферу парадоксально сталкивающихся и причудливо взаимодействующих пластов жизни, которая была принесена из разных концов мира в этот "колодец времени", стены которого хотя и обросли реальным (иногда до натурализма) мхом земного существования, но глубина его во всей свежести неизменно хранит живую воду Божественности Вселенной.

"Колодец времени" — Иерусалим.

Такой подспудный, поистине энциклопедический груз грозил в каждый миг превратиться в унылый справочник, но Шахар подает его через кризисы и разломы, переходя от образа к образу, от одной точки зрения к другой, как совершается скачок в эйнштейновской картине мира, где разные системы движутся по-разному. Шахар намеренно создает впечатление концентрации, перенасыщенности текста, провоцирует в читателе определенные ожидания, которые затем исполняет совсем не так, как читатель предполагал, создавая тем самым особое напряжение. Он так же внезапно меняет свою стилистику. Он старается всеми средствами ни на миг не ослаблять тревожного любопытства и ощущения, что идет неослабевающее непрерывное слежение за неким "Великим Сознанием", объемлющим всю культуру человечества е д и н ы м духом.

Личный взгляд Шахара на сущность мира простекает из учения Ари.

В очередном интервью очередному журналисту Шахар пытается вкратце изложить идеи великого каббалиста, разъясняя смысл названия цикла романов — "Храм разбитых сосудов":

"'Разбивание сосудов' — понятие, введенное Ари. Это, по сути, одна из основных идей человека, который искал ответ на вопрос: откуда зло в мире? Если Всевышний сотворяет лишь добро, откуда зло? Ответ Ари таков: Богу (Ари называет его "Эйн-Соф" — "Бесконечность") для создания физического мира необходимо было место. Но так как "Бесконечность" заполняет в с е, следовало ее сжать, сократить (ивр. *лецамцем*) и найти свободную точку для создания физического мира. После сжатия Бог ввел в эту точку материальный мир, который сам по себе лишен всякого смысла. Содержание и смысл он может обрести лишь тогда, когда в него вдохнут дух, душу. И тогда Бог ввел в этот мир один-единственный божественный луч света, но сила этого луча была столь невероятна, что материальный мир не выдержал его, и точка эта взорвалась. Другими словами, 400 лет назад Ари пришел к выводу, что мир является продуктом великого взрыва и все мы родились в этом взорванном мире. Каждый из нас — малый осколок, несущий в себе каплю света того божественного луча. Вот мое понимание теории Ари. Мы все — плоды взрыва, в результате которого в этом мире нет ничего, что находилось бы на своем месте. Все мы — осколки разбитых сосудов. Каким же образом это исправить? Бесконечность обладает слишком большой мощностью, чтобы можно было повлиять на нее. Но каждый человек может исправить самого себя, и основой этого является его единственное и неповторимое бытие, переживание с в о е г о времени и места, самое что ни на есть интимное и личностное. Это переживание я ощутил в детстве, здесь, в Иерусалиме, как и

Ари, это и стало основой моего мировоззрения и моего творчества. Ощущение чуда возникло у меня однажды, когда я был на военных сборах, вернее, даже не чуда, а какого-то необъяснимого счастья: я получил по почте журнал, в котором был опубликован мой первый рассказ, а через несколько дней увидел листки журнала в туалете: кто-то еще получил журнал и распорядился им по собственному усмотрению. С тех пор я не ожидаю ничего, но знаю: все, что вершится, само по себе — чудо”.

Конечно же, начиная писать первую книгу, Шахар не предполагал, во что это выльется. В определенный момент он думал о восьми главах, книга Ари тоже состоит из восьми глав, которые, кстати, были записаны со слов Ари его верным учеником, равом Хаимом Виталом, ибо Ари, подобно Сократу, не записывал свое учение, не желая, чтобы оно стало достоянием любого профана, использующего впоследствии эти записи не по назначению (и неважно, что об этом говорит Давид Шахар, желающий просто выразить определенное ощущение радости бытия, заключенное в фатализме, радости с примесью печали, но чистойшей и честнейшей). Вспомним Ахматову:

...Здесь все тебе принадлежит по праву.

Стеною стали долгие дожди.

Оставь другим игрушку мира — славу,

Ступай домой и ничего не жди...

Счастье сочинительства поглощает годы. Каждая глава оборачивается романом в 300 страниц. ”Так оно складывалось само по себе”, — говорит Шахар.

В его творчестве сталкиваются высокое и низкое, будничное и возвышенное, они сливаются и противостоят друг другу. В этих столкновениях есть нечто из каббалистических притч и от поэти-

ческого модерна, когда тайна самого существования внезапно оборачивается прахом и иронией будничной серой жизни. Мир Шахара стоит на двух основах. Мистико-каббалистической противостоит — словно вторая сторона арки — его экзистенция, личность, выпестованная израильской реальностью. Обе эти основы сталкиваются и дают о себе знать в самых неожиданных местах, и столь же внезапно метафизика оборачивается иронией, а израильская экзистенция расщепляется на две конфликтующие части: иудаизм сталкивается с ханаанизмом. Автор словно бы колеблется между монотеистическим иудаизмом и языческим ханаанизмом. Конфликт происходит в душе автора: он с иронией относится к внешним одеяниям — ”скорлупе” иудаизма, воспевает окружающую природу с щедростью язычника, но, по большому счету, сквозь всю систему его романов проступает специфическое во всех своих проявлениях иудаистическое мировоззрение.

Многих критиков смущает его главный герой — Габриэль Лурья, почти пророк, который в романе ”Нингель” внезапно превращается в марионетку некоего чудовища женского рода. Так и не ясно, кто это чудовище — Лилит, Астарта? Быть может, Мелхола, жена царя Давида? Но Давид, положим, плясал перед Ковчегом завета, а Габриэль кажется обычным паяцем. Вспомним, однако, ”погонщика ослов” из главной книги еврейской каббалы — ”Зохар”: подхлестывая хворостиной ослов, на которых едут мудрецы-каббалисты, ведущие беседу о метафизических тонкостях, этот погонщик внезапно вступает в разговор, и столь же внезапно мудрецы понимают, кто кого погоняет, спускаются с ослов и падают перед ним на колени в глубоком смирении.

Именно так, в карнавальных преображениях, ввысь и вниз, раскачивается грандиозная система

шахаровских ассоциаций, то снижаясь до уровня пародии, то взлетая на уровень Книги Бытия.

”Да будет!” — произнес некогда Шахар, приступая к ”сотворению” сложного художественного мифа в цикле романов ”Храм разбитых сосудов”. Получив первоначальный толчок, этот миф продолжает разворачиваться сам собой, как бы обгоняя своего создателя, но даже это отставание оборачивается еще одной художественной гранью в структуре цикла.

* * *

”Да будет!” — свежестью и первозданной мощью этого возгласа, брошенного мальчиком вглубь ”колодца времен” и возвращающегося многократным эхом, сразу и с места начинает разворачиваться повествование в одном из первых романов цикла — ”Лето на улице Пророков”. Оно надвигается из колодца ведром расплескивающейся воды, вытягиваемым мальчиком из глубин, и поскольку в этот миг над ним возникает фигура Габриэля Ионатана Лурия, вошедшего во двор прямо из дальнего земного странствия (из Парижа), образ Габриэля запечатлевается в детской памяти ”поднимающимся из отверстия колодца вместе с ведром воды”.

Более того, на колышущийся на воде облик мальчика накладывается облик главного героя его жизни, они сливаются на поверхности воды, и сияющий венчик вечности (от тонкой пленки керосина, предохраняющей воду от малярийных комаров, подобно тончайшей лаковой пленке на старинных картинах, сохраняющей нам образы прошлых столетий) предохраняет бранные образы обоих от исчезновения в глубинах летейских вод.

”Я отодвигаю крышку и всматриваюсь в тем-

ную поверхность воды. Тонкий защитный слой керосина, маслянистый, отбрасывающий разноцветные отблески, образующие как бы сияние вокруг тени от моей головы, которая поднимается из воды и скрывает ее глубину и поверхность и возвращает мне мой голос — ”Хо-хо-о-о”, — охлажденный камнем и железом”.

Колодец — источник жизни дома, улицы, Иерусалима. Старая Пнина, тетка Габриэля, все время в беспокойстве: то нет дождя, и сезон его, провисающий между еврейскими праздниками — Ханукой и Ту-би-Шватом, всухую движется к своему завершению; то — сплошные ливни, угрожающие унести и двор, и дом, и жизнь, ведь они стоят над колодцем, и всю улицу Пророков погрузить в пучину вздувшегося водами ручья Кидрон в долине Иосафата, долине Страшного суда. Только один Габриэль пророчески спокоен, курит сигарету, погружен в ”странную беспечность” и как бы между прочим проборматывает в дни засухи: ”Да, да, сосуды пустеют” или, в период угрожающих ливней: ”Сосуды не могут вместить изобилия”.

Странные приступы слепоты посещают Габриэля. Он настолько чувствителен к свету, что даже внутри дома от луча, косо падающего из окна на страницу книги, может получить световой удар. Тонки и сверхчувствительны глазные сосуды Габриэля. И лишь намного позднее автор поймет, какая связь между колодцами, которые не могут вместить изобилия воды, и глазами, которые не могут вместить изобилия света.

Обратите внимание, мы еще и не начали книгу, а перед нами уже развернулась предельно уплотненная экспозиция, сразу же втянувшая нас в самую глубину повествовательного водоворота, сразу же увязавшая самые поверхностные детали с нитями того первозданного света, который чист, как пер-

воначало и основа творения, как возглас — ”Да будет свет!”

По части таких узловых экспозиций, то внезапно, то исподволь возникающих из потока повествования, Давид Шахар — большой мастер: так запросто, в бытовом разговоре с тетей Пниной (почти ”Групповой портрет с дамой”), обронить слова, вмещающие лурианскую концепцию мира, наложенную на генетический страх перед всемирным потопом; так тонко внезапными приступами слепоты у Габриэля намекнуть на одну из основополагающих идей каббалы: на иврите слова *ани* (”я”) и *эйн* (”ничто, нет меня”) состоят из одних и тех же букв, только в разных сочетаниях, — личность, ”я”, как бы вычеркивает себя, исчезает в ослепительном свете Божественной эманации.

И в дальнейшем эта произвольность закрепляется:

””Это звезды, — сказал мне Габриэль и добавил: — Небесное воинство’. Где-то заскрипела и приоткрылась дверь, и из щели, возникшей в непроницаемой толще темноты, пролилась наружу струя света, которая достигла основания кипариса, росшего у входа в наш двор, и обернула низ его ствола лоскутком дня. Прохладные легкие языки ветра перешептывались между деревьями и приносили издалека, из-за горы Скопус, запах влажной земли и еле слышные голоса, напевные и резкие, пронзительные, скрежещущие голоса ночной жизни... и стена Старого города, и горы вокруг, Масличная гора и гора Скопус, погруженные во тьму, — все присутствовало тут, и дыхание оставалось под тяжестью древности, страшной по своим нечеловеческим размерам, по длительности своего существования за пределами человеческого века, по своему равнодушию к маленькому человеку, копошащемуся на ее поверхности...”

И единственно Габриэль был тем, кто мог проти-

востоять мощи этого равнодушия, имея какие-то необычные связи с той "тяжестью древности", которая, по сути, вечность: ведь он мог заглядывать в нее, как в стеклянный шар, подобный гигантскому аквариуму для золотых рыбок, и, обнаружив там скопления пауков, обернуть свой гнев птицами и кошками, которые принялись этих пауков уничтожать, однако старуха Роза, сестра сеньора Моиза, напомнила о спасительной паутине, заслонившей Давида в пещере от царя Саула. Только благодаря присутствию рядом Габриэля мальчик чувствует в глубине пещеры, в сущности склепа для захоронения, что "течение времени слилось с жизнью камней так, что камни превратились в заповедное пространство, стерегущее время".

Давид Шахар верен законам ассоциативной памяти, зная, что только они могут случайным сцеплением событий во всей живости и свежести поднять захороненное прошлое, он сталкивает порой предельно конкретное с предельно отвлеченным (иногда даже злоупотребляя натуралистическими описаниями): благодаря такому столкновению событие врезается в память во всей своей остроте и непосредственности — натуралистическое описание похорон с "желтовато-зеленоватой ступней" покойной между простынями, с телом, которое хоронят без гроба, взаимосвязано с фразой Габриэля, весьма отвлеченно выражающей высшие истины: "Евреи здесь, — так сказал он, — торопятся разбить сосуд в тот момент, когда он опустеет, чтобы он возвратился поскорее к праху, из которого взят". Мальчик столь же неожиданно и произвольно продолжает ассоциацию, думая, что речь опять идет о колодце, высыхающем из-за отсутствия дождей, и он в свои четырнадцать лет явно ближе к пониманию сущности мира, чем многие взрослые.

Завершая первую главу романа "Лето на улице

Пророков” — ”Истоки памяти”, Шахар мгновенно переносит нас из времени ее действия через четверть века, почти в сегодняшний день (с этим приемом мы встречаемся во всех книгах цикла), уже с самого начала пытаюсь придать всей разворачивающейся в будущем эпосе характер ”не повествования”, добиться, чтобы текст воспринимался сам по себе, не как фикция, а как некая самоценность, данная в откровении:

”После того, как прошло четверть века и я случайно узнал — об этом я расскажу в свое время, — что Габриэль Ионатан Лурия — это тот человек, который сочинил ”Храм разбитых сосудов”, мне стало ясно, что есть связь между человеком, который вычеркнул свое имя из книги жизни, и между тем успокаивающим излучением, изливающим уверенность и радость, которые он распространял”.

И длится пир, вернее, кружится водоворот повествования, рассматриваемый через ”колодец времени”, похожий на подзорную трубу, наставленную на двор и дом, в котором ”мне повезло провести дни моего детства... на спуске улицы Пророков, на границе с Муссарой, в котором родился Габриэль Ионатан Лурия в первом году двадцатого века, за двадцать шесть лет до того, как родился я”.

И втягиваются в этот водоворот толпы людей, лошадей, экипажей, кишущих вокруг стен Старого города, у Шхемских ворот, кажущиеся издалека, в полуденном иерусалимском солнце, фрагментами с полотен мастеров эпохи Возрождения. Кружатся в нем вещи, найденные мальчиком в подвале дома: шарманка, ржаво воспроизводящая звуки ”Марсельезы”, и турецкий кинжал в ножнах (ему еще предстоит стать ”осью” одного из внутренних сюжетов романа), и необычные люди, подстать необычности Вечного города, как,

например, абиссинские монахи, черные в черных рясах, что делает их похожими "на черные одушевленные столбы", и эфиопский император Хайле Селассие — во всех ослепительных регалиях генеральского мундира, и отец Габриэля — своеобразная реликвия времен турецкой империи, он и "консул", и "бек", с наголо выбритой головой, пышными усами, в цилиндре, всегда вместе с прислуживающим ему долговязым и тощим сеньором Моизом и матерью Габриэля (эта троица неразрывно и шумно проходит через роман, описываемая подростком с юмором, переходящим в шарж, но неожиданно для читателя, а быть может, и для самого автора и его героя, эти персонажи приобретают легендарную ауру, отбрасывающую печальный и чистый свет на прошедшую жизнь).

Водоворот повествования заверчивается пластами. И в нижнем пласте каждодневной мимолетной суетной жизни события и участвующие в них персонажи фиксируются остротой столкновений, пестротой и красочностью иерусалимского люда, удивительной графичностью, врезающейся в жадную впечатлительную память подростка: сухой прямой судья Дан Гуткин, почти живая эмблема суда британской империи, а рядом — округло-шарообразная Пнина и т.д.

Да, в этом нижнем пласте жизни происходят события, трагический накал которых достигает небесного уровня: всю жизнь свою дед Габриэля со стороны матери, столяр с улицы Мидан в Еврейском квартале Старого города, один из лучших столяров Иерусалима, с великим искусством делал *аронот ха-кодеш* — шкафы для хранения свитков Торы для разных синагог — и с великой униженностью просил немного денег для встречи субботы у старосты синагоги в счет платы за новый *арон ха-кодеш*. Дошло до того, что у него не оказалось и копейки для покупки субботних

свечей, и тогда он согласился вырезать большой крест из масличного дерева для русского монастыря, причем резал его по ночам, ибо делал это против своей воли.

”Однажды ночью, когда крест был закончен, проснулась маленькая Ентеле и выглянула на улицу через круглое окошко; она увидела большой крест, распростертый во всю длину и ширину на блестящих в лунном свете камнях мостовой и ползком продвигающийся к предназначенному для него месту в русском монастыре... В нескольких шагах от мастерской группа евреев, возвращавшихся с ночной молитвы у Стены плача, наткнулась на несущего на своей спине крест столяра, и в следующую же ночь его дом был подожжен”.

Но над нижним пластом жизни с его суетой, скандалами, изменами, жестокостью, бедностью, болезнями и смертями, как бы вырастая из всего этого и простираясь над всем этим, возникает более высокий пласт: звуки рояля, словно ”гладкие и прохладные стеклянные шарики”, начинали скатываться в дрожащие ”витиеватые звуки цитры, сопровождавшие голос арабского певца”, ночной воздух начинал ”дрожать от нарастающего напряжения, ибо отрывистые звуки западной музыки не растворялись в восточных мелодиях”, они создавали ”взрывчатую смесь, готовую вспыхнуть от малейшей искры”, и этот несчастный пианист (о нем — очередная история в нижнем пласте жизни) в укрытии своей комнаты творил чудеса, причем в ночные часы. ”Непонятно, во сне или наяву падала вдруг первая чистая нота в раму открытого окна, подобно вспыхнувшей звезде, которая мгновенно наполняет пространство черного неба волнами скрытой тоски, вибрирующей в самой глубине человеческого существа, так что перехватывало дыхание, и ей вослед вторая нота за-

стывала светом, подобно второй звезде... и еще звезда, и еще... и пустое пространство наполнялось упругими волнами ожидания того, что вот-вот звуки воплотятся в точки света — и завершится пунктирный абрис созвездия, созвездия Ближнецов, например...”

На этой высокой ноте напряжения стоит музыке пресечься, как место ее в сердце заполняет страх перед бесконечным и холодным пространством между звездами, ”подвешенными в пустоте без всякого смысла”.

Но по ступеням этого трепещущего, готового исчезнуть в любой миг и все же вечно скрытого за реальностью мира можно войти в лунную ночь, мистически-прекрасную лунную ночь Иерусалима, когда полная оранжевая луна выплывает ”из-за Моавитских гор” и повисает ”в необъятном и вечном безмолвии, которое сообщает ночи в Иудейской пустыне высокий накал потустороннего мира и объемлет подножие вселенной волнами пространства, покоящегося на плечах гор”.

Так *пространство повествования* заверчивается с низин жизни, идет ввысь, увенчиваясь лунной иерусалимской ночью с мгновенным ощущением мощно разворачивающегося *реального пространства* подъемов и бездн — долины Кидрона с Масличной и Храмовой горами, — пространства, где, словно сжав в горсти, можно охватить единым взглядом всю духовную историю мира, с Давидом и Соломоном, Христом и Магометом.

Но над этим миром существуют еще более высокие сферы, касающиеся самых сокровенных тайн вселенной и человеческой души.

Вспомним ту ночь, когда тринадцатилетний Габриэль, ставший ”сыном заповеди” (*бармицва*), спустился со своим голубем в Кидронскую долину, вернее, ”вышел за голубем, навстречу лу-

не, которая сбрасывала с себя рыжее облачение и кидала его на неясные очертания Моавитских гор”. Мистическая интуиция и причастность к высшим сферам дают возможность мальчику спокойно, как лунатику, двигаться над пропастями, по дну Кидронской долины, между гробницами пророка Захарии и Авессалома, сына царя Давида; голубь садится на край скалы, и возникает, протягивается л и н и я Божественного напряжения и томления — через голубя, долину Иосафата, точку, в которой соприкасаются восточный склон горы Скопус с западным склоном Масличной горы, через тело мальчика, лежащего животом вниз на выступе скалы с вытянутыми вдоль тела руками, — к луне. ”...Трепетали нити, которые пряла луна из все усиливающегося страстного томления одного мира по другому, пока не открылся канал, соединяющий сферы, и не хлынуло сквозь него на Габриэля щедрым потоком дыхание луны, исторгнутое ее жадными багряными устами и несущее в себе лиловую серебристость ее кожи”. Женское начало, столь амбивалентно описываемое каббалистами, связанное с прародительницей ведьм Лилит (“Ночной” — от слова *лайла* — ночь), с Евой, вкусившей от запретного плода, — ”в тот миг все человечество ощутило на губах вкус смерти” (“Зохар”), — столь же амбивалентно сталкивается в этом эпизоде с библейской притчей о жертвоприношении Авраама. Габриэль приносит в жертву голубя совсем недалеко от горы Мория, места, где Авраам занес нож над своим сыном Ицхаком. Габриэль совершает это, зная, что ”со смертью голубя придет конец и его душе”. Бог не посылает Ангела и агнца, запутавшегося в кустарнике: ”Барашек не запутался в чаще рогами, и кровь голубя ... пролилась на жертвенник, на котором не было дров”. И не было огня, чтобы усладить Его ”вдыханием души”, души, которую Он вдохнул в того,

”кто погиб вместе с жертвой, но не простил Ему”.

Сложные взаимоотношения Габриэля Лурия со Всевышним, по сути, держат его в этих высших сферах, и потому в нижней, земной жизни он кажется странным, не от мира сего, но и спокойным и вселяющим покойствие в других в мгновения страха и в моменты предчувствий катаклизмов. С одной стороны, он ”вычеркнул свое имя из книги жизни”, но, с другой стороны, и быть может, именно поэтому, излучал ”уверенность и радость”.

И мальчик, и повествователь (взаимоотношения и взаимозамещения между ними и Габриэлем Лурия намеренно запутаны и усложнены) понимают, как посчастливилось им прожить свои отроческие годы в соприкосновении с Габриэлем Лурия, и это было равносильно ”радости пробуждений, которой было отмечено то лето”, не ощущаемой повествователем уже более двадцати пяти лет.

Описание ”мгновения пробуждения” — это, можно сказать, косвенное описание художественного принципа, со временем все более уверенно становящегося основным в романах Шахара.

Мгновение пробуждения — как первая потрясающая будущего автора мысль о конструкции цепи романов: ”Мгновение пробуждения, этот переход от реальности сна к реальности жизни, тяжелое и болезненное мгновение, даже если открывающиеся глаза плоти призваны освободить человека от кошмаров сомкнутых глаз духа, ибо это мгновение относится к числу непостижимых мгновений обновления мира, возникновения света, рождения и смерти, во время которых родовые муки охватывают творца, и его творение, и роженницу, и ребенка, и мир, и его спасителя”.

Все эти мысли и ощущения сопрягаются в разворачивающихся анфиладах залов ”Храма разбитых сосудов”, начинаясь с детства автора, когда бездонный переход ”из сознания во сне к сознанию

вне сна” столь быстр и неосознан, что и боль тоже не осознается, а переход скорее полон ликования, как переход из одной комнаты в другую ”в заколдованном дворце”, и это ликование столь сродни мистическому чувству радости, охватывающему праведников, несущихся на колеснице ввысь, сквозь анфилады высших чертогов (храмов) к престолу Божьему. Так открывается канал, связывающий книги Шахара с мистической ”литературой чертогов” (*сифрут ха-хехалот*), целым литературным течением, возникшим еще в первые века новой эры в Эрец-Исраэль и в Вавилонии. Но Шахар с его попытками экзистенциального познания жизни и мира принадлежит двадцатому веку, и потому, по Шахару, ”не будет преувеличением сказать, что мир дня и мир ночи являются лишь разными состояниями сознания человека при пробуждении” и состояние человека во время сна сходно ”с реальностью, в которой пребывает душа перед рождением и после смерти и которая находится за пределами и дня, и ночи”, и проникают туда ”только особые сны, такие, от которых в памяти не остается ни следа”, и только особым напряжением творчества человек способен удержать нечто от тех, мгновенно стирающихся дневным сознанием, ”основ мира”.

Шахар старается строить свою прозу по законам, которыми пользуются каббалисты при чтении текстов Священного писания, различая четыре ступени раскрытия этих текстов (они называют это *пардес* — аббревиатура слов *пшат*, *ремез*, *друш* и *сод*). Первый, верхний слой — ”буквальный смысл” (*пшат*), за ним — ”намек” (*ремез*), затем — ”комментарий” (*друш*) и после всего этого остается ”тайна” (*сод*). В первом слое автор обильно пользуется ассоциациями, ассонансами, игрой слов, которыми столь богат язык иврит, но уже в самой игре слов ощущаются намеки,

текст насыщен цитатами из священных книг, которые воспринимаются органической частью романа, ибо родились в лоне того же языка, на котором он написан, и стали неотделимой частью тысячелетнего еврейского сознания, и, разумеется, облако, покров, веяние, печаль т а й н ы пронизывают всю ткань романа, что, конечно, не укрывается от глаз читателя.

* * *

Около трети романа составляет последняя его глава — "Возвращение блудного сына", включающая многие элементы экспозиции, предвещающие разворот темы вокруг Габриэля Лурия. После всех перипетий предыдущих глав автор возвращается к изначальной точке: прежде чем представить героя читателям, он пытается представить его себе сам по рассказам тех, кто знал Габриэля, и видится он ему силачом с огромными усами, похожим на турка, торгующего коврами. К удивлению автора, Габриэль воочию возникает перед ним совсем иным — таким европейским денди в "белой шляпе, круглой, твердой и украшенной черной лентой, которую он называет "шляпа-панاما"; в синем пиджаке с золотыми пуговицами, в белых отутюженных брюках и с тростью..." Такое ощущение, что автор как будто только начинает примериваться к образу Габриэля: то застает его врасплох выслушивающим упреки матери, то в момент, когда тот бреется. Более того, Габриэль Лурия вроде и сам ищет самого себя. Но и научная истина, которую ему преподавали в Сорбонне, куда он уехал из Иерусалима изучать медицину, представляется ему всего лишь знанием "о том, что такое истина и что такое ложь, которому поклоняются язычники от науки, завладевшие миром". Бросив учебу, он

уехал в глухую бретонскую деревню на севере Франции с ее старыми домами, "столетиями погруженными в сон", с ее христианской верой, столь же тяжеловесной, как сработанные из гигантских дубов кровати-шкафы, на которых там спят и поныне. Он даже испытывает странное, смешанное с тревогой и страхом наслаждение, ложась в эту кровать, похожую на ларец, огромную резную шкатулку, "арон ха-кодеш". Предназначенный у евреев для хранения свитков священной Торы, он оборачивается в бретонской деревушке, описанной Шахаром, ложем сна, наслаждения и смерти, человеческой агонии, каждый раз напоминающей агонию Иисуса (ощущение, глубоко чуждое иудаизму). Габриэль даже увлекся притчей о Прекрасной Мадлен, которой явился сатана в виде обольстителя и попросил единственного: "Вкусить хлеба святого и выпить святого вина". И умерла Прекрасная Мадлен в той самой постели, где в минуты крайнего забвения возлежал молодой Габриэль, пытаясь вызвать ее облик, но вместо этого в ужасе ощутил присутствие своего деда, иерусалимского столяра, и болью, скорчившей все его тело, пришло к нему ощущение вины, глубоко загнанное в подсознание: когда-то в детстве дед подарил ему шкатулку с ключиком, похожую на Ковчег завета в миниатюре (удивительна у Шахара эта игра, когда, словно матрешки, из гигантского ларца-кровати извлекается меньший ларец, подобие Ковчега завета, а из него — совсем малый ларец — шкатулка, и каждый увенчан колоннами с капителями, родоначальницами которых являются колонны Иерусалимского Храма). Дед тайком показал внуку новый Ковчег завета, арон ха-кодеш, который делал для тех мошенников, синогогальных старост, которые должны были ему деньги еще за прошлую работу, а подлостью и мелочностью ничем не отличались от монастырских

служек, но ведь не для них делал старик работу, а для Всевышнего. Малыш Габриэль по наивности своей, хвастаясь шкатулкой, выложил все матери, которая тигрицей накинулась на старика-отца, и тот... тронулся умом. Но главная вина Габриэля была упрятана еще глубже: причесанный, в синей курточке с золотыми пуговицами, внучек избегал свихнувшегося столяра, боялся, что кто-нибудь признает в этом сумасшедшем, вечно что-то бормочущем про себя старике его деда. Как это характерно для эмансипированных поколений евреев галута, стеснявшихся своих бормочущих молитвы дедов...

Все дальше и дальше уходит Габриэль Лурия от очистительных высот Иерусалима, в лунатическом равнодушии своем дойдя в одну из ночей до крайних пределов языческого мира — каменных столбов на берегу моря: "Гигантские столбы, уходящие правильными рядами по направлению с востока на запад, установление которых потребовало от древних язычников удивительных знаний, эти мудроно расположенные каменные гиганты, как и скалы на берегу залива, как и волны моря, как и далекие созвездия, распространяли тот же нездешний равнодушный холод, поскольку они относились к той же безличной системе земли, и моря, и звезд с открытыми слепыми глазами, которые бессмысленно вращаются в темнице собственных орбит, следуя слепым законам, продиктованным слепыми силами, которые в слепоте своей сотворили сами себя".

Но космический круг, столь же слепо несущий Габриэля по своей орбите, должен замкнуться внезапным взрывом и катарсисом — таковы уж законы повествования, обретенные Шахаром в этом — одном из первых романов цикла в предчувствии его спиралевидного развития. Посыльный Габриэль Лурия в униформе с крестом на спине несет

посылку кальвинистскому священнику, судя по напутствиям посылающих его, — высокой персоне.

”Дверь отворилась, и священник протянул руку, чтобы взять посылку, а второй рукой начал рыться в кармане, чтобы вытащить несколько монет на чай носильщику. Когда священник поднял голову, Габриэль увидел под черной шляпой лицо Маленького Срулика, лицо Израиля Шошана, своего давнего друга еще со времен иешивы рабби Авремеле в Старом городе и иешивы рава Кука...” Если для Габриэля эта встреча явилась поначалу неожиданностью, кальвинистского миссионера Израиля Шошана она потрясла: ”Он отпрянул назад, наткнулся на стол и ухватился одной рукой за его край... он судорожно заслонил глаза, словно защищая их от невыносимого зрелища”.

И тут раздается возглас Габриэля, не менее, если не более относящийся к нему самому, нежели к доктору Шошану:

”Срулик, Срулик!... Что ты тут делаешь?”

Оказывается, Срулик готовится к лекции о значении Тайной вечери, он постепенно успокаивается и даже увлекается собственным красноречием перед замолкшим и замершим Габриэлем.

И затем, всего на протяжении полустраничного фрагмента, завершающего роман, подобно молниям в сером безликом пространстве лунатического равнодушия, следуют один за другим несколько шоковых ударов, которые, как известно, возвращают человека к самому себе.

”А может быть, я и вправду умер?” — думает Габриэль, ибо ужас, каким был охвачен Срулик, могло нагнать только привидение.

Самый верный способ узнать, не отлетела ли душа, это отыскать свою тень, — вспоминает Габриэль.

”Я ищу свою собственную тень, а может быть,

и Маленький Срулик мертв, как и я, но только он не знает этого”.

”Его веселость еще увеличилась, когда он посмотрел вокруг и не нашел ни одной сколько-нибудь заметной тени — ни своей, ни Маленького Срулика. В сероватом свете, пробивающемся сквозь вечные туманы, окутывающие северные города и скрывающие яркий глаз солнца, его глаза различали только мягкие оттенки и полутона, плавно сливающиеся друг с другом и не имеющие никаких четких очертаний”.

Этой *веселостью*, скорее похожей на паническое болезненное пробуждение от спячки, от лунатического равнодушия, когда внезапно во всей остроте (ослепительна память иерусалимского солнца) видишь, до каких пределов ты опустился, завершается роман ”Лето на улице Пророков”.

* * *

Хочется добавить, что Давид Шахар пользуется большой популярностью не только в Израиле, но и за его пределами. Газета ”Нью-Йорк таймс” назвала его ведущим писателем на языке иврит. Во Франции его наградили одной из самых престижных литературных премий и т.д. и т.п. И все же Давид Шахар прежде всего — истинно еврейский писатель, национальный еврейский писатель.

Ефрем Баух

ИСТОКИ ПАМЯТИ

Первые четыре воспоминания — свет, вода колодца, вход в пещеру и выступ скалы около нее — связаны у меня с образом Габриэля Ионатана Лурия во время пребывания его в нашем доме в пору моего детства. Из Парижа приехал он прямо в наш дом. И поскольку вошел он во двор немного раньше, чем абиссинский император вошел во двор консульства Эфиопии, которое помещалось на противоположной стороне улицы, то есть в тот момент, когда я черпал воду из колодца, его образ запечатлелся в моей памяти поднимающимся из отверстия колодца вместе с ведром воды, разбрызгивающейся в разные стороны скачущими блестящими каплями, которое я в этот момент поднимаю и тащу со странным удовольствием; образ, поднимающийся и раскрывающийся, как бумажный японский цветок на дне стакана с водой, который он же и купил мне у Ханины — продавца игрушек. Воды колодца глубоки, мягки и темны, с запахом древнего камня, железа, душицы и керосина, тонкая пленка которого предохраняет от малярийных комаров. Стенки колодца напоминают небольшой жертвенник, примостившийся в углу двора и покрытый железной крышкой. Я отодвигаю крышку и всматриваюсь в темную поверхность воды. Тонкий защитный слой керосина, маслянистый, отбрасывающий разноцветные отблески, образующие как бы сияние вокруг тени от моей головы, которая поднимается из воды и скрывает ее глубину и поверхность и возвращает

мне мой голос — "Хо-хо-о-о", — охлажденный камнем и железом. Я опускаю ведро вниз, а конец веревки туго намотан у меня на руке, чтобы оно не выскользнуло и не утонуло в глубине. По мне пробегает дрожь от предвкушаемого заранее удовольствия, вызываемого ощущением касания о нежную и податливую поверхность воды, и потом резким и решительным движением я заставляю легкое ведро, которое желает плавать на поверхности, проникнуть внутрь. Ведро начинает погружаться под тяжестью наполняющей его воды. Я освобождаю веревку и слежу за ней. Ведро уже наполнилось, но я все разматываю веревку, чтобы услышать и почувствовать металлическое касание ведра о каменистое дно. Тогда я начинаю тянуть веревку вверх, пока не появится ведро, полное воды, и не прорвет пленку на поверхности, и не поднимется через узкое отверстие колодца, задевая за его стенки и разбрызгивая светящиеся капли в разные стороны. Если не буду осторожен, разольется половина воды, пока ведро не покажется в отверстии колодца. Решительным движением я опоражниваю его в один из двух "танажий" на кухне — эти пузатые кувшины для хранения воды, почти с меня ростом, стоят на кухне в жестяных коробках, так как их круглое дно слишком узко и неустойчиво.

Старая Пнина, тетка Габриэля, с тревогой вглядывается в отверстие колодца и опускает веревку, чтобы измерить уровень воды, который понижается с поразительной быстротой, несмотря на все наши усилия экономить воду, так как вот уже и месяц тевет прошел, пролетели и миновали дни Ханукки, Ту би-шват на носу, а дождя все нет, нет даже туч¹*. Если еще две-три недели не будет дождя, придется обратиться к Арэли-водоносу по

* Примечания см. в конце книги.

прозвищу "собачий король". Состояние колодца служит для тети Пнины источником постоянного беспокойства, и вид ее лба, на котором появляются морщины всякий раз, как она заглядывает в отверстие колодца, внушает это беспокойство и мне. В прошлом году мы волновались из-за наводнений; весь двор стоит над колодцем — служит ему потолком, и в дождливые ночи меня охватывал страх: вот размоет колодец, и мы все погрузимся в воду. Тогда тетя Пнина поспешила отвести воду, стекающую с крыши по водостоку, прямо в канализационную трубу, что сделать было очень просто, следовало лишь перенести затычку из канализационной трубы в трубу колодца, чтобы заткнуть ее. Но этот год засушливый, и тетя Пнина с наморщенным лбом и тревогой в глазах все время заглядывает в глубь колодца, как будто надеется, что ее сосредоточенный взгляд заставит колодец наполниться. Я возвращаюсь и бросаю ведро в воду, а когда поднимаю его, слышу голос Габриэля Ионатана Лурия и вижу сияние его лица. И сразу же исчезает мой страх, что колодец опустеет, так же, как и страх от мыслей о его разрушении из-за избытка затопляющей и все сносящей воды отступил в свое время при виде его лица и при звуках его голоса, несмотря на то, что конечно же это тетя Пнина отвела дождевые воды в канализационную трубу, а вовсе не он. Но действия тети Пнины, предотвратившие опасность, несмотря на все их значение, не могли сравниться с успокаивающим светом, которым лучился Габриэль Ионатан Лурия, и самый вид его и голос и, что странно, его слова действовали успокаивающе, хотя по смыслу своему должны были бы не успокаивать, а совсем наоборот — подтверждать неясные опасения, выявлять их и увеличивать до размеров вселенского ужаса.

Он стоял у окна, курил плоскую сигару сорта

”Латиф”, глядел через оконное стекло на отвесно падающий дождь, бесконечный и монотонный, словно он никогда не собирается перестать. ”Надо перевести затычку в колодезную трубу, — сказала тетя Пнина, и лоб ее покрылся морщинами от тревоги, а в глазах застыл страх, — ведь мы все стоим на нем”. И воображение мое дополнило то, что она не выразила словами: вот еще немного, и пол под нашими ногами рухнет, и мы все провалимся. ”Да, да, — сказал он и не обнаружил ни малейшего намерения предпринять что-либо, чтобы перекрыть трубу, — сосуды никогда не смогут вместить изобилия”, — и я почему-то успокоился, погрузился в странную беспечность, что ж, таково положение; точно так же и теперь тревога отпустила меня при виде его лица, которое возникло вдруг, как будто поднялось из ведра, и при звуке его голоса, когда он произнес: ”Да, да, сосуды пустеют”. А что будет, если тетя Пнина не позовет Арэли-водоноса, приставленного к общественному колодцу, не позовет даже после того, как в нашем не останется ни капли воды, чтобы оживить душу? А в прошлом году был бы я так спокоен, если бы тетя Пнина не сделала необходимого, и мы бы начали погружаться, как свинец, в то изобилие, которого сосуды не могут вместить? Этот вопрос возник у меня значительно позже и в связи с ним самим, когда его глаза не могли больше выдерживать изобилия света. С течением времени его чувствительность к свету достигла такой степени, что даже внутри дома и даже от луча света, проникающего из окна по диагонали и косо падающего на страницу его книги, он мог получить световой удар, который называл почему-то ”рефлексом”, и когда он терял зрение, у него не оставалось иного выхода, как лечь навзничь на диван, надеть очень темные, защищающие от солнца очки и терпеливо ждать с зажмуренными

глазами, пока не отступит и не исчезнет слепота. В этот период он перестал также ходить и больше не отваживался на прогулки со мной ни в Старый город, ни на гору Скопус, ни даже в пещеры с могилами членов Синедриона — места, которые он очень любил и которые до сего дня связаны для меня с его образом². Но все это произошло через много лет, и я расскажу об этом в свое время.

Тут я должен добавить, и это касается более позднего периода, что, когда я глядел на него, лежащего навзничь, в темных солнцезащитных очках, и он говорил мне, показывая рукой, державшей сигару, на свои глаза, то, что говорил двадцать лет тому назад, глядя в окно на низвергающийся ливень: "Сосуды никогда не смогут вместить изобилия", я не понимал связи между колодцами, которые не могут вместить изобилия воды, и его глазами, которые не могут вынести изобилия света, как не думал я в тот момент и о том, как он облагодетельствовал меня в далеком детстве, еще до его ареста, когда открыл мне глаза на чудо *света*.

Отец с матерью пошли как-то в кинотеатр "Эдисон", недалеко от нашего дома, а он остался с нами, детьми, дома. Не знаю, почему я не отправился спать вовремя. В доме было тихо. На столе горела керосиновая лампа с фарфоровым зеленым абажуром, который за пределами лужицы беловато-желтоватого света, окружавшей стержень лампы и его основание, распространял вокруг тусклый зеленый свет. Габриэль Ионатан Лурья сидел и просматривал французскую книгу. Когда я подошел к нему, он поднялся, взял меня на руки и вышел со мной на улицу, в ночь.

Эта первая встреча с ночным небом возбудила во мне дикий страх. Я увидел небо, и вдруг оно — черное, и на нем далекие маленькие точки света. "Это звезды, — сказал мне Габриэль и добавил:

— Небесное воинство”. Где-то заскрипела и приоткрылась дверь, и из щели, возникшей в непроницаемой толще темноты, пролилась наружу струя света, которая достигла основания кипариса, росшего у входа в наш двор, и обернула низ его ствола лоскутком дня. Прохладные легкие языки ветра перешептывались между деревьями и приносили издалека, из-за горы Скопус, запах влажной земли и еле слышные голоса, напевные и резкие, пронзительные, скрежещущие голоса ночной жизни, возникающие ни с того ни с сего и прекращающиеся ни с того ни с сего, и стена Старого города, и горы вокруг, Масличная гора и гора Скопус, погруженные во тьму, — все присутствовало тут, и дыхание останавливалось под тяжестью древности, страшной по своим нечеловеческим размерам, по длительности своего существования, что за пределами человеческого века, и по своему равнодушию к маленькому человеку, копошащемуся на ее поверхности. Эта самая древность и огромность гор и неба, которую я смутно чувствовал, бродя днем по пыльным тропинкам между горными колючками и камнями, еще больше угнетала меня в ночном мире, открывшемся мне. Горы и небо ночью стали более реальными в своем далеком бытии, более настоящими под покровом темноты.

Я крепко обнял шею Габриэля, от которого исходил резкий приятный запах табака. ”Давай вернемся, — сказал я ему, — пойдем домой”. Он посмотрел на меня и ответил: ”Хорошо, пойдем”. Понял, что ужас перед ночными стихиями победил притягательную силу, заключенную в них, и с впервые возникшим удивлением обнаружил, что я еще недостаточно вырос, чтобы жить и в дневном, и в ночном мире. Как только мы вернулись под укрытие четырех стен и мягкого зеленого света лампы, на меня опустилась тяжелая усталость, как будто я только что возвратился

из длительного путешествия в неведомую страну. Через некоторое время, никак не могу вспомнить, было это через несколько дней, или недель, или месяцев, я попросил его снова повести меня к горам и к небу ночью. Мне кажется, я был уязвлен. Какая-то злость, какая-то обида проснулись во мне из-за того, что он до сих пор скрывал от меня другой мир, о существовании которого я не знал и в котором он продолжал жить после того, как я ложился спать, ночной мир, в котором он совершал то, что называл "полуночными прогулками". Ночью бродил он по окрестностям города, по его улицам и, в основном, по переулкам древних кварталов. Я не знал, доходит ли он в этих своих полуночных прогулках до пещер Синедриона, но не спрашивал его из-за смутного страха перед тем миром, который разверзся предо мной, как пропасть, а также из-за какой-то детской боязни не только проникнуть в пределы чужой души, но даже заглянуть в эту душу через открывшуюся невзначай щелку, из-за страха преступить ту грань, которую диктует врожденный такт. В прекрасные дни каникул он брал нас на прогулку к пещерам Синедриона, и мысль, что эти же самые пещеры существуют и в ночном мире и что сам Габриэль, может быть, бродит по ним в том мире, была для меня пугающим откровением: ведь, по правде говоря, даже в дневные часы, когда солнце в обнаженном небе окружало и обнимало собой весь огромный мир, проникновение внутрь пещер было связано для меня с удовольствием, смешанным со страхом. Эта влажная прохлада и чувство опасности, подстерегающей из темных углов, которые были прибежищем всяких летающих насекомых и ползающих гадов, а среди них — и хищников, не говоря уже о прочем, не имеющем телесной оболочки... В пауке, который ткал свою паутину в верхнем углу у входа

в пещеру, не было никакой реальной опасности, но из всех насекомых именно он в моих глазах был самым мерзким и отвратительным, и это несмотря на всю красоту его паутины, созданной с помощью изумительного чувства законов геометрии. Я испытывал отвращение и презрение к нему и всегда отворачивался от него — еще задолго до того, как услышал рассказ о "черной вдове" — паучине, которая убивает своего самца после совокупления. Габриэль рассказал мне об этом в одну из наших последних встреч, за несколько лет до написания этих строк, когда он уже перестал ходить и был подвержен приступам слепоты, рассказал, как старуха Роза, сестра сеньора Моиза, убиравшая его комнату дважды в неделю, открыла ему, Габриэлю, глаза, и благодаря ей запал ему в память один из самых первых в его жизни зрительных образов. После того, как она кончала работу, сидели они вдвоем и попивали арак. Любила арак эта мудрая старуха, не умевшая ни читать, ни писать, а Габриэль привык увеселять ее сердце наставительными речами, с которыми он подносил ей рюмочку: "Милая моя Роза, ты должна беречь свое здоровье, если не ради себя, то, по крайней мере, ради меня. Что я буду делать без тебя, если ты, не дай Бог, сляжешь? Поэтому прислушайся, пожалуйста, к голосу врача и пригуби эту рюмочку арака. А врач сказал, что нет среди всех напитков и бальзамов лучшего лекарства для души и тела, чем арак!" И на щеках Розы вспыхивал стыдливый девичий румянец, и с радостным смехом старой общницы, понимающей скрытый смысл его слов, она брала рюмку своей жесткой, шершавой и грубой рукой и говорила: "За тебя, Габриэль-бек, пусть даст тебе Бог здоровья, благополучия и всего хорошего". И так сидели они и попивали арак, и курили плоские сигары, и вели беседу. Как-то

за беседой они вспомнили об одной из ее племянниц. "Эта девушка, — так сказала Роза, — приятная девушка, но есть у нее паук в углу потолка", — и показала рукой на угол своего лба, чтобы уточнить свою мысль³. Габриэль смеялся вместе с нею и только через некоторое время задумался над ее речами. Она не сказала: "у нее есть паук в углу мозга", а: "у нее есть паук в углу потолка", чтобы отметить: в душе этой девушки не все благополучно. Когда Роза ушла, Габриэль распластался на кровати и закрыл глаза, чтобы предотвратить приступ слепоты, приближение которого почувствовал. Вдруг он увидел себя заглядывающим внутрь шара, во что-то вроде тех стеклянных шаров, которые служат аквариумами для золотых рыбок. Он и вправду был уверен сначала, что заглядывает в гигантский аквариум, но из-за поднимающихся вверх испарений рыбы, если это действительно были рыбы, виделись ему смутно. Как только он обнаружил, что это не что иное, как пауки, в нем проснулось отвращение. "Что за мир, — сказал он себе, — до чего омерзителен!" И, удивляясь, как это он позволил паукам завладеть миром, исполнился гнева, который породил птиц и кошек, тут же принявшихся уничтожать всех насекомых и пресмыкающихся. Он видел, что птицы красивы, и кошки нравились ему, и коровы, которые, благодаря его гневу, тоже паслись на лугу. Птицы прислушивались к бесплотным духам и щебетали им в ответ; Роза подоила коров и подала Габриэлю крынку с пенящимся теплым молоком. Она попросила, чтобы в гневе своем он не уничтожил всех пауков на земле, а оставил бы немного для медицины: ведь паутина пригодна для исцеления ран. С помощью паутины пауки ловят ядовитых мух, противно бьющихся об оконное стекло, и съедают их. Она напомнила ему и о той паутине,

которая спасла Давида в пещере, когда он убежал от Саула⁴, и Габриэль выпил молоко и исполнил ее просьбу. Молоко и приветливость Розы доставили ему гораздо больше удовольствия, чем попытка защитить пауков и чем паутина, которую один из них ткал у входа в пещеру.

Одним прыжком я обгонял Габриэля и оказывался в пещере раньше него. И смутные страхи перед бесплотными духами, к которым прислушиваются птицы, вместе с отвращением ко всяким насекомым смешивались во мне с трепетным удовольствием от предвкушения встречи с сокровищами, спрятанными в тайниках пещеры, придавая ему — удовольствию — особую силу, точно так же, как острые и горькие приправы придают вкус еде, хотя сами они в чистом виде несъедобны.

Присутствие Габриэля позади уменьшало не опасности, казавшиеся мне реальными, а страх перед ними, так же, как вид его лица рассеивал мое беспокойство из-за возможного опустения колодца или его разрушения под действием избытка воды. Прыжок в пещеру был прыжком из летнего опустошения, производимого все разрушающим светом, в прохладную темноту, сберегающую в таинственных своих глубинах сокровище, спрятанное там много сотен лет тому назад; ведь те люди, которые когда-то обтесали, спрямили и украсили своды пещеры и поставили в ниши оссуарии с костями своих мертвецов, те самые люди спрятали тут сокровища, ждущие, чтобы я пришел их обнаружить и вынести на солнечный свет. Сами оссуарии, а также все предметы, предназначенные для охраны мертвых, были украдены сотни лет тому назад — последний из обломков оссуариев, на котором было вырезано имя "Ицхак", отправлен в Луврский музей в Париже французским исследователем в 1869 году, — но я знал, что сам клад, скрывающийся в глубинах, остался

нетронутым и что ниши — это те самые ниши, что были здесь в давние времена, и течение времени слилось с жизнью камней, так что камни превратились в заповедное пространство, стерегущее время. Это была другая сторона ощущения, странного и смутного, но глубокого и сильного, которое охватывало меня, когда я стоял на выступе скалы справа от пещеры и смотрел на башню мечети в деревне И-Наби-Самуэль⁵. Оно шептало мне, что если я сумею предельно сосредоточиться, то увижу пророка Самуила, возвращающегося домой после того, как он посетил Бет-Эль, и Гилгал, и Мицпе, все, как написано в Книге пророка Самуила: "... и возвратился в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля". Я стою и смотрю на тропинку, поднимающуюся в Раму, к его дому, и мне надо только сосредоточиться подходящим образом, чтобы на этом выступе скалы, на том месте, где я стою и где, возможно, стоял и он когда-то, колесо времени завершило свой оборот. Между ним и бытием могильных камней в пещере разница только в скорости оборотов, ибо пещера затормаживает колесо в его вращении, а в глубинах темноты, что сгустилась за пределами гробниц, это торможение настолько сильно, что лоскутья времени, оторванные от своего колеса, не могут расстаться с пещерой и порхают в ней, плененные торможением, над своими живыми и мертвыми, и птицами, прислушивающимися к бесплотным духам, и сокровищницами своих кладов.

Сокровища, спрятанные вместе с телами, захороненными в оссуариях в нишах пещеры, были в моих глазах вещью понятной, естественной и наглядно подтверждающей все, что мы учили о пещере Махпела, в которой похоронен праотец Авраам, и об Иосифе, которого забальзамировали и положили в гроб, и о гробнице дома Дави-

дова, и об Асе, похороненном "на одре, который наполнили благовониями и разными бальзамами и маслами", и о Гиркане, первосвященнике, который вскрыл одну из комнат в гробнице дома Давидова и вынул три тысячи талантов, часть которых отдал Антиоху, чтобы тот прекратил осаду Иерусалима⁶. Поэтому я так удивился и испугался, когда впервые увидел своими глазами погребение мертвого; это произошло в тот момент, когда Габриэль и я внезапно вылезли из темноты пещеры на потрескавшуюся землю, покрытую колючками, иссушенными зноем, льющимся с обнаженного неба. Похоронная процессия двигалась по спуску из Бухарского квартала⁷ по направлению к Санхедринскому кладбищу; среди толпы долговязый сеньор Моиз рассеянно разбрасывал в разные стороны свои длинные ноги, и, пошатываясь, шла старая Роза, растерянная и плачущая, ибо это были похороны ее племянницы, той самой, о которой она говорила: "Она славная девушка, но есть у нее паук в углу потолка". Ошеломленный, увидел я труп, завернутый в саван и лежащий на носилках без гроба, беззащитный и открытый миру. Люди с носилками поднимались по пыльной тропе и пели псалом: "На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею", и с каждым касанием их ног о камни дороги маленькое худенькое тело покойной подскакивало вверх и вниз, налево и направо, в особенности ее голова, падавшая при сильных сотрясениях то вперед, то назад, и увидел я вдруг, к ужасу своему, левую ступню, выглядывающую между простынями. Эта желтовато-зеленоватая твердая ступня, которая зримо выражала смысл слов "тело, оставленное духом жизни", услышанных мною по прошествии некоторого времени, коснулась высохшей земли, когда труп опускали в яму, поспешно забросанную землей могильщи-

ками. Габриэль смотрел на погребение молча, и я тоже не мог и не осмелился открыть рот. Только по дороге домой я спросил его, что же это случилось тут, почему похоронили ее даже без гроба, ибо я еще не понимал, что был свидетелем принятого обычая, и был уверен, что перед моими глазами происходило нечто исключительное. "Евреи здесь, — так сказал он, — торопятся разбить сосуд в тот момент, когда он опустеет, чтобы он возвратился поскорее к праху, из которого взят". Сначала я был уверен, что он вовсе и не обратил внимания на мой вопрос, а возвращается почему-то в мыслях к колодцу с водой, пересыхающему из-за недостатка дождей, о котором он сказал за день до того, войдя во двор в то время, когда я черпал воду: "Да, да, сосуды пустеют", — но и в этот раз, после того, как я почувствовал, на что намекают его слова, отступил от меня смутный страх перед этим неотвратимым опустением, так же, как отступила от меня тревога, вызванная опустением колодца, при виде его лица, которое за день до того появилось как бы поднимающимся из ведра воды, и при звуках его голоса, говорящего: "Да, да, сосуды пустеют", — точно так же, как и страх перед разрушением колодца под тяжестью изобилия, затопляющего, захлестывающего и сносящего все вокруг, когда он сказал: "Да, да, сосуды никогда не смогут вместить изобилия". После того, как прошло четверть века и я случайно узнал — об этом я расскажу в свое время, — что Габриэль Ионатан Лурия — это тот человек, который сочинил "Храм разбитых сосудов", мне стало ясно, что есть связь между человеком, который вычеркнул свое имя из книги жизни, и между тем успокаивающим излучением, изливающим уверенность и радость, которое он распространял⁸.

ГЛАЗ КОРОЛЯ

Габриэль Ионатан Лурия впервые предстал передо мной в необычный и значительный день — в день, когда совсем близко, на другой стороне улицы я увидел Царя царей, Трижды сильного, Избранника Божьего, Льва Иудеи, Хайле Селасие — императора Эфиопии⁹. Было это в разгаре лета 1936 года. Я был тогда десятилетним мальчиком. Поднимая воду из колодца на широкую террасу нашего дома, выходящую на улицу Пророков, я увидел императора, который быстрыми шагами поднимался к зданию эфиопского консульства, расположенному напротив, а потом, когда я обернулся, то обнаружил человека, сидящего на соломенном стуле возле стола на террасе нашего дома и смотрящего на меня и на зрелище, открывшееся нам обоим, улыбающимися глазами. В тот день господин Лурия вернулся из Парижа в дом своего покойного отца; ведь наш дом, в сущности, был домом его отца, в котором сам Габриэль родился и в котором провел свое детство, и колодец, из которого мы брали воду для питья, тоже был из его детства.

Его мать сдала нам дом, а себе оставила то, что мы называли "лестничной комнатой", ибо она была построена под ступенями ведущей в дом лестницы, а ее потолок служил полом нашей передней террасы. Несмотря на то, что не было никакой связи между этой нижней комнатой и колодцем, который располагался под нашим задним двором, а сам дом служил как бы перегородкой между ни-

ми, мать Габриэля утверждала, что из колодца в ее комнату постоянно тянет сыростью и из-за этого у нее развивается ревматизм. Благодаря нужде, заставившей его мать сдавать внаем свой дом, мне повезло провести дни моего детства в том самом доме на спуске улицы Пророков, на границе с Мусрарой, в котором родился Габриэль Ионатан Лурия в первом году двадцатого века, за двадцать шесть лет до того, как родился я, и где прошло его детство. Круглое окошко, словно глаз, открытый на восток, выглядывало из-под красной черепичной крыши; остальные окна дома были арочными. Стекла окон на фасаде дома, над главным входом со стороны улицы Пророков, были цветными, и я любил смотреть на них с улицы ночью, когда каменные стены, толстые и непроницаемые, были погружены во тьму, и таинственный свет просачивался наружу с какой-то тихой печалью через разноцветные стекла лилий в верхней части каждого окна. Мощный двор, стоящий над колодцем с водой, был окружен полоской земли, предназначенной для сада, но в дни моего детства там не росли цветы, а только стояло очень древнее масличное дерево, ствол которого был покрыт шрамами, рассечен и истерзан до такой степени, что вся его сердцевина разрушилась, и вместо нее осталось ничем не заполненное пространство, и еще стояли там кипарисы и сосны вдоль высокой каменной ограды, окружающей дом со всех сторон. Летом в полуденные часы я вытягивался во весь рост на подоконнике — так толсты были стены — и смотрел в сторону башни Тур-Малка, возвышавшейся над Масличной горой, на часть стены Старого города, спускавшейся к кишашей народом площади перед Шхемскими воротами. Экипажи с запряженными в них лошадьми двигались там рядом с автобусами Арабского акционерного общества, идущими в Рамаллу или Ие-

рихон, а также несколькими автомобилями-такси (тогда еще не появилось на свет слово "монит"¹⁰). Арабы в халатах, кафиях¹¹ и фесках оживленно сновали между транспортом. Обрывки арабских мелодий витали в воздухе и доходили до моего слухового окошка вместе с дуновениями ветра, и запахи, доносимые ветром, тоже были арабскими. Первыми звуками из первых радиоприемников, которые начали мало-помалу появляться в Иерусалиме, были звуки тягучих и переливчатых мелодий, заключающие в себе всю тоску арабских любовных песен. Круговорот арабской жизни, открывавшийся мне через "подзорную трубу" моего круглого окошка, внутри которого я лежал, жизни, бурлившей на пространстве между мною, Масличной горой и башней Тур-Малка с ее торговой суетой, криками, песнями и запахами, жизни, погруженной в сон, несмотря на всю суматоху, и являвшейся как бы прямым продолжением того, что я учил в книгах Библии о жизни наших предков в этой стране, был наглядным выражением той самой сущности, которая пробуждала в сердце древние звуки, словно забытая мелодия прежних дней. Однако это наглядное выражение, несмотря на то, что оно было прямым продолжением, не являлось естественным продолжением: ведь это я — побег древа Авраама, Исаака и Иакова, естественный и законный наследник дома Давидова, еврейских царей, правивших здесь, в городе Давида. Что-то перепуталось где-то и когда-то, как в *commedia dell' arte*, в которой сын царя и странник поменялись одеждой. Странник в платье принца остался в царском дворце, а принц взял посох странника и отправился в дальний путь, где с ним приключилось столько удивительных превращений, что он изменился до неузнаваемости.

В подвале дома, где было свалено и гнило старье, накопившееся за многие годы, и ржавел раз-

ный лом, каждый раз, когда я спускался туда в сопровождении хозяйки дома, чтобы перенести складную деревянную кровать, которую она время от времени вытаскивала наверх и возвращала в подвал по неясным причинам, известным ей одной, я обнаруживал неожиданные находки. Однажды я нашел там шарманку, которая, несмотря на свою явную древность, воспроизводила звуки Марсельезы, правда, сопровождаемые стонами ржавого железа и скрипом несмазанных шестеренок, когда я вращал ее искривленную ручку. А в другой раз я нашел под кучей мешков турецкий кинжал в ножнах.

На подъеме улицы Пророков, на другой ее стороне, находилось здание консульства Эфиопии, она же Абиссиния. Над его входом висела цветная мозаика — произведение искусства, изображавшее льва с сердитой мордой, держащего царский скипетр и увенчанного короной. Около льва было что-то написано по-эфиопски — так объяснил мне на чистом иврите один монах из эфиопской общины Иерусалима. Он же и прочитал написанное: "Манлих Второй, Царь царей Эфиопии, потомок Льва Иудей". Этот Манлих был предшественником императора Хайле Селассие на троне Абиссинии. Когда итальянцы напали на Абиссинию и завоевали ее, император покинул свою страну и, когда случалось ему бывать в Иерусалиме, жил в здании консульства напротив нашего дома. С террасы я видел людей из абиссинской общины, ждущих своего императора, и среди них — монахов высокого роста, которые из-за черноты их лиц, сливавшейся с чернотой мантий и клобуков, делавших их еще выше, были похожи на черные одушевленные столбы. Несколько стройных британских полицейских следили, как обычно, за порядком, а вокруг них собралась толпа зевак из проходивших мимо людей, арабов и евреев, среди

которых были и ученики иешивы, с бородами и пейсами, с близлежащей улицы Меа-Шеарим¹², направлявшиеся в Старый город.

Когда внезапно прибыл император и вышел из своей машины, мое лицо вспыхнуло, и меня охватил вихрь смешанных чувств, в котором сменялись странные и противоречивые оттенки ощущений, подобно тому, как меняются фигуры и цвета в калейдоскопе, если быстро вертеть его вокруг оси. Как в забавном представлении, где негр нарядился британским генералом, впервые явился моим глазам император Абиссинии: мундир его был мундиром британского генерала во всех мелочах и деталях — с эполетами и кожаной портупеей, протянувшейся по диагонали от плеча до ремня на талии, с двумя рядами медалей на груди и кокардой на околыше фуражки — все было тут, кроме самого британского генерала. Из генеральского мундира торчала шея, как бы сделанная из отполированного до блеска черного мрамора с беловато-сероватым налетом, и такие же ладони высывались из рукавов. Стройная, тонкая, гибкая и мускулистая фигура, поднимавшаяся по лестнице с невыразимой легкостью, не отличалась высоким ростом, и казалось, что все монахи (а император появился и скрылся внутри здания так быстро, что они не успели вовремя опуститься на колени и поклониться ему) были выше него на высоту своих клобуков. На одно мгновение, прежде чем он направился к входу, я увидел в тени козырька генеральской фуражки его профиль: он был украшен маленькой острой бородкой, а из-под фуражки выглядывали волосы и спускались на затылок. Несмотря на всю тонкость и одухотворенность, выражение его лица было деловым и решительным, как у человека, знающего, что ему предстоит, ибо он тесно связан с этим миром, и время торопит его осуществить планы, зарожда-

ющиеся под козырьком фуражки полководца, и с помощью этих планов он сумеет преодолеть все препятствия.

На самом деле оттенок его кожи был намного светлее, чем у его подданных, собравшихся у входа в эфиопское консульство, и, если бы он был обернут в черную мантию, как один из коптских монахов, он казался бы бледным по сравнению с ними, но светлый британский мундир усугублял черноту его кожи. Этот мундир больше чем что-либо другое повлиял на то, что в вихре чувств, охвативших меня, преобладало разочарование. Я ожидал чего-то совершенно другого: жаждал какого-то сияния, источником которого является всевышняя милость, неразрывно связанная с самой сущностью императора, отличающая его от простого смертного, распространяющаяся на большое расстояние и ощущаемая каждым человеком так же, как запах цветущих цитрусовых, свет светильника и голос скрипки. Великолепию царственной его души должна была бы подходить и одежда, облачающая его царственное тело, и, если уж он император Эфиопии и сияние его царственности истекает из сущности его эфиопской души, одежда его должна была бы соответствовать этой эфиопской сущности, что в моем представлении рисовалось как пурпурная мантия, отороченная мехом серебристой лисицы, а на голове — непременно венец из разноцветных перьев, добытых из крыльев редкостных птиц, гнездящихся в чащах вечнозеленых роц.

Маскарадный костюм британского офицера, в котором появился абиссинский император, лишил его таинственного, лишь царям присущего сияния и не только превратил его в обыкновенного человека, но совершенно неожиданно сблизил его со мной, что показалось мне уже лишним, ибо это касалось самых заветных моих мечтаний, ведь

в глубине души я тоже видел себя чем-то вроде британского офицера, блестящего, гордого, сильного и бесстрашного, милостивого к любящим и неумолимого к врагам, ибо ему принадлежат власть и слава. Этот император осуществил то, что было мечтой моего сердца: он носил военный мундир, и стоял во главе послушной ему армии, и воевал с итальянским своим врагом, и осталось ему только изменить цвет своей кожи.

Толпа замерла и смотрела на монарха с молчаливым благоговением, монахи-копты опустились на колени и кланялись, британские полицейские вытянулись по стойке смирно, а стоявший во главе их сержант отдавал честь, пока император не скрылся за дверью. В этот момент произошло маленькое недоразумение. Один из полицейских подмигнул своему товарищу и стал возле него. Я не знаю, относилось ли это подмигивание к Его Величеству или касалось лишь отношений между этими двумя британцами. Так или иначе, но Ицик, часовщик-американец, тоже заметил это и сейчас же что-то такое показал своей волосатой ручищей и крикнул "Самбо!"¹³ в направлении закрывшейся за императором двери.

Ицик, часовщик-американец, не был ни часовщиком, ни американцем. Это был здоровяк лет двадцати пяти, служивший помощником в большом рыбном магазине на углу переулка, выходящего к рынку на улице Меа-Шеарим. В детстве он хотел стать часовщиком, ибо сердце его навсегда покорило образ часовщика, вставляющего в глаз черную трубку с увеличительным стеклом, с помощью которого он видит скрытый мир, тогда как руки его держат тонкие инструменты и копаются в недоступных невооруженному глазу внутренностях даже самых маленьких дамских часиков. И вот, когда ему во второй раз не удалось осилить пятый класс начальной школы "Тахкемо-

ни”, после того, как он уже просидел в нем два года (в те времена в народной школе подобные ему ученики еще могли оставаться по два года и дольше в одном и том же классе), он был принят подмастерьем к часовщику. И с того дня он раз и навсегда объявил себя часовщиком, несмотря на то, что прослужил в учениках всего несколько недель и занимался лишь уборкой магазина и квартиры часовщика да переносил тяжелые стенные часы из домов клиентов в магазин и наоборот. Еще он с восторгом рассказывал, что записан в американском паспорте своего отца, который когда-то прожил несколько лет в Америке. Так же, как он не сумел удостоиться чести чинить часы, так же не удалось ему и побывать в Америке; но зато он с замечательной ловкостью умел взваливать тяжелую ношу на свою спину и лихо переставлял бочки с селедкой в магазине своих хозяев, которые поручали ему всю тяжелую работу и в магазине, и вне его и даже посылали его помочь хозяевам соседних магазинов, что наполняло его профессиональной гордостью, ибо он считал себя редким специалистом, которому нет равных. Однако все дети Иерусалима знали его и преклонялись перед ним прежде всего за то, что он объявил священную войну кошкам. Без всякого приказанья со стороны хозяев и не прося никакого вознаграждения за свои благочестивые деяния, он сам призвал себя на беспощадную войну не только с кошками, которые имели обыкновение устраивать засады у входа в рыбный магазин, но и с любой кошкой, встречавшейся на его пути, большой или маленькой, старой или молодой, не исключая и однодневного котенка. В битвах с кошками он обновил и усовершенствовал несколько тактических приемов; я видел однажды собственными глазами, как он шел с ящиком рыбы на голове вниз по улице по направлению к Шхемским воротам, ког-

да внезапно его наметанный глаз обнаружил серого кота, развалившегося на заборе Итальянского госпиталя. Не прекращая нести свой груз, почти не наклоняясь, медленно-медленно он начал сгибать колени, пока его свободная рука не коснулась тротуара и не нащупала обломок кирпича. И как только ему удалось надежно схватить его, наш американский часовщик стремительно выпрямился и замер. Продолжая поддерживать одной рукой ящик на голове, с выпрямленным туловищем, он бросил обломок кирпича в кота, греющегося на солнце, попал в него, и одновременно с сердитым, коротким и хриплым от боли визгом, вырвавшимся из глотки удирающего кота, я услышал какое-то утробное, явно означавшее удовольствие бульканье, которое издал воинственный победитель. Он не обделял своим вниманием также и арабских крестьянок, приходивших в город, чтобы продать свой товар: то сбросит наземь чью-то корзину с яйцами, то вырвет у какой-нибудь из них клочок волос, но с тех пор, как его посадили в полицейский участок, находившийся на улице Св. Павла (теперь она называется улицей Колен Израилевых, а дом, где некогда был полицейский участок, служит пограничным постом у ворот Мандельбаума), и там за все эти проделки он получил от британского сержанта несколько палочных ударов, он стал соблюдать осторожность, и, наверное, поэтому проделки его не всегда ему удавались.

Теперь, сделав рукой оскорбительный жест и выкрикув "Самбо!" вслед монарху-изгнаннику, он посмотрел на британского полицейского с улыбкой сообщника, как бы ожидая одобрения и поддержки, но тот послал ему в ответ рассерженный и негодующий взгляд и тут же вместе с сержантом и со всем взводом полицейских направился в сторону участка. Еще мгновение этот недоросль оста-

вался стоять, с застывшей улыбкой глядя на окна консульства и раздумывая, не бросить ли камень в одно из них, но, так и не решившись, удовлетворился тем, что дважды снова крикнул "Самбо!" в лицо маленькому мальчику, тащившемуся за матерью по направлению к эфиопской церкви следом за монахами...

Внезапно, с унижением и бессильным гневом, затопившими меня, с какой-то страшной уверенностью я ощутил, что и сам являюсь объектом чьих-то наблюдений. "Есть глаз всевидящий и ухо всеслышащее, и все дела твои записаны"¹⁴, — когда учил я эти слова двумя-тремя годами позже, во мне встрепенулось то же ощущение, и картина всего, тогда происходившего, возникла предо мной: как я обернулся и увидел Габриэля Ионатана Лурия, сидящего на соломенном стуле и наблюдающего за мной, смотрящим тот же спектакль. Он сидел развалившись, положив ногу на ногу, прислонившись спиной к спинке стула, в одной руке сигара, другая опирается на трость с серебряным набалдашником. Он наблюдал за происходящим, будто смотрел театральное представление, в котором я, как и все прочие артисты, принимал участие, не догадываясь об этом. Доброе, излучающее уверенность спокойствие исходило от него, а в глазах мерцала обворожительная улыбка, и благодаря этому спокойствию рассеялся мой страх перед Всевидящим оком, взор которого необычен и единствен в своем роде: он одновременно очень далек и очень близок. Он был настолько далеким, что превратил и меня, и остальных участников представления, даже не подозревавших об этом Всевидящем оке, в крохотных гномиков, вроде мальчика с пальчик, и до того близким, что каждый оттенок чувств и мыслей, каждое наше движение приобретали исключительную важность — из-за нерасторжимой

связи с древним, сокрытым и таинственным смыслом.

МОИСЕЙ И ЕГО ЖЕНА-ЭФИОПКА

Той радости пробуждений, что посещала меня в то лето, когда мы поселились в доме господина Габриэля Лурия, где я увидел его отца, старого турецкого бека¹⁵, и его мать с такими мечтательными глазами, я лишен уже многие годы. Она напоминает о себе лишь в тоске воспоминаний и в глупой надежде на ее возвращение.

В один из летних дней, в тот значительный и необычный для меня день, вернулся господин Габриэль Лурия из Парижа, но так как его мать сдала нам квартиру в их доме на улице Пророков за несколько недель до его приезда, я услышал о нем и познакомился с домом, где он родился, и с его матерью несколько раньше, чем он предстал моему взору собственной персоной — со своими совершенно квадратными усами, тростью и соломенной шляпой на голове. Что касается старика, то я не могу сказать, что знал его, ибо видел его всего два или три раза. Этот сефардский еврей¹⁶, Иехуда Проспер Лурия, отец Габриэля, был человек выдающийся во многих отношениях. Во-первых, у него было две жены, не говоря о временных наложницах, как у наших праотцев в те добрые времена, когда сыны Израилевы еще вели себя согласно своей природе. Одна из его жен, Хана, происходила из древней и очень знатной сефардской семьи — семьи Пардо, и все, кто ее знал, говорили, что была она женщиной с нежной душой и добрым сердцем, каких мало. С нею он жил в своем доме в Яффо, где выросли три

его сына и две дочери, которых она родила ему. Вторая — мать Габриэля — происходила из очень бедной ашкеназийской семьи из Старого города. Старик поселил ее в своем доме в Иерусалиме, на улице Пророков, и время от времени приезжал к ней на неделю. В последние годы появлялся он у нее не чаще одного раза в три-четыре месяца. Кроме двух жен, было у него, у старика, еще одно достоинство — официальный титул, доставшийся ему в дни власти Османской империи, — титул "бек", который был пожалован ему властями, равно как всем турецким сановникам и другим важным лицам в странах империи султана, да будет светел его лик. Мусульмане, а также и евреи, жители ишува¹⁷, продолжали называть его этим турецким титулом "Иехуда-бек" и после того, как сам султан, вместе со всей своей могущественной империей, совершенно исчез с лица земли. Не знаю, был ли этот титул пожалован ему благодаря должности, которую он занимал, или должность была возложена на его плечи потому, что он был испанским подданным, жившим в городе Яффо и обладавшим турецким титулом, но так или иначе до завоевания страны англичанами он был испанским консулом в Яффо, и европейцы называли его "мсье консул". Он умер за несколько недель до возвращения в страну его сына Габриэля, которого он произвел на свет уже в преклонном возрасте.

Как и во всем прочем, в отношении возраста "старого сефарда" — так называла его иерусалимская жена-ашкеназка (в минуты гнева, правда, она звала его "старым турецким развратником") — наблюдалось расхождение во мнениях между нею, ее соперницей и другими членами семьи. Его яффская жена говорила — и Габриэль почему-то верил именно ее словам, — что старику, когда он умер, было восемьдесят девять лет, а иерусалим-

ская жена, мать Габриэля, утверждала, что ему, то есть ее мужу, исполнилось сто лет за два или три года до того, как он покинул этот мир. Сам Габриэль не знал точного возраста своего отца и по прошествии нескольких лет сказал мне, что его мать имела обыкновение преувеличивать и без того большую разницу в возрасте между нею и мужем, и следует предположить, что в течение всех тех лет, что она убавляла свой возраст, его возраст она прибавляла. Многие годы она увеличивала разницу в годах между ними, так что когда он умер, она и все, кто ее слышал, обнаружили, что ровно пять десятков лет разделяли ее и "старого турецкого греховодника", который склонил ее к замужеству, когда она была "наивной пятнадцатилетней девочкой", а он — "старым шестидесятипятилетним развратником". По подсчету ее сына, разница между нею и мужем не превышала двадцати лет, и Иехуде-беку было пятьдесят пять, когда родился его младший сын.

В те два или три раза, что я видел его в последний год его жизни, старый бек ходил еще прямо, хотя старческая негибкость суставов чувствовалась в его прямой негнущейся походке, как и вообще в его движениях. Под цилиндром голова его была наголо обрита, и лицо тоже было чисто выбрито; исключение составляли только пышные усы, прикрывавшие рот, — они отличались черным цветом чрезвычайной глубины, так же, как и густые брови. Его живот плыл и раскачивался перед ним во время ходьбы, а рядом с ним всегда вышагивал, разбрасывая в разные стороны свои длинные ноги, сеньор Моиз, долговязый и тощий, слегка сутулый человек, который, как выяснилось, каждый день старательно брил старика до блеска и, по мере надобности, красил его усы и брови. Тогда я еще не знал, что за глубокий черный цвет усов и бровей старого бека следует благодарить

сеньора Моиза, обладавшего удивительным искусством стричь и красить волосы и делать это так же скромно и тихо, как те удивительные художники, что оставались безымянными на протяжении многих поколений, поскольку стремились лишь к совершенству своих произведений; кроме того, на основании своих наблюдений я пришел к выводу, что главной обязанностью сеньора Моиза было защищать честь бывшего консула от нападков его иерусалимской жены.

Сняв цилиндр и сбросив пальто, старый бек усаживался на террасе в обитое красным атласом кресло, которое сеньор Моиз извлек некогда из подвального хлама. Он перебирал пальцами янтарные четки и что-то ворчал глухим старческим голосом, а его жена, нежная на вид, с мечтательными глазами, вставала на пороге комнаты и со все нарастающим гневом начинала осыпать его жестокими упреками на ладино¹⁸, сдобренном проклятиями на идише, или на идише, украшенном испанскими ругательствами, а сеньор Моиз, стоя между ними, пытался успокоить ее урезонивающими словами и движениями рук, утихомивающими ярость ("не в обиду вам будет сказано, и так не поступают, и это не принято, да и неприлично, и не добавляет чести ни жене, ни мужу"). Он всегда был готов встретить тот миг, когда кончится словесная атака и начнется метание предметов одежды, которые он ловил своими длинными руками с ловкостью жонглера, привыкшего к подобному занятию; порядок полета был всегда одинаков: сначала цилиндр старика, потом кашне и, наконец, пальто. Почему-то больше всего доставалось цилиндру, который она мяла в руках и топтала ногами с превеликим усердием. Во время первого такого нападения, виденного мною, ей удалось сорвать цилиндр с головы старика в тот момент, когда он собрался выйти из дому, и

забросить его за перила террасы и за каменную ограду двора на улицу. Но этот цилиндр обладал необыкновенной стойкостью, стойкостью камня, помогавшей ему противостоять всем ее козням: после того, как сеньор Моиз поднимал его, счищал с него пыль маленькой щеточкой, которую вытаскивал из-за пазухи, где она, как видно, хранилась на всякий случай, и разглаживал с превеликой любовью все его вмятины, цилиндр водружался на выбритую до блеска, как вымытая тыква, голову Иехуды-бека чистый и гладкий, как прежде. Знаточи говорили, что в свое время главная ее злость была направлена против красной фески, которую муж носил в дни турецкого владычества, но с переменами, случившимися в стране после замены власти Османской империи на власть Британской и турецкой фески на лондонский цилиндр, произошел в чувствах этой женщины "процесс переноса" (согласно психологической терминологии), и ее гнев перешел с красной кругляшки, украшенной черной кисточкой, на черную кастрюлю, снабженную полями.

Этот длинноногий Моиз, так говорила она мне, удостоился чести называться "сеньором" только в самые последние годы. За эти годы ему удалось, по ее словам, завладеть душой ее мужа благодаря хитрости и низкому коварству, а также поработить и ее и заставить подчиниться его воле, ведь "старый турок" и пальцем не пошевелит, если не понудит его к этому "царствующий раб", владеющий душой, телом и богатством своего бывшего господина. Ведь даже те жалкие гроши, которые старик подкидывает ей время от времени, как бросают кость бродячей собаке, и то лишь тогда, когда уже становится невмоготу, после всех скандалов и предупреждений, что если он не выплатит ей алименты по закону, она подаст на него в суд и откроет судье и всему миру все его "добрые

дела”, — даже эти стертые гроши, стоящие ей крови сердца, она получает не прямо от него, а через этого длинноногого, который всю жизнь был только слугой. Во время турецкого владычества он был мальчишкой-сиротой, три раза в день умиравшим от голода, пока консул не сжалился над ним и не взял к себе в дом. Когда паренек подросток, он сделал его ”кавасом”. Во времена турок слуга почтенного и высокопоставленного лица, выполнявший при нем важные обязанности, назывался ”кавас”; когда консул выходил из дома, кавас шествовал впереди него, одетый в мундир и с палкой в руке, чтобы расчищать консулу путь.

Рассказы хозяйки дома были тогда для меня единственным источником сведений о старом беке и его друге сеньоре Моизе, и при этом интересно отметить, что все хулительные прозвища, которыми она награждала мужа, не смогли умалить в моих глазах его достоинства, точно так же, как ее рассказы о ”низких кознях и злоумышлениях сеньора Моиза”, благодаря которым он ”овладел духом, телом и богатством старого турка”, не скрыли от меня то трепетное почтение, нежность и любовь, выражавшиеся в совершенной преданности, с которыми сеньор Моиз служил своему хозяину. Как только атака бывала отбита и не было уже необходимости защищать старого бека от его жены, сеньор Моиз усаживался на кушетке возле хозяина, и они, сидя вдвоем, наблюдали за заходящим солнцем. Однажды достигли моих ушей обрывки их беседы, вращавшейся вокруг величия Моисея. ”Учитель наш Моисей, — сказал старик, — обладал силой вдохнуть живую душу в неживую вещь. Он бросил свой посох на землю, и тот превратился в змею. Он сказал Аарону: возьми посох свой и брось его перед фараоном — будет дракон. И бросил Аарон по приказу Моисея посох свой перед фараоном и прислуж-

никами его, и тот превратился в дракона. Ты видишь, Моиз, эта сила вдохнуть живую душу в вещь, не имеющую души, присуща только одному Богу, а Бог одарил ею учителя нашего Моисея”. “Но, Проспер-бек, — ответил ему Моиз, наморщив лицо вследствие глубокого умственного напряжения, — ведь и египетские волхвы обладали силой вдыхать живую душу в палку, как сказано: и они, волхвы египетские, да бросят свои посохи и колдовством своим превратят их в драконов”¹⁹.

“Конечно, конечно, — отвечал ему бек, оживляясь, и проводил по своей выбритой до блеска голове большим красным платком, вытирая капли пота, сверкавшие в лучах заходящего солнца, — египетские волхвы получили свою силу от своих богов, а Моисей получил свою силу от нашего Бога, и была война между богами Египта и нашим Богом, и наш Бог победил богов Египта в этой войне, как сказано: “но посох Аарона поглотил их посохи”. “Посмотрите, посмотрите-ка на этого гения и праведника, — крикнула с порога своей комнаты его жена. — Можно подумать, что всю свою жизнь он только и занимался изучением Торы и благими делами! Все его мысли обращены только к учителю нашему Моисею! Учитель наш Моисей!” У нее в руках была какая-то ветхая клетчатая шаль, и она подошла и повязала ею шею мужа. “Возьми, — сказала она ему, — оберни шею. Еще не хватало, чтобы ты заболел воспалением легких. Ты же знаешь, что по вечерам в Иерусалиме дуют холодные ветры, а твоя рубашка распахнута навстречу ветру, как у какого-нибудь мальчишки”.

Это было в последний раз, что я его видел. Через несколько недель мы узнали, что он умер в своем доме в Яффо, и в моей памяти он остался сидящим на террасе нашего дома в клетчатой шали, которую повязала ему вокруг шеи иерусалим-

ская жена, и я слышу старческий хриплый его голос, повторяющий в бессильном гневе: "Учитель наш Моисей! Учитель наш Моисей!", и капли пота на его макушке, выбритой до блеска, сверкают искрами в лучах заходящего солнца...

Но мать Габриэля я видел почти каждый день в течение всех тех лет, что мы жили в ее доме, который достался ей в наследство после смерти мужа. Я не смогу осветить тайны этого наследства хотя бы потому, что подробности были известны только ей и старому судье. Несколько лет спустя Габриэль говорил мне, что его мать обманом вырвала этот дом из рук своей соперницы, бывшей законной наследницей всего имущества старика согласно его подробному завещанию. Старик оставил все свое имущество яффской жене и ее детям, а матери Габриэля завещал только право жить в его доме на улице Пророков до самой смерти и получать плату от жильцов. Габриэль, младший его сын, вообще не был упомянут в завещании, и сделано это было умышленно, а не по забывчивости, хотя Габриэлю во время последней встречи с отцом, перед отъездом за границу, показалось, что отец не помнит его и что в затуманенном старческом мозгу образ сына заместился образом брата старика, Давида. Старшего брата Иехуды Проспера звали Давидом, и, когда они были детьми, Иехуда был очень привязан к своему старшему брату и ходил за ним, как тень, пока Давид внезапно не умер в тот день, когда должен был принять на себя бремя исполнения заповедей²⁰. Когда Габриэль был еще ребенком, отец иногда внезапно останавливал его, прижимал к сердцу и говорил: "Знаешь ли ты, сынок, что ты всем, и лицом, и движениями, похож на моего брата Давида, мир праху его. Не довелось Давиду стать тебе дядей. Умер он внезапно в день бар-мицвы". Накануне отъезда Габриэля в Европу, когда он

пришел прощаться с отцом, тот был в совершенном затмении. Он пощипывал свои черные усы и хмурил черные брови, так что они превратились в два горба одной мрачной волны, и проворчал своим хриплым старческим голосом: "Послушай, Давид, ведь говорил я тебе уже, чтобы ты не ходил в Бет-Лехем". Он закашлялся, сплюнул, и лицо его сильно покраснело. "По дороге сверни к могиле праматери Рахили²¹, но не оставайся там долго, чтобы не застали тебя сумерки и тебе не пришлось бы там заночевать". Но не затмение, как уже было сказано, повлияло на то, что имя Габриэля было вычеркнуто из завещания отца. Причиной тому было поведение самого Габриэля, который в течение всех этих лет транжирил в Париже отцовские денежки и не изучал медицину, несмотря на предупреждения в письмах, которые слал ему отец и в которых предостерегал его, говоря, что если тот "не перестанет быть буйным и непокорным сыном", он прекратит помогать ему и лишит наследства. И если все-таки Габриэль нашел крышу над головой, когда вернулся в страну гол как сокол, то не благодаря любимому отцу, — а Габриэль всю жизнь любил отца больше всех на свете, — а благодаря обману, совершенному его матерью.

Я видел ее, как уже говорил, почти ежедневно в течение всего срока нашей жизни в ее доме, и особенно часто — в месяцы летних каникул, ибо большую их часть я проводил на террасе. Тогда еще не вошли в моду летние лагеря для школьников, и мы играли во дворе и обменивали книги в библиотеке "Бней-Брита"²², которая, мне кажется, до сих пор существует и находится в том же самом переулке, рядом с улицей Пророков. Я имел обыкновение устраиваться с книгой на террасе напротив входа в комнату матери Габриэля, и, как только доходил до самого захватывающего ме-

ста, она частенько отрывала меня от чтения. То ей нужно было, чтобы я помог ей спустить или вытащить раскладушку из подвала или отодвинуть комод от стены, чтобы швабра могла проникнуть в дальние и запущенные углы, а потом комод следовало снова поставить на место. То я удостаивался чести ходить за покупками, не слишком серьезными, например, за спичками, или за банкой оливкового масла, или прищепками для белья, или за всяким другим товаром, который не мог испортиться, или сгнить, или протухнуть и для которого не существовало бесконечного количества градаций "хорошее — плохое". По этой причине мне никогда не поручалось, например, покупать хлеб или помидоры — продукты, для оценки качества которых требуется тонкое природное чутье вкупе с жизненным опытом, хотя именно в связи с хлебом мне довелось однажды выслушать от нее хорошую, подробную и длинную лекцию: хлеб должен быть хорошо выпечен, чтобы не испортить желудок из-за непропеченного теста, но нельзя также, чтобы хлеб был передержан в печи, ибо тогда он уже не выпеченный, а сгоревший; обсуждался также случай, когда тесто было недостаточно вымешано и не подошло как следует, и поэтому буханки хлеба подгорели снаружи и не пропеклись внутри. Возникает вопрос, что надо сделать человеку, чтобы не ошибиться, то есть как сможет он выбрать из всех буханок ту, которая вымешана как надо, вовремя взошла, выпечена правильно и в нужной степени? Чтобы достичь такого знания дела, человек должен, во-первых, быть наделен хорошо развитыми органами чувств, и, если это так, он должен использовать эти свои свойства и совершенствовать их в процессе приобретения жизненного опыта. Глаз, умеющий отличить румянец с коричневым оттенком, характерный для буханки, выпеченной в точ-

ности как надо, и нос, чувствующий горячий и приятный дух, и рука, ощущающая упругость корки над рыхлостью мякоти, и ухо, чутко реагирующее на тонкое потрескивание буханки, если сжать корку, — именно это необходимо. Даже она, со всей присущей ей остротой чувств и богатством опыта, иногда ошибалась и была вынуждена возвратиться к булочнику и обменять буханку. И после всех этих разъяснений, сопровождавшихся демонстрацией наглядного примера — буханки хлеба, имеющей соответствующие цвет, запах, упругость и издающей потрескивание при касании, — она послала меня купить всего лишь кусок стирального и кусок карболового мыла, что обостряло во мне чувство обиды от предельного сознания того, что, по ее мнению, я не гожусь для покупки хлеба. Много лет спустя, в минуту хорошего настроения, я поведал Габриэлю, что его мать, сама того не зная, сильно обижала мои не так уж плохо развитые органы чувств, и он сказал мне в ответ, что у меня нет даже и тени представления о том, насколько я обязан быть ей благодарным за ту милость, которую она мне оказала, освободив меня от покупок, которые были кошмаром его детства, когда ему приходилось возвращать то подгнивший помидор, то подгоревший хлеб, то протухшее масло, то рис в червях, то сыр, издающий запах керосина. "Пойди, Габри, — говорила она ему, — и возврати немедленно это протухшее масло Красному Уху". Так называла она лавочника: Красное Ухо, ибо был у нее острый глаз, и она всегда отмечала что-то характерное в каждом человеке, в его внешнем виде и во всем его поведении, особенно недостатки и увечья. И действительно, этот лавочник имел необыкновенное правое ухо, которое почему-то всегда оставалось румяным, даже тогда, когда второе ухо и лицо бледнели. Никто не замечал

этого, пока не обратила на него свой острый взор жена бека, и поскольку она обратила на него свой взор и произнесла свой приговор, это прозвище прилипло к нему и так и осталось за ним на всю жизнь. И то, что до этого было неважным и незаметным, стало в этом человеке главным. Из-за ее острого глаза не было никого, имевшего с ней когда-либо дело, начиная от разных торговцев и кончая прислугой и друзьями ее мужа, кто не удостоился бы от нее особого прозвища, и не только прозвища, но еще и передразнивания, ибо, в дополнение к острому глазу, она была одарена и артистическим талантом. Когда рассказывала она, например, о своей ссоре с Черным Хохолком, то есть с Диной, прачкой из Персии, заслужившей это прозвище из-за всего своего облика и, особенно, из-за прически, она не только передавала слова прачки, но и изображала манеру ее разговора, и ее движения, и интонацию, и мелодию ее голоса. Иногда, если появлялось у нее настроение, она начинала подражать манере речи своего собеседника, причем в ходе самой беседы: со штукатуром из Йемена говорила так, будто она сама йеменка, с Красным Ухом, который был галицийским евреем, говорила на идише с подчеркнутой галицийской интонацией, что доставляло ей, видимо, двойное удовольствие — этим она удовлетворяла свою склонность к игре вообще и, кроме того, копировала человека, в котором соединились вместе два великих "достоинства", поскольку он был и торговцем, и галицийским евреем одновременно. Все торговцы были в ее глазах обманщиками, которые только и искали подходящую возможность сплавить самый негодный товар за самую высокую цену, а все галицийские евреи — хитрыми негодьями от рождения. "Горе тебе, Габи, дурак ты из дураков, — говорила она сыну, когда он отказывался возвращать покупку. — Что это ты бо-

ишься вернуть Красному Уху его протухшее масло? Этот подлый галицийский торговец не стыдится обмануть малого ребенка и всучить ему последнюю пачку масла, оставшуюся у него с прошлой недели, а ты стесняешься вернуть ему ее? В каком мире мы живем? Обманутый стыдится доказать обманщику, что тот его обманул, обокраденный стыдится потребовать у вора свое имущество. Ну ясно, что радость обуревает всех торговцев, когда глупец появляется на рынке!”

В оправдание жены бека следует сказать, что не только сына она посылала возвращать негодный товар и не только от мужа требовала, чтобы он менял купленный ей подарок, но и сама, собственной персоной, довольно часто была занята тем, что возвращала покупки, которые ее не удовлетворяли и в совершении которых она раскаивалась, ибо, как и все стремящиеся к совершенству во все времена, она была еще более требовательна к себе, чем к окружающим. И подобно всем стремящимся к совершенству во всех поколениях, она до мелочей старалась следовать рецептам при приготовлении еды, чтобы блюдо у нее выходило таким, как положено. И действительно, в том, что делали ее руки, было все, чтобы усладить и сердце, и душу, но из-за того, что она тратила непомерно много времени и труда, блюда появлялись на свет с большим опозданием, и поэтому ее муж в те дни, что он проводил у нее, жаловался, что никогда еда не готова вовремя и что блюда следуют одно за другим с огромными интервалами. ”Чтобы действительно насладиться едою, приготовленной руками госпожи, — так говорил старик, — человек должен посвятить трапезе целый день: утром будет готов салат, в полдень — основное блюдо, в час послеобеденной молитвы — суп и вечером — десерт”. Старик преувеличивал, но его высказывание дает представление

о ритме жизни его иерусалимской жены, которая, как и все стремящиеся к совершенству во все времена, тяжело страдала от полной недостатков окружающей действительности. Даже в те счастливые годы, когда весь дом был в ее распоряжении да еще была у нее служанка-мусульманка, она имела обыкновение жаловаться на жизнь; можете себе представить, что происходило в дни, когда она стала сдавать свой дом, а сама была вынуждена ютиться в "лестничной комнате". Она была тогда в возрасте шестидесяти с лишним лет и отличалась частой сменой настроений, вместе с которыми поразительно менялась ее внешность. В молодости она была смуглой нежной красавицей, эта нежность сквозила и в овале лица, и во взгляде карих глаз серны (Габриэль унаследовал свои синие глаза от отца-сефарда, а вовсе не от кареглазой матери-ашкеназки), и в гибкости ее тела, и в движениях рук, и в голосе, и в смехе, и все это пленило сердце испанского консула, когда тот нанес визит вежливости в женскую школу имени Эвелины де Ротшильд, где его будущая жена заканчивала курс обучения, и именно она поднесла ему цветы от имени выпускного класса. В течение многих лет после того, как он женился на ней при живой яффской своей жене, он был уверен, что, по сравнению с нею, он человек грубый во всех отношениях — и телом, и душой. Только когда Габриэлю исполнилось тринадцать лет, он впервые услышал, как отец во время ссоры с матерью назвал ее "нежной гадюкой", а сеньору Моизу отец сказал, что стих, предостерегающий человека от ученых мужей, имеет в виду его иерусалимскую госпожу, "укус которой — укус лисицы, жало — жало скорпиона, шепот — шипение змеи, и все слова ее как горящие угли"²³.

Нежная внешность сохранилась у нее и в старости, хотя она и сгибалась во время ходьбы, и

походка ее отяжелела, и не осталось у нее ничего от той гибкости, которой она отличалась в прошлом. Она часто выглядела погруженной в далекий и изолированный от всех мир, даже когда ходила на рынок за покупками, и так как она стала очень медлительной во всем и имела обыкновение посреди любого дела впадать в посторонние размышления и грезы наяву, у нее вечно не хватало времени, и она всегда была занята или приготовлением пищи, или уборкой, или починкой одежды, несмотря на то, что была совершенно одинокой, а после смерти мужа осталась без каких-либо дружеских связей, если не считать близких отношений, которые установились между нею и ее сестрой Пниной. Целыми часами, бывало, сидит она на террасе, на пороге дома, перебирает рис в плоском медном тазу, называемом "синия", а выражение ее лица далекое и отчужденное. Иногда напевала она какие-то старые мелодии спокойным, низким и приятным голосом, и я не переставал удивляться тому, что из одного и того же рта вылетают и милые звуки песен, и истерические крики в адрес ее мужа, крики, заставлявшие мое тело покрываться мурашками из-за той звериной сущности, древней и дикой, которая звенела в них. Я уверен, что тот, кто видел ее только в спокойные часы, тихо напевающей свои мелодии, ни за что не мог бы поверить, что эта мягкая и нежная женщина таит в недрах своей души такую устрашающую звериную дикость, так же, как и тот, кто был свидетелем теплых, сердечных отношений, установившихся между нею и ее сестрой Пниной после смерти старого бека, не способен был бы представить себе ту безобразную и жестокую борьбу, которую она вела против сестры тридцать лет тому назад, когда узнала, что та состояла в любовной связи с ее мужем, Исхудой Проспером-беком. Для Габриэля это было

одним из самых постыдных и угнетающих воспоминаний детства. Как это его милая и любящая мама, реагирующая на малейшее движение его век, могла превращаться в тигрицу, сеющую вокруг ужас, которая не только не видит и не слышит плача своего сына, умоляющего ее: "Мама, перестань, перестань же, хватит, я не могу больше", но может, ослепленная безумным гневом, переступить через своего единственного сына, одержимая стремлением уничтожить сестру, отвечавшую ей тем же. Она, как дикая кошка, вцеплялась всеми своими пальцами в волосы Пнины и кричала так, что вздувались вены на шее: "Праведница! Праведница! Скажи-ка мне, кто охотится за толстым членом турецкого развратника? Праведница! Я тебе все глаза повыщарапаю! Праведница!" Это уже был не крик, а какое-то шипение, не имеющее ничего общего с человеческим голосом. Пнина была ее старшей сестрой, набожной старой девицей, которая оставалась в доме своего отца в течение многих лет после позорного замужества молодой отступницы от веры с "турецким развратником". В тех ссорах между сестрами, что происходили до того, как любовная связь Пнины с беком перестала быть тайной, Пнина имела обыкновение обвинять в позоре своего затянувшегося девичества свою беспутную сестру, которая пленилась "толстым членом турецкого развратника" и стала его "наложницей". Разве найдется хороший и богобоязненный еврей, который возьмет себе жену, сестра которой богоотступница, да еще "наложница турецкого развратника"? Так жаловалась Пнина в годы своего затянувшегося девичества, пока тайно продолжалась ее связь с тем же турецким развратником. Но когда эта связь прекратилась из-за того, что была раскрыта, нашелся-таки хороший и богобоязненный еврей, который страстно захотел жениться на ней. После смерти старого

бека разрешила госпожа своей сестре Пнине приходить к ней и прислуживать ей по мере надобности, ибо была подвержена каким-то таинственным приступам головной боли, а также страдала от болей в спине и нередко лежала на кровати с мокрой тряпкой, обвязанной вокруг головы наподобие тюрбана, — считалось, что это помогает от головокружения. Она предоставляла Пнине, своей старшей сестре, возможность ухаживать за собой во время болезни и даже посылала ее за покупками. Иногда она бывала вынуждена прикрикнуть на Пнину, иногда та насмеялась над ней, но обыкновенно они сидели и наслаждались мирной беседой.

В те длинные часы, когда сидела она на пороге своей комнаты в свете заходящего солнца, подрезала ветви бамии²⁴ и тихо напевала нежным, чисто звучащим голосом песни времен своего детства, она иногда рассказывала мне, по моей просьбе, о Габриэле, своем сыне. Когда я спрашивал ее о нем, она отвечала мне и иногда даже вплетала в канву своего обычного рассказа новые истории из детства Габриэля, но никогда сама не начинала рассказа о своем сыне, ибо в те дни, когда я с ней познакомился, в конце ее жизни, все ее помыслы вращались вокруг нее самой и были заняты ее собственными ощущениями, болезнями и воспоминаниями о собственном детстве и юности. И поэтому впервые я услышал о детстве Габриэля, о тех днях, когда он учился в маленькой иешиве рабби Авремеле в Старом городе, не от нее, а от реб Ицхака, сына Красного Уха, когда меня послали в его лавку купить полротеля²⁵ сахарного песку и дюжину прищепок для белья. Сначала Габриэль был отправлен учиться в хедер и в маленькую иешиву рабби Авремеле, оттуда он перешел в школу "Альянса", которая на иврите называлась "Коль Исраэль хаверим", что означает

— ”Все евреи — друзья”, после окончания которой он поступил в учительскую семинарию, основанную германо-еврейским обществом ”Эзра”²⁶. Это его отец, сефардский еврей, обладатель турецкого титула, отправил его учиться именно в ашкеназский хедер. Он сделал это, чтобы ”ребенок (так он сказал) пророс корнями в наследие отцов”, а в его глазах ашкеназский хедер был лучше сефардской талмуд-торы²⁷, потому что ”ашкеназские евреи более суровы в толковании законов и более ревностны в вере, чем сефарды”.

Пустив глубокие корни в наследие отцов в том духе, в каком это понималось в маленькой иешиве рабби Авремеле в Старом городе, из которой впоследствии вышли целые поколения приверженцев ”Нетурей-карта”²⁸, сможет Габриэль, так был уверен его отец, бек, консул Испании, обращать свой взор и на иные области духовной жизни без опасности для своей души.

Тот самый реб Ицхак, сын Красного Уха, который после возникновения государства стал одним из основателей ”Нетурей-карта”, казался мне в те времена стариком, хотя тогда ему еще не исполнилось и сорока лет, ведь в детстве он учился в одном хедере с Габриэлем. Сам Красное Ухо звал сына не Ицхак, а реб Ицхок²⁹. Этот реб Ицхок был обладателем обширного тела и длинной бороды, развевающейся в разные стороны, словно хвост скачущей лошади, но главная прелесть заключалась в его пейсах. Ни у кого из евреев, встреченных мною за всю мою жизнь на рынке Меа-Шеарим или в домах евреев из Венгрии, я не видел таких длинных и пышных пейсов³⁰. Поскольку он не завивал их, как делали щеголи из среды обладателей пейсов, а позволял им расти как придется, они ниспадали, как две пенистые реки, несущиеся вихрем и вливающиеся в его бороду, будто в огромное море. Входя в его лавку

по поручению хозяйки нашего дома, я обращался к нему на иврите, но он отвечал мне на идише, поскольку говорил только на идише, и не потому, что не знал иврита, а потому, что говорить на иврите было в его глазах обычаем безбожников, которые черпали из кладезя "предателя Израиля, Элизера Бен-Иехуды"³¹, да сотрется имя его и память о нем". В тот день я покупал в кредит и сказал ему, чтобы он записал полротеля сахара и дюжину прищепок на счет госпожи Лурия. Лицо его тут же приобрело строгое и сердитое выражение. Записывая долг в свою книгу, он спросил меня, не поднимая глаз, вернулся ли ее сын Габриэль из-за границы. "Мозги у него есть, — сказал он, — но он незаконник. Душа его — душа язычника. В наши дни не найдешь такого даже среди народа, который только недавно перестал служить идолам. Еще будучи мальчишкой в хедере, он уже поклонялся идолам, сохрани нас Господь".

Когда мужчину награждали титулом "отступника" или "гоя"³², а какой-нибудь фанатично-набожный еврей удостоивал женщину звания "развратной", мне никогда не приходило в голову видеть в этом человеке действительно отступника или считать ту женщину действительно развратной. Я и сам не раз удостоивался клички "поганый гой", когда проходил по соседнему с нами району Меа-Шеарим с непокрытой головой, а мою сестру, если она появлялась там же в легком летнем платье, провожали криками: "Развратница, развратница!" Эти и подобные им прозвища вовсе не были эпитетами, относящимися к определенному человеку, я понимал их, как это и было на самом деле, как общие осуждающие названия для тех, кто не относится к лагерю религиозных фанатиков и ведет себя иначе, чем они.

Так что слова реб Ицхока не произвели бы на меня никакого впечатления, разве что я сделал

бы из них тот вывод, что Габриэль отказался от выполнения заповедей и законов Торы еще будучи учеником хедера; но по характеру выеказания и тону реб Иццока я чувствовал, что он хочет указать на нечто ужасное, какое-то особенно распущенное и единственное в своем роде поведение, которое было свойственно Габриэлю и отличало его от прочих вероотступников и даже от неевреев. Но выражения "душа язычника" и "служение идолам" не дали мне ясной картины, и я так и не понял, о чем, собственно, речь. И от матери Габриэля не получил я разъяснения, когда вернулся из лавки и передал ей вместе с половиной ротеля сахара и дюжиной прищепок часть из того, что сказал сын Красного Уха о ее сыне. Я старался пересказать ей только те его слова, которые в наименьшей степени могли возбудить ее гнев, то есть слова "служение чужим богам". "Что имел в виду реб Ицхок, — спросил я ее из простого любопытства, чистого любопытства, — когда сказал о Габриэле, что в детстве он служил чужим богам?"

"Чтоб ему пусто было, этому грубияну, — ответила она без тени волнения, услышав эти слова, а я удивился, как это можно назвать старого человека, обладающего такой бородой и пейсами, грубияном, — подобно отцу, сын Красного Уха — галицийский вор. Посмотри, какой мутный сахар он тебе дал!"

Высыпав сахар в банку и положив прищепки на комод, она вышла на террасу и продолжила подрезать хуреш — так этот овощ называется по-арабски, и этим именем я называю его и сейчас, так как я совершенно забыл его ивритское название. Более культурный родственник этого растения зовется на иностранных языках "артишок". Поскольку она углубилась в подрезание хуреша, я решил, что она не слышала моего вопроса о слу-

жении чужим богам — занятии, которому предавался ее сын в дни своего детства, и искал путей снова задать свой вопрос, но еще ничего не успел придумать, как она заговорила, словно рассуждая сама с собой: "Когда Габи был ребенком, он служил чужим богам? Для этих темных попрошаек всякое служение и всякая работа являются чужими. Габи в детстве был фантазером. В этом он похож на старика. Ведь старик — человек Востока, а у восточных людей богатая фантазия. Всю свою жизнь старик был погружен в свои восточные фантазии и мечты обо всем, и особенно о Моисее, Моисее, который вывел свой народ из рабства. Что сделал Моисей? Взял толпу, сброд, скопище рабов, отцы которых тоже были рабами, и превратил их в великий народ. Почему таскал он их сорок лет по пустыне, стране безмолвия и непроглядной темноты, где не ступала нога культурного человека? Слушай, что я скажу тебе: так поступил он потому, что стыдно было ему, Моисею, появиться в обществе, среди культурных людей, в сопровождении этого сброда, безмозглых и пустых рабов, с шеи которых совершенно неожиданно свалилось ярмо. Все мысли старого турка были посвящены пророку Моисею, и мне кажется, что ему не хватало только жены-эфиопки³³, чтобы самому превратиться в пророка Моисея. А Габи — ведь он кость от кости и плоть от плоти его, и так же, как унаследовал он от отца своего силу и мужество, унаследовал он от него и силу воображения: каждый день он приходил из хедера с новым рассказом об ужасных и удивительных событиях, которые якобы произошли с ним в этот день. Он грезил наяву, у него бывали галлюцинации и видения, так что я даже боялась за его здоровье. Знаешь ли ты, что всему свое время, и все имеет свои границы, и всякое излишество портит жизнь человека? Человек, погруженный в фантазии, теряет

связь с этим миром и в конце концов погибает. И правда, посмотри, что стало с Габи, с юношей, который был благословен такими замечательными способностями, да и возможности, слава Богу, у него были. Все признавали, и глава иешивы, и учителя в школе "Лемель"³⁴ и в "Альянсе", что он обладает на редкость тонким восприятием и острым умом. Да и дома, слава Богу, не было ни в чем недостатка, и баловали, и холили его, как и не снилось всем этим несчастным иерусалимским беднякам. И кого еще из его друзей послали учиться в Париж, как царского сына, как настоящего принца, чтобы он усдвершенствовался там в науках? Ведь он мог вернуться уже давно и быть здесь великим врачом! Более великим, чем доктор Тихо, и чем доктор Мазе, и чем доктор Валлах, вместе взятые!³⁵ А что делал он там? Ну, я спрашиваю тебя, что делал и что делает Габи все эти годы там, в Париже? Все деньги своего старого отца он уже растранижил на пустяки и сумасбродства и вот теперь мыкается по вонючим углам, кочует из одной заплесневелой дыры в другую, голый и без гроша за душой. И все это, говорю я тебе, все из-за тех его фантазий. И вот, сердце мое разрывается и истекает кровью во все дни, да и ночью нет моей душе покоя, как подумаю, что он попусту растрчивает и губит свою жизнь, занимаясь бессмысленными делами и восточными фантазиями, теми фантазиями, которые он унаследовал от своего отца, старого турка. Ведь я уже говорила тебе, что он кость от кости его и плоть от плоти".

Тут старуха перешла к обсуждению достоинств и недостатков своего покойного мужа и о сыне больше не вспоминала. Чем дольше она говорила, тем сильнее росло во мне нетерпение, и меня охватило какое-то смутное и угнетенное состояние, когда я осознал, что мне так и не удастся вырвать

из ее уст что-то определенное, что дало бы мне представление о "служении Габриэля чужим богам" в пору его детства и что в ее устах носило название "восточных фантазий", потому что все мысли ее, в сущности, были связаны лишь с ней самой, а поскольку сама она до краев была наполнена историей своей жизни с турецким беком, благословенна его память, то он и был стержнем ее дум, а о своем поныне здравствующем сыне она вспоминала лишь мимоходом, и если он иногда и оказывался на короткое время в центре ее внимания, то был лишь эпизодом в книге ее жизни со стариком. В последующие дни я еще несколько раз пытался возвратиться к вопросу о "восточных фантазиях" Габриэля в пору его детства, но в ее речах не прозвучало ничего нового, она только снова и снова подчеркивала, что эти фантазии перешли к нему от отца, как какая-то наследственная болезнь. Речи старухи, текшие в русле, столь далеко от направления, к которому я стремился, и поэтому так сильно злившие меня, все же откликнулись во мне каким-то странным образом, но случилось это не в состоянии бодрствования, а в ночных снах. Один такой сон возвращался и повторялся несколько раз в моем детстве, и в нем ее речи вплелись в беседу, которую старый бек вел перед смертью с длинноногим сеньором Моизом. Красное Ухо сидит, по обыкновению, на пороге лавки и дремлет, а его сын, реб Ицшок, с развевающимися пейсами стоит возле весов и наблюдает сердитым глазом за их стрелкой. Но это не бакалейная лавка, а терраса дома, и старик Красное Ухо не кто иной, как фараон. Я удивляюсь тому, что фараон, который в моем сознании был царем Египта, самым великим и могущественным из всех земных царей, построившим Пифом и Рамсес и огромные пирамиды, в действительности — галицийский лавочник, старый и не-

мощный. И то, что действительность эта оказалась серой, мелкой, старой и дряхлой, давило на меня и разочаровывало. Предводитель волхвов, а им был реб Ицхок, шепчет в красное глухое ухо фараона: "Проснись, открой глаза и сядь прямо. Вот он идет, перестань храпеть!" Из этих его слов я заключаю, что несмолкающие, слышные повсюду хриплые звуки — это не что иное, как храп, вырывающийся из ноздрей красноухого фараона, вынужденного, к собственному неудовольствию, воспрянуть от своего глубокого сна, ибо Моисей, избранник Божий, поднимается на террасу в лондонском цилиндре, черном и твердом, с тростью в руке, пыхтящий и еле дышащий после подъема по крутой лестнице. Рядом с ним широко выбрасывает в стороны свои длинные ноги сеньор Моиз, поддерживающий его под локоть и бдительно оглядывающийся по сторонам, высматривая врагов и злоумышленников. И действительно, в этот момент из "лестничной" комнаты внезапно выскакивает старуха, налетает на старика, срывает с него цилиндр и топчет ногами. Предводитель волхвов окружен сейчас толпой хасидов, и кажется, что они молятся с превеликим усердием. Глаза их специально зажмурены, а рты широко открыты, но голос их тонет в храпе фараона, который вновь погрузился в глубокий сон. "Не верьте ему, — кричит старуха волхвам и показывает пальцем на старого бека, — это только восточные фантазии. Он не Моисей, он не Моисей, он не Моисей! Нет у него жены-эфиопки! Не хватает ему еще жены-эфиопки!" Сеньор Моиз стоит между ними, успокаивает ее мягким голосом и умиротворяющими движениями рук: "...и не в обиду вам будь сказано, и так не делают...". Старик, сидящий в красном кресле и вытирающий со своей гладкой макушки блестящие и сверкающие под лучами заходящего солнца капли пота, делает сеньору Моизу знак,

чтобы тот подошел, и шепчет ему что-то на ухо. Возбуждение среди волхвов нарастает. Они раскачиваются что есть силы вперед и назад, встают на цыпочки, трепещут, дрожат и качают головами. Они бьют себя сжатыми кулаками в грудь. Гнет, давящий мне сердце, начинает отступать. Я ободряюсь и радостно просыпаюсь с ясным сознанием того, что в будущем жезл Аарона, который он бросит по приказу Моисея, избранника Божьего, превратится в змея, проглотит старуху и победит волхвов фараона и все ветряные мельницы вообще.

Здесь я должен подчеркнуть, что это ясное знание будущего не было частью сна, который, по правде говоря, закончился в тот момент, когда старый бек прошептал на ухо сеньору Моизу слова, что привели в ужас волхвов и сняли гнет с моего сердца; то был логический вывод, сделанный в момент пробуждения на основании виденного мною во сне, причем к поражению старухи и волхвов я наяву добавил еще победу Дон-Кихота над ветряными мельницами, и к радости, которая была порождена этим знанием, прибавились вообще радость пробуждений того лета и смех.

Радости пробуждений, которой было отмечено то лето, я не ощущал уже лет двадцать пять и даже больше. Мгновение пробуждения, этот переход от реальности сна к реальности жизни — тяжелое и болезненное мгновение, даже если открывающиеся глаза плоти призваны освободить человека от кошмаров сомкнутых глаз духа, ибо это мгновение относится к числу непостижимых мгновений обновления мира, возникновения света, рождения и смерти, во время которых родовые муки охватывают и творца, и его творение, и роженицу, и ребенка, и мир, и его спасителя.

Когда впоследствии по утрам я стал испыты-

вать муки при пробуждении, я вспомнил то, что рассказывал мне Габриэль в то лето радостных пробуждений во время прогулки по Абиссинской улице после одного из его приступов слепоты. В юности, когда он еще учился в маленькой иешиве, довелось ему прочитать в одном из толкований или комментариев к Книге Бытие, не помню точно где, о стихе: "И сказал Господь: да будет свет. И был свет...", что сочетание букв "вав" и "йод" в слове "вайехи" (да будет) можно прочитать как "вай" и что это "вай" — крик боли в момент создания света и мира. Габриэль сказал еще, что начал понимать смысл этих слов только через пятьдесят лет после того, как прочитал их, с тех пор, как начали посещать его приступы слепоты; и мне кажется, что и я начал постигать кое-что из смысла этих слов (ибо истинное понимание приходит к человеку только тогда, когда он испытает что-либо на собственной шкуре) лишь по прошествии двадцати пяти лет после того разговора с Габриэлем, то есть тогда, когда начались у меня эти проклятые муки пробуждения, назначением которых было открыть мне путем долгих и тяжелых страданий истинную цену утерянной мною благословенной радости пробуждений, которая существует сейчас разве только в тоске воспоминаний и в глупой надежде на ее возвращение когда-нибудь в будущем.

Может быть, дело только в возрасте, а может быть, тогда, в моем детстве, был этот бездонный переход из сознания во сне к сознанию вне сна настолько быстрым и неосозанным, что и боль тоже не осознавалась; возможно также — и я склонен верить в вероятность этого, очевидно, потому, что я хочу в нее верить, — что тогда вообще не существовала для меня эта разверстая бездна между двумя состояниями души, эта бездна между смертью и рождением, и я быстро переходил от

сна к бодрствованию и от бодрствования ко сну, словно из одной комнаты в другую в заколдованном дворце, ликуя от возбужденного ожидания всяких чудес, ждущих меня за каждым углом и в начале каждого лестничного пролета. Следует подчеркнуть, что сознание души во сне и сознание души при пробуждении не тождественны ночному сознанию и дневному сознанию, хотя сон в большинстве случаев падает на ночь, а пробуждение происходит днем, что может вызвать, и в большинстве случаев вызывает, путаницу этих понятий. Вот, например, во мне впервые проснулось сознание ночи, когда я встретился с ночным небом; и хотя случилось это ночью, но само сознание было сознанием пробуждения, и мне кажется, не будет преувеличением сказать, что и мир дня, и мир ночи являются лишь разными состояниями сознания человека при пробуждении; что касается состояния человека во время сна, то оно сходно с реальностью, в которой пребывает душа перед рождением и после смерти и которая находится за пределами и дня, и ночи, и даже сны не все проникают в нее и достигают ее, а только особые сны, такие, от которых в памяти не остается и следа, и способность удержать в памяти то состояние души, что за пределами дня и ночи, зависит от пробуждения сознания человека в момент пробуждения его ото сна; а само это пробуждение относится к тем же переходам через бездну, что обновление мира, возникновение света, рождение и смерть.

ЛУНА И ГОЛУБЬ

Хозяйка нашего дома, госпожа Лурия, не любила заходить в эту аптеку, аптеку доктора Блюма, который всегда — так она говорила — заставлял ее испытывать неловкость из-за того, что, как ей казалось, она отрывает его от важных дел, или чувствовать себя растерянной девочкой, которая не умеет толком ни спросить, ни ответить. Еще больше он подавлял и раздражал ее тогда, когда старался ей угодить, и потому она посылала к нему меня.

Вначале я был уверен, что он ходит совершенно голый под белым халатом и ничто не прикрывает его плоть, кроме очков, защемляющих нос, как у Ганди, но только того типа, что носят ученые. Я думал так, потому что сверху в вырезе его халата виднелись лишь выцветшие желтоватые волосы на груди, а из-под подола халата высывались беловато-синеватые колени. Много позже я понял, что это впечатление создавалось из-за того, что у него на шее не было галстука, а штаны, которые он носил, были короткие штаны цвета хаки, но не такие, какие носили все в те времена, а штаны британских офицеров, жесткие и отутюженные. Только теперь, когда я описываю все это, пришло мне в голову, что со времени возникновения государства почти совершенно исчезли из обихода короткие штаны. Чтобы дополнить портрет этого "ученого Ганди", следует сказать, что во время работы у него на ногах были только потрепанные сандалии, превратившиеся в домаш-

ние туфли еще в те времена, когда порвался ремешок, схватывающий лодыжку, и с тех пор при каждом шаге они стучали об пол. Он постоянно был занят переносом наркотиков и ядов из одного шкафа в другой и перестановкой банок. Аптекарь недавно вернулся из Бейрута, где закончил университет, и его аптека была совершенно новой, как и он сам в качестве аптекаря, и я вначале думал, что скоро он прекратит это занятие — как только окончательно определит место для каждого лекарства. Но и по прошествии многих дней, недель и месяцев, в сущности, все время, пока он был аптекарем, он продолжал переставлять лекарства с места на место с одним и тем же сосредоточенным, беспокойным и решительным выражением — наморщившись и насупившись, шагая взад и вперед по клетке аптеки, лицо поднято вверх, руки сложены за спиной и крепко держат маленькую книжку, открытую на той странице, которую он собирается читать. Когда он не бывал занят подыскиванием нового места для лекарств, он искал в высоте потолка расшифровку смысла стихов этой маленькой книжки, вплетенной в пальцы его сложенных рук, и от всех этих забот ему неизбежно приходилось отрываться для того, чтобы составить глазные капли для госпожи Лурия, своей постоянной клиентки, остававшейся, несмотря ни на что, при моем посредстве единственной верной ему клиенткой до последних дней существования его аптеки. "Гм! Что скажет молодое поколение? — спрашивал он дважды в неделю, не глядя на меня, ибо глаза его были устремлены на банки с ядами. — Кто спасет нас?" Иногда он изменял формулировку и говорил: "Кто принесет избавление миру?" А один раз сказал: "Кто спасет меня?"

Однажды он вдруг очнулся и спросил: "Что с Габриэлем? Когда ты видел его в последний раз?"

"Я его вообще никогда не видел", — ответил я.

Как раз за час до этого я пытался составить себе хоть какое-то представление об облике Габриэля в детстве — со слов его матери, госпожи Лурия; тогда я не знал, что очень скоро, меньше, чем через месяц, увижу его.

”Похоже, он уехал за границу еще до того, как ты родился, — сказал аптекарь. — Так-то оно в наши дни. Человек не видит своих братьев”.

”Я не брат ему, — ответил я. — Госпожа Лурия не моя мама, она наша хозяйка”.

Очевидно, он не слышал моих слов, а если и слышал, то они не произвели на него никакого впечатления, ибо он посмотрел на меня внимательно и сказал: ”Да, да, сразу видно. Вы похожи друг на друга как две капли воды, разница только в одежде. В детстве мы с ним вместе учили в хедере Хумеш³⁶. Хумеш, этот сильный яд, погубил его. Я говорил это твоей матери. ”Госпожа Лурия, — сказал я ей, — дайте мне адрес Габриэля, вашего сына. Я хочу написать ему письмо. Вы знаете, что сгубило вашего сына? Хумеш. Да, да — Хумеш отравил его мозг”. Я пробовал объяснить ей это, но она просто сбежала. Сказала, что у нее нет времени на глупости, и с тех пор она побаивается заходить ко мне; поскольку она набила свою голову мякиной, там не осталось места для чего-то в самом деле важного. Прости меня, что я так говорю о твоей матери, но ты не должен обижаться — большинство матерей в наши дни таковы, да, в сущности, и все люди. Поэтому все производят впечатление очень озабоченных важными делами. Она отказалась, разумеется, дать мне его адрес, адрес твоего брата. Если бы ты знал адрес Габриэля, я бы попросил его у тебя, но мне ясно как Божий день, что она скрыла его от тебя, так же, как, разумеется, ей удалось скрыть всю эту историю, которая произошла за много лет до твоего рождения, когда Габриэль был еще

ребенком и лунными ночами спускался в Кидронскую долину со своими голубями”.

Лунными ночами я никогда не спускался с голубями, которых у меня никогда не было, в Кидронскую долину, но однажды я поднялся на гору Скопус в ночь, когда полная оранжевая луна выплыла из-за Моавитских гор и повисла в необъятном и вечном безмолвии, которое сообщает ночи в Иудейской пустыне высокий накал беспредельной сущности потустороннего мира и объемлет подножие вселенной волнами пространства, покоящегося на плечах гор от вершины Нево до Тур-Малка. И тогда я стал видеть сон. В этом неоднократно повторявшемся сне луна всходила из-за Моавитских гор, приближалась к Масличной горе и все росла, и становилась лиловой, и вбирала, и всасывала в себя сок мира до тех пор, пока я не просыпался — испуганный, с бьющимся сердцем, с мучительным сознанием, что вот сейчас, еще крошечное мгновение — и погибнет душа обескровленного мира. Это был ужас иного бытия, охватывающего зримый мир, подобно тому, как огромное, беспредельное море окружает судно, нос которого дерзает прорвать пену, лижущую его борта, и путешественник только тогда способен наслаждаться первобытной красотой этого моря, когда ноги его чувствуют надежную неподвижность палубы, и ему ясно, что корабль его не собирается разбиться и потонуть. Такой сильный ужас охватывал меня еще только однажды, когда посреди ночи, засыпая, я почувствовал, что привидения заполняют закрытую комнату. Тогда вопль душ умерших, пробирающий до костей, разбудил меня, и когда я во время похорон нашей хозяйки поведал об этом доктору Блюму, он рассказал мне о том, что читал некогда в одной маленькой книжке, название и имя автора которой он забыл, что дух нагоняет ужас только в

том случае, если принадлежит человеку, которого ты любил в дни его жизни на земле. Когда это случилось со мной, я не только не знал, чей дух нагоняет на меня ужас, но и вообще не был уверен, что это дух какого-либо определенного человека. Само ощущение, что есть что-то, заполняющее дом и не поддающееся определению во времени и пространстве, было для меня ужасным, как та страшная луна в моем повторяющемся сне, тотчас вспомнившимся мне при словах доктора Блюма о лунных ночах, в которые спускался Габриэль в Кидронскую долину со своими голубями. ”Да, да, — добавил он и посмотрел долгим взглядом на завернутое в саван тело нашей хозяйки, которая казалась высохшей и гораздо меньше ростом, чем при жизни, — только после смерти человека нам становится известно, любили ли мы его на самом деле”.

Вдруг мне стало нехорошо от явно сквозившей в его взгляде и голосе мысли, от его торопливого и безосновательного заключения, будто бы это ее дух приходил пугать меня в ту ночь, — та ужасная ночь была, по крайней мере, за семь недель до смерти нашей хозяйки, — но, исходя из прежнего опыта, я не пытался указать ему на ошибку, а продолжал слушать. Теперь, когда, согласно общему мнению, душа оставила ее тело, доктор Блюм решил, что имеет право рассказать мне те подробности детства Габриэля, которые, по его мнению, она скрыла от меня намеренно и которые, ради истины, он должен был бы открыть мне уже давно, но воздерживался от этого из-за старухи, и не столько из-за нее самой, а потому, что чувствовал себя связанным правилами порядочности, которые лежали в основе его отношения к людям. Тут я, несмотря на весь свой предыдущий опыт, попытался объяснить ему, что он заблуждается, что хозяйка нашего дома вовсе

не пыталась скрыть эту историю. Она просто не знала о ней, а то немногое, что знала, не занимало ее мыслей, и на мой вопрос о лунных ночах, в которые Габриэль спускался в Кидронскую долину со своими голубями, она с удивлением ответила мне в свое время: "А, в Кидронскую долину? С голубями? Наверное, этот мальчишка хотел продать их арабам. Только теперь, по прошествии стольких лет, мне открылся, наконец, этот большой секрет — куда делись наши голуби! А мне и в голову не приходило подозревать его! Ха-ха, большой проказник он был в детстве!" То есть все это в ее глазах было лишь детской шалостью, не имевшей никакого значения и заслуживающей лишь снисходительной улыбки, тронувшей ее губы спустя тридцать лет.

"Детская шалость, не имеющая значения! — повторил аптекарь слова нашей хозяйки, переданные ему мною с некоторым запозданием, и горько улыбнулся. — Господи, Боже мой! Я всегда знал, что голова ее забита пустяками, но все те дни, что я приготовлял для нее глазные капли, не ведал я, что глаза ее слепы до такой степени. Жаль, я тебе скажу, усилий, которые потратил я на нее за все эти годы. Ты понимаешь, в чем мое несчастье? В том, что я знаю, что тут не с кем разговаривать, что я попусту трачу слова на нежелающих слушать и что, несмотря ни на что, я продолжаю свои попытки и объяснения!"

С каждым словом, срывавшимся с его уст, он все более распалялся, и к тому моменту, когда похоронная процессия подошла к кладбищу, глаза его за стеклами очков, сидевших на носу, затуманились бессильной яростью против хозяйки нашего дома, ибо пока она находилась в своем доме, у него еще оставалась надежда, что, если только удастся ему своей настойчивостью проложить себе дорогу сквозь ее внутреннюю глухоту, он су-

меет достучаться до нее, но с того момента, как она обдумала все и исчезла совершенно, у аптекаря пропала всякая надежда проникнуть к ней; даже если бы его словам удалось разверзнуть нежелающие слышать уши, эти слова проникли бы в пустоту: хозяйка дома больше не поглядывала из-под утомленных век и не подслушивала за завесой неслышащих ушей, и в тот самый час, когда доктор проходил мимо ее покинутого дома, возвращавшегося в камень и в прах, из которых он был взят³⁷, ее адрес был сокрыт от него еще более надежно, чем адрес ее сына Габриэля, который она утаила, да и вообще события детства ее сына были сокрыты от нее, а к некоторым известным ей подробностям относилась она, как к простому озорству, которое на расстоянии тридцати лет достойно лишь снисходительной улыбки.

Что до меня, то я не знаю, достойны эти события снисходительной улыбки или нет, ибо услышал я о них от аптекаря, а не от нее, и произошло это в тот момент, когда глаза его были затуманены бессильным гневом, вызванным ее кончиной, и я не знаю не только, чего они достойны, но даже и того, как относился к ним сам аптекарь, бывший свидетелем их, по крайней мере, один раз. Но с тех пор, как слетели с его уст эти слова, словно древние черепки, пробуждающие глухими звуками своего падения память о другом бытии, существующем за пределами забвения, которое рождается вместе с рождением, с тех самых пор я не мог уже видеть новолуния без того, чтобы не предстал предо мной образ юного Габриэля, который, когда исполнилось ему тринадцать лет, то есть пришла пора принять на себя бремя исполнения заповедей, спустился со своим голубем в Кидронскую долину, хотя произошло это не в новолуние, а в ночь, когда светила полная луна.

Когда лег он на свою кровать, темная комната

наполнилась тоской, и окно, раскрытое настежь на восток, все более светлело, от подоконника и выше, а на нити, сотканной луной, бились крылья его голубя, летавшего снаружи, пока не нырнул он, как искра, с высоты и не уселся на подоконник темным силуэтом на фоне луны, подплывшей снизу и образовавшей вокруг него оранжевый ореол. Услышав призывное воркование, Габриэль встал, оделся и вышел за голубем навстречу луне, которая сбрасывала с себя рыжее облачение и кидала его на неясные очертания Моавитских гор, а сама становилась все более серебристой, все более круглой по мере того, как поднималась по ночному небосклону. Его нога не споткнулась о камень, и голова не скатилась в пропасть, к подножию стены, по зубцам которой он торопливо бежал от башни Давида над долиной Гай-бен-Хинном мимо крепости Офел и над руслом Гихона и Кидронской долиной по направлению к долине Иосафата, и ничего страшного с ним не случилось и не могло случиться, пока цела была его душа, приобретенная к союзу бессмертных вместе с душой голубя³⁸, бьющейся меж его крыльев: когда попали как-то раз камнем в крыло голубя, он слег в постель и был болен до тех пор, пока крыло у голубя не зажило; он знал также, что со смертью голубя придет конец и его душе, и поэтому только за трепетавшую перед ним птицу боялся он во все продолжение своего бега над древними безднами, пока не решил срезать путь и, обогнув Офел, прошел мимо него, направился ко дну русла, поднялся к Кидронской долине, прошел между гробницей Захарии и гробницей Авессалома и достиг выступа скалы, уже не огороженного железом³⁹. Голубь опустился на вершину скалы, и, словно струна, протянулась невидимая линия, проходя сквозь него и дальше, через Кидронскую долину, через долину Иосафата и точку, в которой вос-

точный склон горы Скопус соприкасается с западным склоном Масличной горы, к луне, а Габриэль лежал животом вниз на выступе скалы, с вытянутыми вдоль тела руками и прижатыми одна к другой ногами, лежал вдоль линии, связывавшей голубя и луну. Над вечным и неохватным безмолвием, беспредельным, благоуханным, милосердным в своей равнодушной прохладе, трепетали лунные нити, дрожащие от все усиливавшегося страстного томления одного мира по другому, пока не открылся канал, соединяющий сферы, и не хлынуло сквозь него на Габриэля щедрым потоком дыхание луны, исторгнутое ее жадными багряными устами и несущее в себе лиловую серебристость ее кожи. И при свете луны он поднялся, взял бьющегося и воркующего голубя, поднял над жертвенником и простер руку свою, чтобы заколоть. Барашек не запутался в чаще рогами, и кровь голубя брызнула и пролилась на жертвенник, на котором не было дров⁴⁰. С краев жертвенника кровь стекала капля за каплей, голубая в свете луны, и никакой огонь не охватил трепещущее тельце птицы, чтобы вознести благовонное курение Господу, чтобы усладить Его и преподнести Ему, вдыхающему душу⁴¹, душу того, кто погиб вместе с жертвой и не простил Ему.

”Никогда не прощу себе, что не удалось мне получить от нее адрес Габриэля”, — сказал аптекарь, когда мы возвращались с похорон хозяйки дома, и снял с носа очки, чтобы очистить их от паров своего гнева. Как и в прошлом, во времена его учебы во Франции, так и теперь, после того, как Габриэль вернулся и снова исчез, не открыла его мать никому место пребывания сына, и поэтому не было никого, кто бы знал, откуда вызвать его, чтоб он успел на похороны.

Голые, без линз, глаза аптекаря оказались глубоко погруженными в орбиты и недоуменно и

беспомощно глядели на чужой для них мир. "Теперь мне не остается ничего иного, — сказал он с тем же выражением, сосредоточенным, беспокойным и решительным, с каким переставлял яды и лекарства в шкафах, и продолжил, возвращая очки на их постоянное место, отчетливо обозначенное красной вмятиной на носу, — ничего иного, как начать изучать Хумеш в университете. Кто знает? Может быть, там понимают учение о богослужении лучше, чем учитель в хедере, преподававший нам Хумеш с комментариями Раши?⁴² Я уже не мальчик, и в моем возрасте к этим вещам пора относиться осмысленно и с душевным спокойствием".

В этом последнем я был с ним согласен, но, увы, он не достиг большого душевного покоя, изучая Хумеш на горе Скопус⁴³, этот дипломированный аптекарь, который с тех пор, как снял свой длинный белый халат и всему миру стало известно, что все-таки имеются у него короткие штаны над торчащими синеватыми коленями, выглядел более или менее культурно, ведь в те времена многие, и даже вполне порядочные люди имели обыкновение носить короткие штаны. Бессильный гнев, впервые охвативший его во время похорон хозяйки дома, который, видимо, был связан, если говорить рассудительно и спокойно, с определенным изменением ее местонахождения и который, казалось, должен был бы пройти по мере того, как аптекарь привыкнет к этой перемене, не только не утих, но даже усиливался, чем дальше он углублялся в изучение Хумеша и в обсуждение изучаемого со своими учителями и соучениками на горе Скопус. В сущности, он уже не был способен выразить свои мысли (и не только, когда дело касалось скинии⁴⁴, религиозной утвари и жертвоприношений, но и по любому другому вопросу) без крика и размахивания руками в мировом пространстве

— точно утопающий, напрасно ищущий в великих водах за что бы ухватиться. Его голос, который когда-то был чистым, высоким и приятным для слуха (по крайней мере, для моего слуха, который и сегодня трогает особенная, мягкая мелодия речи, характерная для старых уроженцев страны, начавших говорить на иврите еще в дни турецкой власти), охрип от крика и как будто бы тек внутри наполовину забитой трубы, иногда прорываясь тонким и высоким звуком, а иногда опускаясь до шепота с клокотанием и появлением пузырей; и в самом этом голосе было что-то такое, что не только не располагало к нему его учителей, которых он поносил публично, но и оскорбляло ухо всякого, кто не был глух. Я даже, бывало, старался избежать встречи с ним, делая вид человека, настолько занятого важными, не терпящими отлагательства делами, что он не замечает никого из встречных.

Больше всего его злило, и при этом он до того распалялся, что у него совсем пропадал голос, сходство, которое он обнаружил, к своему несчастью, между своим профессором, ныне здравствующим и продолжающим сеять разумное, доброе и вечное, и нашей хозяйкой, царствие ей небесное. "Это ужасное сходство между ними, — говорил он, — способно когда-нибудь свести меня с ума". Так же, как и она, этот профессор думал, что все, что относится к учению о богослужении, скиния, ковчег со скрижалями⁴⁵ и всевозможные жертвоприношения, все это — детские забавы, которые на расстоянии трех тысяч лет заслуживают лишь снисходительной улыбки. Но то, что простится ей, так как она была обыкновенной женщиной, без претензий, не простится человеку при званиях и регалиях, который идет громить религию от имени науки, несущей прозрение народу. Из его слов я понял, что из-за этой самой науки и нача-

лись непримиримые разногласия между ним и его профессором. По мнению аптекаря, профессор, преподававший Тору, пользовался недостаточно научными методами, и это его мнение, которое он совсем не старался ни от кого скрыть, задело самое чувствительное место в душе профессора и заставило последнего принять решение отделаться от студента-аптекаря во что бы то ни стало.

Как именно закончилась учеба аптекаря на вершине горы Скопус, я в то время еще не знал, ибо это произошло как раз в тот период, когда я старался избегать его, но из его рассказа во время нашей последней встречи в кафе "Атара"⁴⁶ я понял, что они оба отпраздновали свое расставание совместным походом в биологическую лабораторию, куда прибыли, крепко обнявшись, при радостных возгласах всех студентов и ликования студенток. Биологическая лаборатория не имела никакого отношения к изгнанию аптекаря из университета, и она фигурирует в этой истории лишь из-за него самого, поскольку понадобилась ему, чтобы привести примеры, подтверждающие связь науки с Торой. Тот, кто хочет исследовать учение о богослужении действительно научными методами, должен поставить в этой лаборатории многочисленные и точные, насколько это возможно, опыты — так он непрестанно заявлял профессору и всем студентам — в сущности, всем, кто был готов его слушать.

На одном из занятий он высказал мысль, что Еврейский университет в Иерусалиме должен построить заново скинию со всей ее утварью, ковчегом и скрижалями, и там будут отправлять службу профессор и все его помощники и ученики и приносить жертвы, строго по букве закона, без каких-либо отступлений, и только после многих лет скрупулезных экспериментов возникнет у нас право и возможность выразить точное, имеющее на-

учную ценность мнение о значении богослужения, описанного в Библии, появится право поселить у себя Бога Израиля, чтобы мы вновь вернулись к Нему и стали бы Его народом, а Он вернулся бы к нам и открылся нам и всему миру во всех чудесах, знамениях и предсказаниях, великих и поразительных.

Он говорил, и постепенно растаяла и исчезла из его голоса хрипота, а по мере того, как он различал в лице профессора признаки согласия со своими словами, в его голосе зазвучала и стала крепнуть приятная мелодичность, которая была ему свойственна в прежние времена. Профессор же не только кивал головой в знак согласия, но просто весь сиял, точно обнаружил клад. Уже много времени он только и ждал подходящего случая, чтобы прогнать аптекаря со своих уроков, и теперь, когда случай представился, он окончательно решил не упускать его. Предвкушая удовольствие от того элегантного и вместе с тем забавного способа, которым он отделается от этого "наказания Божьего", профессор встал и торжественно объявил, что у него нет ничего против коллег-биологов, более того, он испытывает к ним большое уважение, смешанное с преклонением перед необыкновенной силой их духа. Только один раз набрался он смелости войти в биологическую лабораторию, и, когда увидел собственными глазами, как препарируют жабу и снимают с нее кожу, его охватила слабость, и силы не вернулись к нему, пока он не принял валерьяновых капель. Чудо еще, что в тот момент там не занимались жертвоприношениями, умерщвлением быка и кровопусканием, ибо в этом случае не помогли бы ему и валерьяновые капли. И сейчас, поскольку уважаемый его ученик, доктор Блюм, выразил желание совершать жертвоприношения с целью эксперимента, а жертвы, как известно всем, кто

слушал лекции профессора, берутся из живого мира, а если быть более точным, то только из пяти видов животных: из крупного рогатого скота, из овец и коз, из горлиц и голубей, а изучение всего живого со всеми его родами и видами, включая упомянутые выше пять видов, относится, безусловно, к биологическому отделению университета, где трудятся со смелостью, достойной преклонения, его друзья биологи, то доктору Блюму не остается ничего иного, как перейти на биологическое отделение и сделать это незамедлительно, иначе говоря, сию минуту. И с этого момента чтобы даже ноги доктора Блюма не было в его, профессора, классе.

Аптекарь, который вообще-то был понятливым, сначала не сообразил, на что намекают эти слова, настолько он был взволнован и возбужден ложным впечатлением, возникшим у него тогда, когда говорил он сам: вот, наконец-то, удалось его голосу пробиться в неслышащие уши профессора по Торе, которые всегда казались ему не менее глухими, чем уши нашей хозяйки, благословенна ее память. Он даже принял с восторгом идею привлечения других отделений к этому грандиозному эксперименту. Но когда все студенты разразились хохотом, он понял, в какое положение попал, и его охватил приступ ярости, подобного которому он не испытывал даже на похоронах нашей хозяйки, да будет земля ей пухом, и эта ярость придала пикантность тому, что началось так благопристойно, и ни на йоту не смутила развлекавшееся общество. "Все, что ты сказал, — крикнул аптекарь тонким срывающимся голосом, в котором уже слышалось легкое клокотание, предвещавшее беду: еще немного, и он сам будет нуждаться в тех валерьяновых каплях, о которых упомянул в своей отповеди профессор, — подтверждает мои слова, что у тебя нет никакого представления о

научных методах. Ты сам признался, что только раз в жизни вошел в биологическую лабораторию, и поэтому тебе следует понять единственный логический вывод: не я, а ты пойдешь отсюда в биологическую лабораторию. Я — я имею звание доктора химии. Я-то знаю, слава Богу, что такое лаборатория. Не я, а ты пойдешь туда!”

”Не я пойду, а ты”, — кричал ему в ответ профессор; и так стояли они друг против друга и посылали один другого в одно и то же место, вытянув руки с указующими перстами, выпучив глаза, и кто знает, сколько времени они бы еще стояли, словно приросши к полу, и обменивались своими любезностями, если бы аптекарю не удалось осуществить свои посулы на деле: он подбежал к противнику, крепко обхватил его руками и потащил за собой, и так, обнявшись и прилепившись друг к другу, оба они прибыли, как уже говорилось выше, в биологическую лабораторию.

Выше говорилось также, что подробности об окончании курса на кафедре по изучению Библии в университете на горе Скопус я услышал из его уст лишь через несколько лет после самих событий, во время нашей встречи в кафе ”Атара”. Точности ради следует отметить, что это была не только наша последняя встреча в кафе, но и первая, ибо раньше я его никогда не видел в каком-либо кафе вообще — наверное, он был слишком занят в те беспокойные дни — то ли перемещением ядов и лекарств из одного шкафа в другой, то ли отчаянными спорами со своими товарищами и с профессором о разных видах жертвоприношений. Вначале я не узнал его, хотя он и сидел за соседним столиком, и я посмотрел в его сторону и заметил лишь некоего господина в сером костюме. Только когда к нему подошла официантка, и он заказал стакан чаю и кекс, во мне что-то откликнулось при звуке его мягкого и приятного

голоса. Я еще раз повернулся в его сторону после того, как узнал тембр его речи, и убедился, что он производит впечатление, приятное не только для слуха, но и вообще, и это не из-за огромной перемены в его внешности, вызванной светло-серым костюмом, а главным образом из-за уверенности в глазах. Очки, крепко сидевшие на носу, наконец-то попали в подходящую компанию: им под стать был синий галстук, выглядывающий из-под крахмального воротничка, сияющего белизной над светло-серым костюмом, который был сшит хорошо и по мерке и придавал ему солидность, вызывающую уважение и доверие. По его продуманному костюму и приветливому выражению лица, свидетельствующему об удовлетворенности хорошо устроенного в этом мире человека, можно было ясно видеть, что он обрел наконец не только мир и душевный покой, которых столь тщетно искал во времена занятий наукой на горе Скопус, но также и богатство, размером которого можно было гордиться. Он беседовал на французском, украшенном изящными выражениями и арабскими вкраплениями, с каким-то человеком, недавно вошедшим и севшим за его столик, лысым и толстым, который выглядел и вовсе преуспевающим и устроенным в этом мире еще лучше аптекаря. Мощные усы лысого толстяка, движения рук и весь его облик привели меня к мысли, что он — торговец, из арабов-христиан, живущих в районе Нашашиб⁴⁷, и я ошибся только в определении его местожительства. Когда толстяк ушел, аптекарь сказал мне, что этот обладатель столь обширного тела является одним из уважаемых граждан Бейрута, знаменит своим богатством и в настоящее время находится в нашей стране по делам торговли, которую он ведет на всем Ближнем Востоке. Оба они вместе учились в Бейрутском университете, и там завязались их

отношения, которые, как выяснилось, превратились в дружбу лишь недавно, поскольку только в последнее время аптекарь наконец-то ответил на неоднократные предложения толстяка о сотрудничестве. Еще в годы учебы этот человек предлагал ему стать компаньоном в деле производства лекарств и их сбыта, и теперь они работают вместе.

Я спросил, занимается ли он по-прежнему Торой, и он, оставаясь в неизменно добром расположении духа, рассказал мне со всеми подробностями описанную выше историю о том, как кончилась его учеба и как он притащил профессора по Торе в биологическую лабораторию. "В сущности, — сказал он, — этот бедняга заслуживает лишь снисходительной улыбки. Ты простишь меня, конечно, но я должен подойти вон к тому парню в углу, который давно меня ждет. Он еще новичок в торговле гашишем и поэтому так нервничает. Мы уже начали производить синтетические наркотики, гораздо лучшие, чем натуральные, но палестинские клиенты еще не знакомы с ними и по-прежнему предпочитают гашиш".

Он встал, собираясь подойти к нервному новичку, и, когда подал мне руку на прощание, вдруг словно проснулся, быстро взглянул на меня и спросил: "А Габриэль, как его дела? Когда ты видел его в последний раз?"

ЗВУКИ АБИССИНСКОЙ УЛИЦЫ

Когда я начал брать книги в библиотеке "Бней-Брита", то узнал, что тамошний библиотекарь — низкорослый, очкастый и косоглазый человек — в детстве тоже учился вместе с Габриэлем Ионатаном Лурия в Старом городе. Я любил библиотекаря за то, что не менее четырех-пяти раз в неделю он открывал мне ворота библиотеки. Тогда, во время летних каникул, я был способен прочитать книгу за день, и если у меня под рукой не было другой новой книги, я перечитывал "Дон-Кихота" в переводе Бялика⁴⁸, которого получил в подарок на день рождения, и точное и подробное знание того, что ждет меня на следующей странице, не только не умаляло моего интереса, но, напротив, увеличивало наслаждение и трепет от предвкушаемого удовольствия, обещанного заранее и осуществлявшегося с каждым переворотом страницы. Иным был поток ожидания, ровно текущий по известному руслу среди множества волн страстного нетерпения, накатывавших на меня, когда я открывал новую книгу, которую приносил из библиотеки, причем первые волны начинали захлестывать меня еще раньше, в сущности, в тот миг, когда я только выходил из дому, чтобы отправиться в библиотеку обменять книгу.

В библиотеку "Бней-Брита" я ходил по Абиссинской улице, имевшей два горба, наподобие двух волн, догонявших друг друга и внезапно застывающих между домов, стоящих на "берегах", между каменными оградами, толстыми и непроницаемы-

ми, которые окружают со всех сторон скрытую внутри жизнь, как твердые обложки книг, вернувшихся от переплетчика, обложки, стоящие одна подле другой и выглядящие такими непроницаемыми, такими органично причастными к внешнему миру, в то время, как каждая из них прикрывает течение особой жизни, единственное и неповторимое, имеющее свое особое звучание, свой смысл и свои извивы. Мне очень хотелось войти в ворота некоторых оград, подобно тому, как не терпелось поскорей открыть обложку новой книги из-за тоски по чудесному и особенному миру, скрытому под непроницаемым покрывалом, охраняющим его, но так же, как существовали книги, своим видом, названием или формой букв нагонявшие на меня скуку еще прежде, чем я начинал их читать, из-за чего я и спешил вернуть их на место, так же существовали и ограды, мимо которых я пробежал, не глядя, потому что сама мысль проникнуть внутрь дома, который они окружали, вызывала во мне неприятную дрожь. Именно таким был первый дом от угла, одна сторона которого выходила на улицу Пророков, а другая — на Абиссинскую. Ограда его была похожа на все остальные каменные ограды, но сам дом был почему-то построен — почти весь — из листовой жести, словно гараж, аккуратный и удивительно чистый, без единого масляного пятнышка или ржавчины, потому что он никогда не использовался по назначению, или словно казарма, которая лишилась вдруг всех своих солдат, и поэтому время от времени ее посещают серьезные люди в черных костюмах и утешают ее в ее горе. Сама жесь, ощущение прикосновения к ней, ее вид, звук, вся гамма звуков, издаваемых ею, всегда были мне неприятны, так же, как и всякое изделие из нее, будь то ведро для воды или таз для умывания, а уж целый дом, сделанный из листов жести, был в моих глазах

тем более не настоящим домом, а каким-то чучелом дома, вызывавшим во мне такое же отвращение, какое охватило меня однажды, когда я прикоснулся к лимону, чтобы его понюхать. Вдруг оказалось, что вместо блестящей кожуры, твердой и нежной, объемлющей внутренность живого плода и источающей бодрящий своей остротой запах прохлады, пальцы мои обнимают мертвый целлулоид, из которого был сделан этот полый грушечный плод. Рядом с оградой того дома выгнулась и окаменела вдоль двух горбов переулка ограда Абиссинского квартала⁴⁹ с его зеленокупольной церковью, монастырем и жилыми домами; и за эту ограду у меня не было желания проникнуть в те дни, но совсем по другой причине. Я чувствовал, что за ней бьет ключом жизнь, настолько далекая и чужая, что для того, чтобы проникнуть в нее, недостаточно беглого взгляда извне и даже недостаточно нарядиться в мантию коптского священника. Чтобы действительно почувствовать то, что сокрыто за ней, я должен изменить цвет кожи и превратиться в настоящего абиссинца, а это совсем не увлекало меня в то время, так же, как не увлекала меня тогда книга, герои которой стремились подняться на гору Килиманджаро⁵⁰, ибо меня интересовали ночи на южных островах. Чтение рассказа о Килиманджаро я отложил на будущее, так же, как отложил намерение заглянуть в мир абиссинцев, пока моя душа не будет готова совершить это далекое плавание; но когда закончился рассказ о южных ночах и книга о приключениях в горах Африки была уже у меня в руках, я узнал о двух молодых коптских монахах нечто такое, что раз и навсегда отбило у меня желание проникать в мир коптских монахов вообще, хотя это знание и касалось, как было сказано, только этих двоих.

Когда вслед за библиотекарем я поднялся по

ступеням библиотеки, мимо нас прошли, похожие на черных жирафов, горделиво проплывающих над оградой, два молодых абиссинских монаха в высоких шапках, венчающих их головы, словно черные короны. Монахи тихо спорили между собой, но их тонкие голоса, чистые и ясные, витали в воздухе, как звуки тонких струн, колеблемые ветром во время бури. Скрытые под шапками их головы были, наверное, совершенно обриты, как и открытые взору виски и затылки — гладкие и блестящие, такие же, как кожа их лиц, похожая на отполированный черный мрамор. Лица этих великанов выглядели удивительно юными, почти детскими, может быть, именно из-за их высокого роста, но можно было предположить, что они были уже вполне взрослыми, лет семнадцати-восемнадцати. "Ты, конечно, понял, — сказал мне библиотекарь, — что эти бедняги — скопцы? "Оскопленные человеком", а не "оскопленные солнцем". Их оскостили люди, как видно, еще в детстве. Ты, наверное, не знаешь, что означает выражение "оскопленные солнцем"? Это скопцы от рождения, и называют их так потому, что солнце никогда не видело их в силе".

Что-то в голосе библиотекаря всегда было приятно моему слуху; и произношение, и то, как он делал паузы между словами, роднило его и с аптекарем, и с моими родителями, да и со всем поколением уроженцев Иерусалима, начавшим говорить на иврите смолоду, в те дни, когда в стране еще властвовали турки. Эта приятная мелодичность присутствовала в его речи, даже когда смысл ее был неприятен, а слова могли бы задеть, если бы не эта обволакивающая мягкость. Но на этот раз ничто не смогло смягчить шока от произнесенных слов — шока боли: казалось, что и по сей день несут они, эти двое, в своей крови боль оскости, которое отсекло их сразу и навсегда от

древа жизни, продолжить которую должно было бы их семя, ибо каждая трава да даст семя, и дерево плодоносное да произведет по роду своему плод⁵¹. А поскольку они были приговорены к пожизненному заключению, каждый в своей келье, в одиночестве и отшельничестве, они были оторваны от древа жизни вообще, того древа, корни которого проходят сквозь все предшествующие им поколения, а вершину колеблют ветры, проносящиеся над всеми последующими поколениями; оскотление не только вырвало их из вертикали — из связи будущего с прошедшим — и сделало их глухими к мелодии биения волн, переливающихся от клетки к клетке, оно также вырвало их из горизонтали жизни в настоящем, и так они и остались — словно две клетки, две кельи, подвешенные в холодной пустоте без всякого смысла.

Через много лет после того, как библиотекарь внезапно исчез, оставив за собой туман слухов о чем-то ужасном, что с ним произошло и заставило его тайно бежать из страны, рассказал мне Габриэль о процедуре кастрации свиней во французской деревне Карнак, в провинции Бретань. Перед возвращением домой Габриэль нанялся в качестве сельскохозяйственного рабочего на ферму и занимался там всякой тяжелой работой в доме и в поле, пока не случилась эта история с кастрацией свиней. Хотя в силу своего происхождения Габриэль всегда презирал эти создания⁵², а чем больше он узнавал их на ферме, тем сильнее становилось его отвращение, все же он никак не мог согласиться участвовать в их кастрации. Раз старый работник, из местных жителей, поймал поросенка и показал Габриэлю, как производят кастрацию, отделяя мошонку с помощью особого, похожего на садовые ножницы ножа. Габриэль, который весь задрожал от того, что увидел, заявил, что в этом деле он участия не примет. Если бы ему

велели зарезать поросенка, лишить его жизни тем или иным способом, он бы нисколько не колебался, так же, как до сих пор он не отказывался от убоя птицы и других животных, когда того требовала хозяйка фермы, но кастрация, пусть даже кастрация этого отвратительного и презренного создания, нагоняла на него такой ужас, что он не мог ни сам совершить подобного, ни наблюдать, как это совершают другие.

Еще не успел я опомниться от слов библиотекаря, открывшего мне глаза на то ужасное, что совершила человеческая рука над этими двумя абиссинскими юношами, шагавшими перед нами, как я был поражен их смехом, звучащим тонко, как серебряный колокольчик, поражен тем, что неисправимо и навсегда оскопленные юноши вообще способны веселиться и смеяться. Веселость начала пузыриться в их голосе в тот момент, когда они собирались войти в ворота ограды зеленокупольной эфиопской церкви и встретили священника, в курчавых волосах которого пробивалась седина. Священник направлялся к выходу и, поравнявшись с юношами, что-то им сказал, на что они разразились переливами веселого смеха, звучащего долго, уже и после того, как он миновал их и пошел своим путем по направлению к улице Пророков. Этот священник вовсе не был скопцом, о чем свидетельствовали многие признаки: и борода, завившаяся спиралями, как серебряная филигранная проволока, и вся его осанка, и алчный блеск, вспыхнувший у него в глазах при виде девочки, одетой в шотландскую клетчатую юбку в складку и скользившей на роликах, выписывая вдоль улицы зигзаги. Он сказал ей на иврите: "Передай привет папе", — а когда она, задорно и игриво, начала описывать вокруг него быстрые круги, он протянул руку, чтобы схватить ее, и крикнул: "Плохо же тебе придется, если я тебя поймаю! Увидишь,

что я тогда сделаю!” И эти слова на иврите, усвоенные им от уличных мальчишек, прозвучали странно, убого и неестественно в устах чернокожего седовласого священника. Она засмеялась, а он все никак не мог оторвать откровенно жадного взгляда от порхающей над ее быстрыми ногами юбки, от самих этих ног, выделяющих роликами восьмерки на асфальте, пока и ролики, и ноги, и разлетающаяся юбка не исчезли за зелеными железными воротами окружавшей дом девочки ограды, то есть теми самыми воротами, за которые я всегда страстно желал проникнуть, и идя в библиотеку, и возвращаясь из нее, и даже лежа в своей постели прозрачными летними ночами, когда звуки рояля, скрытого в одной из комнат в глубине ее дома, надежно спрятавшегося за высокой стеной ограды, выплескивались наружу и витали над улицей Пророков и врывались в наши окна, открытые настежь, навстречу звездам в небесах. Иногда брызжущие звуки рояля сливались с ручейками арабских мелодий, несущимися от Шхемских ворот и из Муссары и вливающимися в круглое, прорубленное на восток окошко, и тогда ночной воздух начинал дрожать от нарастающего напряжения, ибо отрывистые звуки западной музыки не растворялись в восточных мелодиях и не образовывали единый и плавный звуковой поток — порой ведь случается, что музыка вбирает в себя мелодию из чуждой культуры и словно проглатывает, переваривает ее, — нет, звуки рояля, проникая в чужие ритмы, создавали взрывчатую смесь, которая готова была вспыхнуть от малейшей искры. Первой жертвой ночной битвы (за обладание участком пространства между Абиссинским переулком и Итальянским госпиталем) вальсов Шопена, выплескивающихся из дома доктора Ландау, глазного врача, с любовными песнями Фариды эль-Атраша,

вырывающимися с оглушительной силой из новых репродукторов, только недавно установленных в арабских кафе на спуске к Мусраре, стала хозяйка нашего дома, госпожа Джантила Лурия. Как только чьи-то пальцы прикасались к клавишам, как только, словно гладкие и прохладные стеклянные шарики, звуки рояля скатывались в дрожащие, витиеватые трели цитры, сопровождавшей голос арабского певца (говорили, что он не араб, а египетский еврей), на госпожу Джантилу накатывалась страшная головная боль, доводившая ее до приступов тошноты, и она призывала на помощь Пнину, свою сестру: "Поскорее смочи платок холодной водой, — этим платком, смоченным холодной водой, она обвязывала голову, как тюрбаном, чтобы успокоить боль, — и закрой окна, скорее, скорее! Ты что, не слышишь, что польский филин докторши уже начал долбить свой рояль! Чтоб им пропасть обоим! Если бы мой муж был жив, этого бы не случилось. Он бы сказал главе города, Раджиб-бею Нашашиви, чтобы тот запретил стучать по ночам и нарушать покой всей улицы. Где это видано, чтобы целая улица страдала только потому, что жене доктора Ландау не удалось подцепить другого любовника, кроме этого польского филина, который только и может, что колотить по клавишам рояля? Добро бы он играл что-нибудь стоящее, согревающее душу! Но он не способен на это. И что ж тут удивительного? Был бы он настоящим пианистом, не нуждался бы в ней, в этой истеричной кошке, которая так и не смогла найти себе настоящего мужчину: все были слабаками, которые почитали свои стоны и вздохи за произведения искусства".

Мне не приходилось встречать тех "слабаков", что укрывались под крылышком госпожи Ландау еще до "польского филина", но что касается способности этого последнего играть на рояле, то

слова госпожи Джантилы касались лишь внешней стороны дела и не касались, в сущности, его таланта, они отражали только его отношения с публикой, а именно: этот несчастный испытывал жуткий страх, выходя на сцену. Этот страх был так велик, что у него буквально отнимались руки, а пальцы издавали застывшую, деревянную мелодию, к тому же обезображенную ошибками, что и создало ему плохую славу. Но в укрытии своей комнаты он, напротив, творил чудеса, причем преимущественно в ночные часы. Непонятно, во сне или наяву падала вдруг первая чистая нота в раму открытого окна, подобно вспыхнувшей звезде, которая мгновенно наполняет пространство черного неба волнами скрытой тоски, вибрирующей в самой глубине человеческого существа, так что перехватывало дыхание, и ей вослед вторая нота застыла светом, подобно второй звезде, а за ней, по диагонали, — еще звезда и еще, и снова пустое пространство наполнялось упругими волнами ожидания того, что вот-вот звуки воплотятся в точки света и завершится пунктирный абрис созвездия, созвездия Близнецов, например, но оно, это ожидание, еще не кончалось, как уже начинал рояль дробить и разбрызгивать во все стороны без всякого видимого порядка новые капли звуков, и они проступали точками света на фоне угасающей прежней мелодии, от которой сжималось сердце, и создавали рисунок нового созвездия, созвездия Козерога, а рядом — созвездия Льва, созвездия Тельца, созвездия Девы и созвездия Рыбы. Только когда мелодия окончательно иссякала, ее место в сердце начинал заполнять страх перед бесконечным пространством — пустым, холодным, темным и равнодушным пространством, что простирается между звездами, подвешенными в пустоте без всякого смысла.

Поскольку сестра Пнина закрывала окно перед

страшной угрозой проникновения в наш дом мелодий "польского филина", духота тесной комнаты навалилась на госпожу Джантилу так сильно, что даже обмахивание белым смоченным в воде платком не могло привести ее в чувство, пока окно оставалось закрытым, точно так же, как раньше тот же влажный платок, повязанный на голову наподобие тюрбана, не мог успокоить ее головную боль, пока окно было открыто навстречу звукам рояля. "Нет, так больше не может продолжаться! Посмотри-ка, Пнина, до чего дошло — при закрытом окне нет мне жизни и при открытом! Это же просто ад на земле, когда тебе и при закрытом окне плохо, и при открытом окне плохо, и все это мне приходится терпеть только потому, что Иехуда Проспер отошел в мир иной, и некому меня защитить от издевательств всяких "польских филинов" докторовой жены, которую доктор давно уже должен был бы бросить вместе со всеми ее слабаками. Но он не сделает этого, потому что он святой; если бы он не был святым, не было бы у него чувства жалости к этому неудачнику, да и на ней он бы никогда не женился, если бы не был святым. Ты только посмотри, Пнина, эти святые из-за бесконечного своего милосердия позволяют существовать в этом мире всем этим подлецам и мерзавцам и дают им возможность властвовать над людьми... Да, да, головная боль уже достигла глазного нерва, уже потемнело в глазах. Я чувствую, что мне ничего не остается, как завтра утром пойти в клинику доктора Ландау. Я и так уже должна была пойти к нему, чтобы он вытащил у меня из глаза выпавшие ресницы. А ты не забудь разбудить меня пораньше и пойди возьми мне номерок вовремя, иначе мне придется сидеть там в очереди целый день среди всего этого *войска персидского и мидийского*⁵³ и среди вонючих арабов. Да, да, открой его настезь,

теперь мне уже лучше”. И хотя снова в открытое Пниной окно врывались звуки рояля ”польского филина”, госпожа Джантила чувствовала большое облегчение от одной лишь мысли о том, что завтра утром она посетит ”Глазную клинику”, как было написано на воротах клиники доктора Ландау, находившейся тогда на улице Святого Павла, около полицейского участка. Все войско персидское и мидийское (так она называла персидских и бухарских евреев и других евреев — выходцев из восточных стран, предки которых имели честь в свое время жить под властью царя Артаксеркса), все это войско, осаждавшее вход в клинику и толпившееся в коридорах и прихожей, не могло заставить ее отказаться от священной церемонии посещения доктора Ландау, по крайней мере, раз в неделю, для чего она надевала самые лучшие свои наряды, которые берегла еще только для одного случая — для еженедельного визита в дом судьи Дана Гуткина.

ВИЗИТ СТАРОГО СУДЬИ

Непредвиденный визит старого судьи к хозяйке нашего дома, госпоже Джантиле Лурия, вскоре после того, как она стала вдовой, неожиданно приобщил меня к обстоятельствам убийства, происшедшего в Старом городе за двадцать лет до моего появления на свет. Судья, конечно, не знал, что в то самое время, когда он предается воспоминаниям об этом давным-давно свершившемся убийстве, древний кинжал лежит в ящике моего стола под книгами и тетрадами; может быть, он и вообще не заметил моего присутствия в углу террасы. Этот кинжал, как уже было сказано, я нашел в подвале дома, где были свалены и гнили лохмотья, скопившиеся за многие годы, и ржавел старый хлам. Этот древний турецкий кинжал был единственной сохранившейся вещью среди всевозможных предметов — всякого оружия, разукрашенных седел, ожерелий, колье и других драгоценностей и ценных вещей, которые приносили в заклад старому хозяину арабы, приходившие брать у него деньги в долг еще в дни правления турок, когда Иехуда Проспер-бек был на вершине своей славы и величия.

После смерти старика госпожа Джантила перестала посещать дома своих друзей; только один раз в неделю она выходила, чтобы нанести визит старому судье, Дану Гуткину, который помог ей уладить дело с наследством старого бека к полному ее удовлетворению, подобно тому, как в

свое время он помогал самому старику заканчивать сделки и судебные дела наилучшим образом. Этот судья, член Верховного суда, друг ее мужа, недавно оставившего этот мир, был тогда весьма известен в стране и удостоился уважения высокопоставленных евреев и арабов благодаря влиянию, которым он пользовался среди представителей британских властей. Он помнил ее, госпожу Джантилу, не только в дни ее величия, не только в роли жены консула, равного среди равных в обществе всех этих пашей и наместников, и заместителей наместников, и бесчисленных министров Оттоманской империи, но и в дни, когда она была молода и прелестна и чувствовала на своей спине взгляды мужчин, оборачивающихся ей вслед. В последнее время она стала возвращаться после визитов к старому судье разочарованной, ибо беседа его имела теперь обыкновение блуждать в темных закоулках памяти. Вместо того, чтобы вспоминать о днях, когда ее, единственную среди всех учениц, назначили преподносить цветы важным гостям, посетившим школу имени Эвелины де Ротшильд, он начал возвращаться мыслями аж к тем дням, что предшествовали периоду ее блеска, к далеким дням ее раннего детства — бедного и несчастного детства дочери столяра с улицы Мидан в Еврейском квартале Старого города, босоногой девчонки в лохмотьях, выглядывающей из верхнего окошка над лавкой: вся семья ютилась в комнатке, расположенной над мастерской и пропитанной запахом столярного клея, скипидара и опилок. Всю свою жизнь отец Ентеле (ибо так ее звали, то было ее имя во Израиле — Ента, — пока господин консул Иехуда Проспер Лурия-бек не пришел с визитом вежливости в женскую школу имени Эвелины де Ротшильд, и она преподнесла ему цветы от имени выпускного класса), так вот, всю свою жизнь ее отец страдал от крайней нужды

— он, лучший из столяров Иерусалима, который выучился своему ремеслу в Вене и который сделал и украсил *арон ха-кодеш*⁵⁴ для хранения свитков Торы в синагоге "Собрание Сиона" (под ее полом проходил туннель к горе Сион и к могиле царя Давида); делал он арон ха-кодеш и для синагоги "Нисан-Бек", и для Стамбульской синагоги — и все они вышли на славу. Стоя на верхней ступени деревянной лестницы, ведущей из их комнаты в мастерскую, она смотрела вниз и видела, как ее отец мнетя, трепеща и склонив голову, перед старостой синагоги и намекает ему мягким, извиняющимся голосом, чтобы тот дал ему немного денег для встречи субботы⁵⁵ в счет платы за новый арон ха-кодеш. Работа над ним в течение многих месяцев высасывала из него все соки, а они задерживают плату, и так невероятно заниженную, все время откладывают ее без всякой причины, а его утешают рассуждениями о премудростях Торы и замечательными мидрашами⁵⁶ вместо того, чтобы заплатить. В противоположность религиозной элите города, богатые бухарцы, заказывавшие у него комоды, широкие, как брачные постели, на иврите изъяснялись с трудом, в Торе не разбирались и, поскольку не могли подсластить отсрочку платежей изречениями еврейских мудрецов, при встречах с ним сердились и упрекали его за нетерпение и чрезмерные требования. От голодной смерти и позора бедности столяр был спасен благодаря религиозным фанатикам, которые подожгли его дом после того, как он сделал крест для русского монастыря, что стоит на вершине Масличной горы⁵⁷. Настоятель монастыря заказывал ему время от времени разные столярные работы, но крест он отказывался вырезать, пока не дошел до крайности, так что не осталось у него даже десятой доли меджиды⁵⁸, чтобы купить субботние свечи. И когда согласился он наконец,

то вырезал этот большой крест из масличного дерева по ночам, потому что делал это против своей воли и не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, что рука, создававшая арон ха-кодеш, вырезает крест. Однажды ночью, когда крест был закончен, проснулась маленькая Ентеле и выглянула на улицу через круглое окошко; она увидела большой крест, распростертый во всю свою длину и ширину на гладких, блестящих в лунном свете камнях мостовой и ползком продвигающийся к предназначенному для него месту в русском монастыре. То, чего боялся отец, настигло его, и даже скорее, чем он предполагал. В нескольких шагах от мастерской группа евреев, возвращавшихся с ночной молитвы у Стены плача, наткнулась на несущего на своей спине крест столяра, и в следующую же ночь его дом был подожжен. Под покровом ночи семья убежала из Старого города в квартал Нахалат-Шива⁵⁹. Не столяр, а его жена решила отомстить поджигателям и послать своих детей учиться в христианскую школу. Он умолял ее не делать этого, и только после многочисленных упрасиваний она уступила немного своему мужу-столяру и согласилась послать детей учиться в школы "отступников", расположенные вне стен Старого города⁶⁰.

Хорошие дни в жизни Джантилы наступили только после того, как языки пламени начали лизать бревна мастерской. Отец выхватил ее из стоявшей около окна кровати, на руках вынес из пламени и, спасаясь от пожара, навсегда покинул Старый город, а мать послала ее учиться в еврейско-английскую школу. Ей казалось, что и отцу стало немного легче (хотя вначале он был уверен, что и он, и все члены его семьи обречены теперь на голодную смерть), поскольку вместо арон ха-кодеш он делал скамейки и парты для школ; однако он не осмеливался вновь показы-

ваться в Старом городе, и до конца жизни нога столяра не ступала по камням его улиц. Иногда он внезапно выскакивал из мастерской и прятался в нише на кухне, так как ему казалось, что по улице проходит староста синагоги, тот самый староста, что остался должен ему половину платы за арон ха-кодеш, и, быть может, участвовавший в поджоге его дома. Как провинившийся ребенок, прятался он в глубине ниши, стыдясь того, что сделал, и стыдясь своего стыда перед женой и детьми. И еще осталась ему на всю жизнь память о той лунной ночи, когда он нес на спине огромный крест из масличного дерева, сделанный его руками, — двойная паховая грыжа. Раз в несколько дней во время работы его кишки спускались к мошонке, и он падал на пол, корчась и извиваясь и крича от ужасной боли; его жена спешила согреть кирпичи и плоские камни, которые на такой случай всегда были возле печки, и положить их на больное место, чтобы успокоить боль и вернуть кишки на место. И вот теперь судье Дану Гуткину вздумалось снова возвратиться в беседе к тем страшным дням. В последний раз, когда она была у него с визитом, он только и думал, что о темных переулках Старого города, и сколько она ни пыталась заставить его свернуть на воспоминания об улицах его славы, где он жил после того, как вернулся из Оксфорда, увенчанный званием английского юриста, имеющего право выступать с защитой и обвинением в судах Его Величества, и был назначен судьей и преуспел во всех своих начинаниях, и удостоился звания "подданного Британской империи", и поднялся еще выше — стал членом Верховного суда и удостоился еще более высокого звания — "почетного офицера Британской империи", и перед ним торопились стать навтыжку и отдать честь настоящие британские офицеры, он, как упрямый старый мул, упорно

возвращался к темноте кривых улочек его детства в Старом городе.

”Ты помнишь, — сказал он ей, — что, когда вы жили на улице Мидан, мы жили в домах для бедных, которые носили название Немецкое подворье — *Дер дойче плац?*” — ”О чем ты говоришь? — ужаснулась она его словам и возразила с обидой: — Уж не хочешь ли ты сказать, что я такая же старая, как ты!? Когда вы жили в Немецком подворье, меня еще на свете не было, и маленькая девочка с улицы Мидан, которую ты помнишь, была моя сестра Пнина, которая старше меня на семь лет. Не забудь, что ты старше меня, по крайней мере, лет на пятнадцать, и я родилась в то время, когда ты учился в маленькой иешиве⁶¹, и, пожалуйста, не напоминай мне о поросших мхом поколениях и о грязи переулков Старого города. Что это я говорю — пятнадцать лет? Ты старше меня не меньше, чем на двадцать лет! Ведь ты был другом Иехуды Проспера, а значит, между нами никак не меньше двадцати лет разницы”.

”Только, когда я был в маленькой иешиве, — сказал он ей, не обращая никакого внимания на разницу в годах, которая росла каждый раз, как она вспоминала о ней, — осмелился я зайти, и, конечно, не в дневные часы, упаси Бог, но с наступлением сумерек, прокравшись, как закоренелый преступник, во двор караимов⁶², который находился в конце переулка, на границе с Мусульманским кварталом. Неприятие этих сынов Библии правоверными иудеями было так сильно, что раввины отказались пойти навстречу одному караимскому мудрецу, пожелавшему перейти в иудаизм и обещавшему пожертвовать все свое имущество той общине, которая его примет. Каждый нееврей во всем мире, будь то мусульманин, христианин или даже язычник, имел формальное право перейти в иудейскую веру, только не караим. В те

дни называли их также "саддукеями"⁶³. Во дворе находилась их синагога, глубоко врытая в землю, и когда я начал спускаться по темным прохладным каменным ступеням в их молитвенный дом — тот самый, тысячелетней давности молитвенный дом, в котором хранился самый древний в мире свиток Торы, называемый "Микдашия", — я почувствовал, что совершаю тяжкое преступление, более серьезное, чем подглядывание внутрь церкви Рождества. Ботинки свои я снял и поставил, как принято у них, в начале лестницы, у входа вниз. На пятке моего черного носка на правой ноге зияла огромная дыра. Помнишь, мы называли дырку на носке, через которую вылезает пятка, "картошкой"? С каждой ступенью, на которую я ступал, я все сильнее ощущал волны страха, поднимающиеся и накатывающие на меня со всех сторон, и поцелуи голого камня, гладкого и ледящего, на пятке правой ноги. Я знал, что каждая ступень подводит меня все ближе и ближе к скверне, и вместе с тем я знал, и это не вызывало во мне почему-то никакого удивления, несмотря на вопиющее логическое противоречие, что именно в недрах адского греха, куда я все стремительнее низвергаюсь, прячется наша святая Тора, самая древняя и единственная в своем роде, *без толкований и оград*⁶⁴, и когда я оказался на дне грозной пропасти — на полу синагоги, — я знал, что только Господь может спасти меня, и сердце мое вознесло Ему молитву, но не просто молитву, а Песнь восхождения из Псалмов Давида⁶⁵:

Из глубины взываю к Тебе, Господи.

Господи! услышь голос мой.

Да будут уши Твои внимательны к голосу

молений моих.

Если Ты, Господи, будешь замечать

беззакония, — Господи! кто устоит?

Но у Тебя прощение, да благоговеют

пред Тобою.
(Псалом 129)

И эта немая молитва, ибо слова ее выпевало само мое сердце, в то время как губы оставались сжатыми и неподвижными, была услышана: в мгновение ока я оказался высоко-высоко, поднялся через все слои греха и сферы скверны и полной грудью вдыхал прозрачный и чистый горный воздух, без примеси какого-либо страха и ужаса, свободный от тревоги и гнета, от всякой необходимости молиться какому-нибудь богу. В момент исполнения мольбы я даже не считал нужным поблагодарить Его, ибо Бог сделал свое — Бог может уйти. Откуда проникал свет в караимскую синагогу? Ведь она находилась в подвале, на глубине гораздо более девяти локтей. Когда я был там, внутри, я совсем не думал об этом, и именно теперь, через пятьдесят лет, этот глупый вопрос неотвязно преследует меня. И — происки дьявола — именно тогда, когда я должен сосредоточить все свое внимание на тяжбе о доходах от богадельни, я никак не могу вспомнить, были ли там окна, а они несомненно были где-то высоко в потолке, за подпиравшими его колоннами.

Ну, что ты скажешь, Ентеле, откуда взялся там свет? Ты помнишь, как пытался Али Ибн-Масрур спрятаться в этой караимской синагоге после знаменитого убийства в Сук-эль-Атарин? Я не думаю, что он знал, куда бежит. Просто бежал в Еврейский квартал, петляя по извилистым улицам, и, как преследуемый зверь, пытался найти убежище в первой попавшейся норе. А может быть, он и знал, что этот подвал является синагогой, и верил в ее святость и что она защитит его, — ты ведь помнишь, что мусульмане верили в еврейские чудеса и еврейскую колдовскую силу? Он,

конечно, думал, что в синагоге есть жертвенник, на котором приносятся всевозможные жертвы Господу, и ему нужно только добежать до жертвенника и ухватиться за него, как он будет спасен. Что ты скажешь, Ентеле? Что это, ты уже собираешься уходить? Посиди еще немного, ведь тебе некуда торопиться”.

”А что мне сидеть тут? — отвечала она ему сердито. — Правду говорят — старый что малый. Ты возвращаешься к переживаниям своей юности и глупостям своего детства с упрямством старой лошади, которую так и тянет всегда в свою конюшню. И если я посижу здесь подольше, ты еще вспомнишь о тех днях, когда твоя мать подтирала тебе задницу. А сейчас прощай, прощай и до свиданья”. Но именно тогда, когда ее неудовольствие от речей уважаемого судьи дошло до того, что она подумывала, не лучше ли будет ей вообще не посещать его месяц или два, пока не прояснится вновь его разум, он сам зачастил к ней и появлялся на террасе ее дома вовсе в неурочное время — посреди дня или под вечер, то есть в свое рабочее время, в перерывах между заседаниями, по дороге в суд или обратно, — когда она совершенно не была готова к приему гостей вообще, а тем более высокопоставленных. В одно из таких неожиданных посещений он вызвал у меня, как я уже упоминал, случайно, без всякого намерения — ибо вообще сомнительно, что он заметил меня, а если и заметил, то вряд ли обратил внимание на какого-то ребенка, одного из соседских детей, сидевшего в дальнем углу террасы и казавшегося погруженным в чтение ”Дон-Кихота из Ламанчи” в переводе Бялика, — он, повторяю, стал причиной того, что бурно забилося мое сердце, охваченное смятением, испугом и стыдом, когда я, прислушавшись к его воспоминаниям, которыми он делился своим спокойным и неторопливым голосом с Пниной

(так как Джантила, ее младшая сестра, закрылась в комнате, не желая его видеть), обнаружил, что связан с убийством, произошедшим в Старом городе за двадцать лет до моего появления на свет, и все из-за кинжала, найденного мною в подвале и потихоньку присвоенного. Его слова возбудили во мне такую бурю чувств, что волны ее еще долго преследовали меня во сне и наяву, а случилось это в удивительно спокойный и ясный день. Джантила сидела, как обычно в часы сумерек, на пороге своей комнаты и перебирала рис в плоском и широком медном тазу, глядя вдаль отрешенным взором и напевая мелодию английской народной песенки, популярной в ее школьные годы: "Три слепых мышонка, три слепых мышонка, гляньте, как они бегут, гляньте, как они бегут вслед за поваренком...", а я начал погружаться в новую книгу, которую только что получил от библиотекаря, как вдруг раздался шум мотора принадлежащей судье машины, подъехавшей со стороны Русского подворья⁶⁶ и остановившейся внизу, у ворот. "Ой, вэй!" — в ужасе вскрикнула Джантила, забыв про рис и замерев на мгновение перед надвигающейся опасностью — опасностью предстать перед высокопоставленным гостем в потрепанной домашней одежде, с прядями седых волос, выбивающимися из-под чепца, словно у одной из этих бедных, состарившихся в заботах женщин, — терпеть она не может этих праведниц! "Пнина, Пнина, скорее прими судью здесь, на террасе, и не дай ему зайти в дом. Скажи ему, что меня нет дома. Нет, нет, скажи ему, что я плохо себя чувствую, что у меня болит голова. Боже всемогущий, да поторопись же ты! Пока она сдвинет с места свой толстый зад, весь мир успеет снова погрузиться в хаос".

В том хаосе, который породил шум принадлежащей судье машины в душе Джантилы, она все-таки сохранила достаточную долю здравого

смысла, чтобы изменить указание со "скажи ему, что меня нет дома" на "скажи ему, что я плохо себя чувствую", учитывая, что визит судьи может продлиться достаточно долго, и ей хватит времени, чтобы переодеться и, если не покрасить волосы, то, по крайней мере, скрыть "позор" и привести в порядок лицо, а также произвести все изменения во внешности, которые были связаны у нее с изменением душевного состояния и потому продолжались невообразимо долго: Пнина уже подняла свой толстый зад, поставила посреди террасы трехногий железный стол и придвинула к нему красное кресло, которое в свое время береглось для старого бека, а ее младшая сестра, которая заперлась в своей комнате на замок и на засов, все еще лежала на кровати с закрытыми глазами, чтобы унять сердцебиение, успокоиться и в полудреме подчиниться движению души в ее круговращении, ожидая, пока лицо станет достаточно красивым для приема важного гостя, а волна похорошения достигнет туловища и захлестнет его, и сообщит ему силы, необходимые для перемены одежды. Если изначальная чистота ее души, связанная с поисками совершенства, та чистота, что в повседневной жизни не позволяла ей одновременно заниматься разными делами, например, отвлекаться при выборе выпеченной по всем правилам буханки хлеба на разговоры и на обсуждение платы за квартиру, или при посещении клиники доктора Ландау отдать заодно в починку пару домашних туфель арабу-сапожнику, который устроил себе место как раз напротив входа в клинику, или вообще сделать что-либо из тысячи дел, которые сплетены в несовместимые вещи и которые мы все-таки вынуждены совершать изо дня в день в суете наших будней, — если эта изначальная чистота находилась в прямом соотношении с медлительностью ее жизни, то она могла

бы достигнуть желаемого совершенства в приеме гостя только в том случае, если бы ей удалось остановить течение времени и заморозить его. Но солнце, которое остановилось в Гивоне посреди неба и замерло там на целый день по приказанию Иисуса Навина⁶⁷, никогда бы не послушалось приказа Джантилы. Она еще не успела запереть за собой дверь и растянуться на кровати, как арабшофер его превосходительства судьи спрыгнул с сиденья, повернулся и поспешил открыть дверцу своему длинному и тощему хозяину, вышедшему из машины в темно-синем костюме с белым крахмальным воротничком, в черном галстуке, повязанном вокруг шеи, и в черном лондонском цилиндре на голове, как у всех британских чиновников, рассеянных по империи, по всем ее землям, колониям, доминионам, подмандатным территориям и государствам, чтобы следить там за исполнением закона Его Величества короля. Прямоугольное лицо судьи, весьма напоминавшее морду дога, удивительно подходило к его одежде и распространяло такой явно британский холод, что тот, кто не знал его прошлого и ничего о нем не слышал, никогда бы не мог себе представить, что обладатель такого лица не только способен выдавить из своего изогнутого, с опущенными углами рта стих из Торы, но и того, что он был зачат и рожден в Старом городе и в юности учился в хевронской иешиве. Но не следует торопиться с выводом, что только благодаря неподвижному длинному лицу и одежде, облачавшей его костлявое тело, он удостоился возвыситься до звания чиновника Британской империи, ибо нет никакого сомнения, что в пути вверх в немалой степени помогло ему и то, как безукоризненно он восседал в судейском кресле. В самом деле, и на судебных разбирательствах, и на заседаниях судей, и во время прений он придерживался буквы закона и педантично

следовал каждой мелочи с серьезным и строгим выражением лица, которое всегда оставалось холодным и непроницаемым — ни тени улыбки, ни капли пота, выдающей нетерпение, ни гримасы неудовольствия, заметив которую какая-либо из сторон могла бы угадать, куда дует ветер, если вообще у этого судьи и в его суждениях присутствовало что-либо подобное ветру. При том, что холодная непроницаемость и формальная официальность были неизменно присущи ему, когда он с беспредельным терпением вел любой судебный процесс, приговор, который он выносил, напротив, всегда был неожиданным, хотя не обязательно суровым. Не раз он досконально исследовал ведение дела и находил процессуальные нарушения в допросе свидетелей или некорректность в действиях полиции и даже находил смягчающие обстоятельства там, где защитники и не предполагали их обнаружить, что способствовало, например, смягчению приговора убийцам-арабам, жестоко заколовшим товарища просто из-за того, что он подло обманул их, взяв в долг и не вернув десять грошей, или же из-за того, что тот прелюбодействовал с их женами. Не менее бывали поражены тяжущиеся стороны и их защитники, когда он требовал отнестись со всей строгостью закона к тем, кто заключал сложные, запутанные и нечестные торговые сделки, хотя они касались всего лишь права собственности. Однажды, после одного такого строгого приговора, известный иерусалимский адвокат Хермон привел ему цитату из талмудического трактата Евамот, посвященного замужеству вдовы: "Не взыскал за тяжкое прегрешение, так взыщешь за малые деньги". И его превосходительство судья тихо ответил ему, не моргнув глазом: "Если бы я был причислен к школе Гиллея, то не стал бы учить согласно школе Шаммая"⁶⁸.

Его способность поражать достигла своего апогея, когда ему удалось взбудоражить весь ишув и восстановить против себя общественных деятелей всех направлений тем знаменитым приговором, который он вынес на одном из процессов о земельных участках, решив дело в пользу арендаторов-арабов, не желавших покидать земли, приобретенные Еврейским национальным фондом⁶⁹ у их владельцев-эфенди⁷⁰, проживавших в Бейруте. В процессе судебного разбирательства его превосходительство судья-еврей, к неудовольствию юристов всех национальных учреждений, обнаружил и извлек из тайников многочисленных параграфов кодекса законов маленький параграф о праве давности в отношении обработки земли, принадлежащей государству, который в течение жизни многих поколений не попадался на глаза специалистам турецкого права, и, в соответствии с этим параграфом, оправдал ответчиков-арабов. После этого из ряда вон выходящего приговора был пущен слух по ишуву, что этот реакционер, служащий британским и арабским интересам, предавший свой народ ради имперских званий, тот, о котором и о подобных которому сказано: "Разрушающие тебя и уничтожающие тебя уйдут от тебя", — сам берет взятки ничуть не хуже, чем любой другой британский или арабский служащий, и что в этом самом деле о земельных участках он отнюдь не преминул тайно получить все подношения, дары и пожертвования, которыми завалил его Еврейский национальный фонд своей щедрой рукой. А это значит, что, получив великолепные взятки, он взамен ничего не сделал, так что он является негодяем не только с точки зрения общественной или национальной морали, преступником не только в юридическом смысле, но и в профессиональном, ибо он в тысячу раз хуже и корыстнее, чем английские и арабские беззаконники,

которые все-таки обладают некоторой порядочностью, действуя по правилам: "ты мне — я тебе", "живи и жить давай другим", — между ними существует молчаливое согласие, и свои преступные неписанные законы они чтут и исполняют. Когда адвокаты официальных учреждений попытались найти пути, чтобы нажать на него, и захотели привлечь его к суду по обвинению во взяточничестве, обнаружилось, что ему удалось проделать все так гладко, чисто и безупречно, что совершенно не за что зацепиться, и за одно только это достижение — так утверждали самые умные и прожженные из них — следовало дать ему звание "почетного офицера Британской империи". Между тем невозможно отрицать, что иногда также и евреи удостаивались от него неожиданного смягчения приговора, но поскольку руководители ишува не в состоянии были уловить закономерность в его безумствах и устали оплачивать его неверность, они решили намекнуть, что не хотят ни меда его, ни жала его, и перестали передавать ему судебные дела, предпочитая любого араба или англичанина из членов Верховного суда, даже если тех и не величали "офицерами Британской империи".

"Офицер Британской империи" поднялся по лестнице дома своего давнего друга, офицера Оттоманской империи, покинувшего этот мир всего несколько недель тому назад, и появился на площадке террасы в тот момент, когда иерусалимская вдова покойного заперлась в своей комнате, а Пнина, ее сестра, придвигала к железному трехногую столу, стоящему посреди вымощенного плитками пола террасы, красное бархатное кресло, до сих пор предназначавшееся только для Иехуды Проспера-бека. Когда гость уселся в кресло, лицом к заходящему солнцу, Пнина принялась ухаживать за ним и подала пирожки и легкие напитки. Не забыла она и шофера, который остался

внизу в машине, у руля, и снесла и ему поднос с угощением, положив между рюмкой и пирожками монету в пять грошей, что считалось тогда очень крупным подарком в глазах любого шофера, но шофер-араб Дана Гуткина, эсквайра, принял деньги как бы между прочим, как само собой разумеющееся, без благодарственных излияний и заискивающих поклонов, подобающих разве что шоферам незначительных господ, а поблагодарил Пнину легким движением головы и учтивой улыбкой, в полном соответствии с той долей достоинства, которая полагается шоферу высокопоставленного лица, за что шофер воздает своему господину неизменно учтивым поведением в любом месте и в любой час. В тот момент меня охватило ощущение чуда, пугающее и приятное, словно я волшебным образом очутился во дворце, где и увидел судью с его густыми седыми волосами, тщательно зачесанными наверх по обе стороны прямого пробора над сильным четырехугольным костистым лбом. Он сидел, развалившись и вытянув длинные ноги в кресле старика-бека, возбужденно крича: "Конечно, конечно", и проводил по своей выбритой до блеска голове большим красным платком, вытирая капли пота, искрящиеся и сияющие в лучах заходящего солнца. Образ старого бека, каким я видел его в последний раз перед смертью, когда он сидел на этой же террасе в этом своем красном кресле, обмотанный клетчатым шарфом, который повязала ему вокруг шеи его иерусалимская жена, и кричал ей своим старческим, хриплым и глухим голосом в бессильном гневе: "Учитель наш Моисей, учитель наш Моисей", — образ этот предстал предо мною, слившись с образом судьи, сидевшего на той же террасе и в том же кресле, и ни один из них не стер образа другого, не поглотил чужих контуров и не затрепе-

тало от избытка чудной благодати в том дворце, где я неожиданно очутился. Но как внезапно я оказался в нем, так внезапно дворец и исчез, а с ним вместе рассеялся и образ бека, и я сказал себе: "Нет, нет, невозможно, чтобы в этом красном кресле хватило места для них обоих — и для старика, и для судьи, а кроме того, ведь старик уже умер, и нет его. Во всяком случае со мной здесь случилось что-то странное и удивительное, и вот я вижу в кресле судью Дана Гуткина, а не старого хозяина дома".

"Ты знаешь, — сказал судья Пнина, которая подошла и села рядом с ним, вернувшись с подносом от шофера, — он был старше меня только на десять лет и при всем том принадлежал к другой империи, к Оттоманской". Пнина вздохнула и высморкалась, громко и деловито, а глаза ее увлажнились. "Нет, нет, — возразила она, — Иехуда Проспер, мир праху его, был старше тебя на пятнадцать, а, может быть, и на двадцать лет, ведь ты был молодым парнем, даже подростком, когда бросил иешиву и попросил его подыскать тебе должность. Он был тогда уже женат на моей сестре несколько лет. Ты ведь мой ровесник, а, может быть, старше меня на два-три года. Ты не помнишь, как прокрались мы вместе во двор караимов, чтобы посмотреть на турецких полицейских, преследовавших Али Ибн-Масрура после убийства в Сук-эль-Атарин? Разговоры об этом не стихали потом много лет, но что случилось на самом деле, я совсем не помню, помню только турецких полицейских, схвативших араба во дворе караимов. А ты помнишь это?"

"Конечно, помню, я прекрасно помню все, Перл⁷¹, ведь тогда я впервые собственными глазами увидел правосудие в действии", — ответил ей судья, продолжая смотреть на заходящее солнце, которое, словно раскаленная докрасна медь, теку-

щая по стальным артериям, заливало пепельно-голубым сиянием его белые волосы, тщательно зачесанные назад, и непроницаемое лицо, на котором не выразалось ничего, имеющего отношение не только к тому, что происходило вокруг, но и к тому, что происходило внутри него, ни даже к звукам его собственной речи, вылетающим из его рта — рта с опущенными, как у льва, углами.

Когда я спустился по лестнице в Лувре в отдел Древнего Египта — через двадцать девять лет после описываемых здесь событий, — то наткнулся на кремневого льва, сияющего отполированной поверхностью и заполнившего желто-красным блеском всю комнату. Он лежал, растянувшись, и поза его свидетельствовала о скрытой мощи, источником которой могла быть только она сама. Здесь были смотрители музея в синих мундирах и еще несколько туристов, переходивших с места на место как раз в поле таинственного излучения сфинкса, попавшегося им на пути, но совершенно равнодушных к излучаемой им энергии, и не потому, что они обладали большой силой сопротивления, а потому, что были созданы из изоляционного материала, как маленькие и гладкие деревянные бруски, остающиеся неподвижными внутри мощного электромагнитного поля, в то время как огромные железные брусья, способные пробить стену, стремительно притягиваются к магниту. Я провел рукой по гладкому прохладному кремню сфинкса и посмотрел на его морду, обращенную ко мне, древнюю, спокойную и непроницаемую, и от холодного поцелуя полированного камня во мне возник нежный мягкий голос и прошел вдоль всей руки, пока не начал звучать в моих ушах, напевая о делах давно минувших дней, но так и не поведал мне о тайне загадочных каменных ликов. Лишь после того, как я вышел из музея, весь во власти удивительных чар,

трепещущий и взволнованный, я внезапно понял, что голос, звучавший в моих ушах, был голосом судьи Гуткина, каким я слышал его тридцать лет тому назад на террасе нашего дома. На завтра я снова поспешил в музей и спустился по ступенькам в зал с египетским сфинксом, но голос больше не зазвучал. Я коснулся морды сфинкса, но ответом мне был лишь холод гладкого камня. Никакой голос не возникал ни в тот раз, ни в дальнейшем, когда я снова и снова возвращался в надежде услышать его. Если бы его пасть была похожа на пасть льва, он был бы похож на судью.

Как и в случае со сфинксом, у судьи, обратившего лицо в сторону заходящего солнца, голос никак не был связан с неподвижными чертами его лица и приятно поражал крайним несоответствием своей нежной мелодии, обволакивающей, протяжной и успокаивающей, холодному, скрытному человеку, которому он принадлежал, но по мере того, как я уносился на волнах этого голоса, меня охватил страх, какой может охватить человека, скользящего по канату, натянутому между двумя вершинами гор, когда малейшее отклонение от равновесия и ритма может закончиться падением в разверстую пропасть. Этот голос перенес меня на тридцать лет назад, к рассказу об Али Ибн-Масруре, к эпизоду, когда Дан Гуткин впервые в жизни "увидел правосудие в действии".

Рано, едва начался рассвет, поднялся эфенди Махмуд, один из самых уважаемых жителей Бет-Лехема, чтобы отправиться в своей коляске в город Иерусалим, ибо обещал он купить там кашемировых шалей, драгоценностей и благовоний в подарок своей молодой невесте, блистающей, как дорогая жемчужина, удаляющей из сердца всякое беспокойство, печаль и гнев, голосом своим исцеляющей от всякой напасти, красой своей пленяющей мудреца и ученого. Стан ее похож на

пальму, грудь — как два козленка, двойни серны. Ланиты ее нежны и свежи; как половинки спелого яблока, благоухают они. Лицо ее, словно ясная луна, озаряет мрак черных, как ночь, кудрей, а зубы, как стадо овец, выходящих из купальни. Как сказал поэт Ибн-эль-Тумам о подобных ей:

Четыре чуда, что в ней сплелись, мир вместе
еще никогда не видал.
За это диво и сердце, и жизнь я,
не скупясь, немедля б отдал.
За свет ясного лба, за ночь черных кудрей,
За лилии щек и стан, что гибче ветвей.

Младший его сын от старшей жены, маленький Дауд, отрада его сердца, утешитель души, упрашивал взять его с собой в Святой город, и он согласился, ибо очень любил его.

И когда Махмуд-эфенди закончил свои дела на рынках Иерусалима и медленно проходил по Сук-эль-Атарин — рынку благовоний, — направляясь к коляске, ждавшей его у Яффских ворот, а его сын остановился у порога лавки золотых дел мастера, дивясь творениям его рук, выскочил вдруг, откуда ни возьмись, Али Ибн-Масрур, который до того считался человеком чистым и честным, богобоязненным и бегущим всякого зла, набросился на почтенного жителя Бет-Лехема и убил его, проткнув кинжалом. Не успел еще ребенок отвести глаза от рук умельца, изготовлявшего изделия из чистого золота, а отец его уже лежал мертвый в луже крови, расплзающейся по камням мостовой. Потом, в течение всего судебного разбирательства и допроса свидетелей, мальчик Дауд сидел возле матери вместе с другими членами семьи убитого в качестве единственного из всей *хамулы*⁷² очевидца преступления и с надеждой, не

отрываясь, смотрел на судью, с беспредельной преданностью ловя каждое его слово. Судья, чувствующий на себе взгляд этих детских глаз, ласково вызвал мальчика к присяге, чтобы он тоже дал показания и поведал то, что было у него на сердце, и тот быстро вскочил и радостно поднялся на возвышение. Едва он начал отвечать на вопросы, как и судья, и весь народ, заполнивший зал, поняли, что в душе мальчик верит, будто судья в силах вернуть ему отца, а суд, происходящий вокруг, является ничем иным, как церемонией, необходимой судье для того, чтобы привести в действие свою волшебную силу, — чем-то вроде религиозного ритуала, призванного исправить ошибку и вернуть убитого к жизни, некоей процедурой, в конце которой судья встанет и объявит: "Пусть войдет в зал суда Махмуд-эфенди из Бет-Лехема", — и дверь за спиной судьи распахнется настежь, и через нее войдет в зал, к общей радости всех собравшихся, его отец во всем своем величии. Мальчик не обращал никакого внимания на убийцу и не обнаруживал никакого желания наказать его или отомстить ему. Когда судья вновь вернулся к совершению судебного процесса, тем самым без конца оттягивая произнесение чудесного слова, которое должно было вернуть к жизни отца, выражение ожидания исчезло из глаз мальчика, и он решил взять ведение суда в свои руки: он бросился к двери, найдя ее за спиной судьи, открыл ее настежь и закричал голосом, прерывающимся от слез: "Ну, папа, иди же, наконец, выйди ко мне, наконец!" Назавтра рано утром Али Ибн-Масрур был повешен во дворе тюрьмы. Когда душа казненного расставалась с телом, тюремщики и столпившиеся зеваки внезапно разразились хохотом: пояс на бедрах повешенного развязался, шаровары спустились ниже колен, и вся часть тела от пупка до

колен оголилась, и к тому же в тот момент, когда он окончательно задохнулся и шея его переломилась под тяжестью обвисшего тела, член его встал и извергнул семя.

Пнина выпрямилась на стуле, вытерла увлажнившиеся глаза и прочистила свой лиловый нос большим платком. Рядом с длинным и костлявым судьей еще больше выделялись ее шарообразные формы: бусинки глаз, пуговица рта, все округлости ее фигуры, такие же, как у русской старухи, мывшей окна в православной церкви, старухи, которая в конце своей жизни удостоилась чести приютить в своем доме на Русском подворье бежавшего от новой власти дворянина, бывшего владельца поместья, где она когда-то жила. И как эта преданная русская рабыня, которая сидела по вечерам на крылечке у входа в свой дом и вздыхала, глядя на безмолвного бедного дворянина, так и Пнина тайно проливала слезу за слезой, стараясь скрыть их за кривой улыбкой, пока старый судья рассказывал о том, как впервые в жизни он "увидел правосудие в действии", после чего и решил изучать юриспруденцию. "Ты не знаешь, насколько Иехуда Проспер, мир праху его, да будет земля ему пухом, был хорошим человеком, тайно совершавшим благодеяния", — сказала она судье, возвращая платок в карман своего фартука, и судья обратил на нее свой изучающий взгляд, чтобы выяснить, что это за тайные благодеяния, которые совершал его покойный друг, и какое отношение они имеют к телу повешенного, излившему живое семя в тот самый момент, когда душа расставалась с телом. Это не был удивленный взгляд — ибо уже многие годы ничто в поведении человека не могло удивить его, это не был также и сердитый или обиженный взгляд человека, обнаружившего, что сокровенные мысли, высказанные им, не встретили отклика, нет, это был взгляд

человека, высвободившегося из паутины мыслей, опутывавшей его в течение долгого времени, и исследующего внешний мир, чтобы определить свое в нем положение в настоящий момент, и это исследование или, быть может, только стремление исследовать свою причастность к внешнему миру, обнаружило на мгновение живую связь между голосом судьи и выражением его лица, на котором почти появилась милостивая улыбка, когда выяснилось, что именно вспомнилось его слушательнице. "После того, как отец сеньора Моиза был убит ночью в Лифте и убийцы украли все его деньги, пожалел Иехуда Проспер, благословенна память праведника, бедного сиротку, взял его к себе в дом и заменил ему отца; он был ему настоящим отцом и даже завещал в наследство деньги. И это лишь малая часть благодеяний, которые он совершал втайне, как один из тридцати шести праведников⁷³. Вот, помяни мое слово, — он и в самом деле был одним из них!"

Взрываю смеха госпожи Джантилы, которые вдруг раздались за спиной судьи из закрытой комнаты, веселым, звонким, набегающим один на другой со все возрастающей силой взрываю, удалось-таки вызвать на лице судьи намек на радостное удивление, и на его губах почти появилась веселая улыбка. Сама мысль, что Иехуда Проспер принадлежит к тридцати шести праведникам, так развеселила хозяйку дома, которая все это время лежала пластом на кровати, закрывшись у себя в комнате и ожидая, когда же придет к ней подходящее для приема незваного гостя настроение и появятся желание и силы переодеться, и которая слышала все, о чем говорилось на террасе, каждое слово, как какой-то поток, параллельный потоку своих собственных разнообразных ощущений, не отдавая предпочтения ни одному из них, — сама эта мысль показалась ей такой забавной, что она

разразилась неудержимым хохотом, встала, открыла дверь и присоединилась к беседе, в чем была, не переодевшись: когда ее посещало соответствующее настроение, она переставала обращать внимание на внешний антураж. Такие приступы веселости, с годами становившиеся все более редкими, совершенно изменяли ее облик и сообщали всем ее чертам и жестам какое-то "брожение молодости", способное скрыть признаки возраста лучше, чем любая одежда, и неудержимо увлечь любого.

"Я всерьез спрашиваю тебя, Дан, как тебе нравится подобное предположение? Вот уж повезло Шолом-Алейхему⁷⁴, что Пнина не записывает все перлы, исходящие из ее уст. Представь себе, что все эти годы я по ошибке жила с одним из тридцати шести праведников. Искала знатного турецкого господина, а нашла праведника, спрятавшегося под красной феской! Боже, какая ошибка, какой дурной вкус, какое разочарование!"

"Это напоминает мне один замечательный мидраш", — сказал судья, и эти слова мигом рассеяли веселость хозяйки, и лицо ее погрузнело. "Сделай милость, не говори мне о мидрашах! — прервала она его. — Эти проклятые мидраши были в чести у врагов моего отца; эти запутанные толкования, мудрость, высосанная из пальца, все эти выкрутасы еврейского искривленного мозга — как я их ненавижу! Мой бедный отец, несмотря на все притеснения и невыплату денег, несмотря на все несправедливости, которые эти святоши причиняли ему, до последнего дня жил с чувством, что не эти прикидывающиеся праведниками мошенники, раввины и старосты синагог и все другие торговцы святостью остались должны ему за труд его жизни, каковым был каждый изготовленный им арон ха-кодеш, а наоборот, он обязан им благодарностью за то, что они снисходили беседовать с

ним о Торе, обо всех этих мидрашах, сладких, как мед и нектар, которыми они смазывали все свои подлости, и за то, что оказывали ему честь, позволяя украшать синагоги даром. Как скрытый праведник Иехуда Проспер-бек страстно желал женщин, так мой отец страстно любил толкования к Библии. Единственным его удовольствием в жизни было послушать мидраш да сделать арон ха-кодеш для синагоги!”

Судья, испортивший ей настроение одним-единственным словом ”мидраш”, которое он бросил, словно каплю черных чернил в склянку с чистой водой, немедленно упрятал воспоминание о своем удивительном мидраше подальше в сердце и вернулся к разговору об Иехуде Проспере, но поскольку в настроении хозяйки произошла внезапная перемена, его следующие слова были лишь каплями, возбуждающими на дне склянки лопающиеся с треском пузыри старых подозрений.

”Ламедвавник... — повторил судья. — Не думаю, чтобы Иехуда Проспер получил большое удовольствие от этого комплимента. Напротив, его привлекал пророк Моисей, который в начале своего пути убил простого египтянина, мелкого злодея, а в конце нанес поражение самому фараону, главе злодеев, не тайно, тихо и скрыто, а явно, мощно и победоносно, с великими чудесами, которым был свидетелем весь мир. Человек, который с шумом и громом превратил сброд рабов в избранный народ”⁷⁵.

”А я все-таки думаю, что Пнина права. Кто, как не она, знает, какие добрые дела делал он с нею тайно при жизни, а еще больше после смерти, так почему же ее доля должна быть меньше доли сеньора Моиза?” Капля горечи, замутившая склянку и вызвавшая брожение в осадке, сделала улыбку госпожи Джантилы кислой, а ее самое превратила в злую старуху. Подозрение, что Пни-

на тайком наложила руку на имущество старика и ухватила себе порядочный кусок, — раз уж оно пробудилось от долгого сна, — снова окрепло и превратилось в ужасную уверенность, что старая праведница получила львиную долю наследства старого турка.

Как бы в противоположность горечи, столь явно заметной во внешности хозяйки дома и отразившейся в ее улыбке, голосе и словах, вдруг, впервые с тех пор, как он пришел и уселся в красном кресле своего покойного друга, на лице судьи засветилась настоящая улыбка, но выражение его улыбающегося лица все-таки было замкнуто, как у человека, молча наслаждающегося собственной шуткой и не собирающегося делиться ею с окружающими. "Да, да, Пнина, ты права. Праведник, на котором держится мир, — может быть, Иехуда Проспер получил бы удовольствие от такого комплимента. Когда мы смотрели, как вешают Ибн-Масрура, Иехуда Проспер сказал о нем, о праведнике, что он является основой мира, но тогда я не понял значения его слов. После приведения приговора в исполнение служащий турецкого суда вынес вещи повешенного для публичной распродажи. Среди груды тряпья, лежавшего на плитах мостовой под палящим солнцем, была только одна вещь, имевшая какую-то ценность, и она сразу привлекла к себе внимание всех собравшихся. То был кинжал, которым повешенный убил свою жертву. Но никто не откликнулся в ответ на символическую цену, объявленную служащим, который все повторял сумму мощным голосом, и мелодия его взвивалась вверх и обрывалась внезапно, как звук шофара⁷⁶, и, что еще более поразительно, — никто не протянул руку, чтобы ощупать кинжал, предложенный для продажи, как было принято в те времена. В толпе прошел слух, что на нем лежит проклятие, на этом

кинжале, который когда-то принадлежал убитому, Махмуду-эфенди и который тот продал своему будущему убийце, и оба его последние хозяйина, как и все прежние владельцы проклятого кинжала, умерли неожиданно при странных и жутких обстоятельствах. Я помню, как толпа вдруг расступилась и освободила путь Иехуде-беку, который вышагивал чрезвычайно важно и очень медленно под устремленными на него с двух сторон пронзительными взглядами и в полном безмолвии по направлению к служащему, стоявшему в противоположном конце этого живого коридора и державшему кинжал на вытянутой руке. Деньги, которые заплатил Иехуда-бек, с лихвой покрыли объявленную цену кинжала, и когда он пошел обратно походкой царя, являющегося народу во всем своем великолепии, с кинжалом, заткнутым за пояс, толпа расступилась еще больше и разом охнула и замерла, как зрители в цирке в момент, когда укротитель засовывает голову в пасть льву”.

”Он был опытный торговец, — сказала госпожа Джантила, — хитрый как змея”. Глаза Пнины увлажнились, она снова роняла потихоньку слезу за слезой, а лицо ее кривилось странной извиняющейся улыбкой. ”Да, да, — вздохнула она, — он был крепче железа, он был герой и был слабее мухи”.

Я резко повернулся и отпрыгнул к крану, находящемуся в конце двора. Противное ощущение в груди, нехватку воздуха и горькую сухость в горле почувствовал я в то мгновение, когда понял, что должен немедленно вернуть кинжал на его место на полу в подвале, между шарманкой и раскладушкой. Но пока я пил, мне стало ясно, что сделать это совершенно невозможно, так как судья, хозяйка и ее сестра Пнина сидят посреди террасы, совсем близко от лестницы, ведущей в подвал, а мне разрешается спускаться туда, толь-

ко когда хозяйка просит меня помочь достать раскладушку из подвала или спустить ее туда. Нет у меня иного выхода, как отложить возвращение проклятого кинжала до полуночи, и хотя до полуночи оставалось еще много времени, я обошел вокруг террасы и через заднюю дверь прокрался внутрь дома, чтобы убедиться, что кинжал все еще лежит на дне ящика моего стола. Сколь бы все это ни казалось противоречащим здравому смыслу и не имеющим никакого значения, но на деле удушье, охватившее меня, когда мне стало ясно, что я должен вернуть кинжал на место, не было связано со страхом перед проклятием, лежащим на кинжале, а было вызвано сознанием, что я должен вернуть пропажу ее владельцу, и чувством, что, взяв потихоньку кинжал с сырого пола подвала и положив его в теплый карман моих штанов, я проник в чью-то чужую жизнь, и при мысли о старике, объявившем войну проклятию дьявола на глазах у всего города, это чувство усилилось и превратилось в ощущение такого греха, как если бы я разрушил святая святых: я верну кинжал ночью, а завтра утром спущусь к хозяйке и попрошу ее продать мне этот древний кинжал, валяющийся без всякой пользы, словно разбитый идол, на дне подвала, чтобы он стал моим по праву, явно для всех; буду действовать по примеру старика — *рукою сильною и мышцею простертой*⁷⁷. "Он был крепче железа, он был герой и был слабее мухи", — эти слова шарообразной Пнины всплыли во мне, когда я вытащил маленький, очень короткий кинжал со дна ящика, а когда я ощутил ладонью его прохладное прикосновение и вдохнул запах сырого, покрытого зеленью металла, я снова почувствовал, что происходит чудо, похожее на то, что я испытал уже однажды при виде судьи, сидящего в кресле старика, но в то же время все-таки отличавшееся от

него, если можно так выразиться, оттенками света и голоса, ибо теперь этот дворец был погружен в прозрачную зеленоватость, где голоса отдаются, как эхо в длинном коридоре, но коридор этот находится не внутри какого-нибудь здания, а в лесу, расцвеченном и пронизанном многочисленными лучами света, пробивающимися сквозь ветви деревьев и застревающими в их переплетенье, и эти лучи заливают покои дворца всеми оттенками зеленого. Ощущение загадки, которую загадало мне это чудо, не было тягостным, как бывает, когда ищешь решение, а оно не дается; наоборот, само изумление перед загадкой заключало в себе какое-то непонятное наслаждение, чуждое и близкое одновременно, как мелодия, пришедшая издалека, чтобы пробудить легкие отзвуки забытого томления прежних дней тончайшей нитью вплетенных в узор слов: "Сильнее железа был и слабее мухи". Знание, что его уже нет, а кинжал все еще существует, соседствовало во мне с ясной уверенностью, благоуханной, как дуновение ветра в Иудейских горах весенним днем, прекрасной в своей терпкости, как бродящее вино, что этот маленький кинжал, это лезвие, длина которого не превышает длины среднего пальца человека, этот простой кусок железа, безмолвный, холодный, никчемный и бесполезный, не обладает силой положить конец ни жизни старика с его раздумьями о пророке Моисее, ни жизни Махмуда-эфенди с его большой любовью, так же, как его уколы не могут причинить ни малейшего вреда водам мощного потока и как никогда не истребить ему этот лес мечтаний, в котором я блуждаю, все это изобилие страстных желаний и томлений, воспоминаний и надежд, образов и мелодий, которые вместе подобны огромному морю, и уколам всех в мире кинжалов, и ударам всех в мире мечей и копий никогда не уничтожить это море.

С террасы послышался скрип красного кресла старика — судья, закончив свой визит, поднялся и направился к машине, ждавшей его у ворот, и этот тихий стон старого дерева в один миг уничтожил зеленый дворец, растаявший вместе со всеми моими чудесными ощущениями. Я возвратил кинжал на место, на дно ящика, под тетради и учебники, и удивился тем странным идеям, которые у меня иногда появляются. Ведь старик умер на своей кровати в глубокой старости, а этот кинжал, если даже это тот самый кинжал, который Иехуда-бек купил тридцать лет назад на распродаже вещей повешенного Ибн-Масрура (тоже пустая мысль, ведь жена старика, госпожа Джантила, сама сказала, что он "был опытным торговцем, хитрым, как змея", и сам распространил слух о проклятии, лежащем на кинжале, чтобы купить его подешевле, а потом, выждав, продать за полную цену; и, кроме того, за тридцать лет, что прошли с тех пор, побывали в подвале десятки и сотни других мечей и кинжалов, которые он получал в залог от своих должников-арабов, и этот кинжал, случайно попавший ко мне в руки, наверняка был одним из них), так вот, повторяю, этот кинжал убил не Иехуду Проспер-бека, а господина из Бет-Лехема, того самого Махмуда-эфенди, глаза которого видели перед собой только зыбкий образ возлюбленной на фоне молочных языков влаги, испаряющейся с поверхности беловато-голубоватых озер в долинах, мимо которых он проезжал по предрассветной дороге из Бет-Лехема, что в Иудее, в город иевусеев⁷⁸, по последней своей дороге, по которой он пошел и не вернулся.

МЕЖ ДВУХ ЗАВЕТОВ

Начав писать эти строки, я вспомнил рассказ аптекаря, доктора Блюма, о сыне эфенди из Бет-Лехема, убитого в расцвете своей любви, о Дауде Ибн-Махмуде. А может быть, не о нем был рассказ, а о шофере-арабе старого судьи, которого тоже звали Дауд Ибн-Махмуд и который тоже был потом убит. Вполне возможно также, что Дауд Ибн-Махмуд-шофер был сыном эфенди из Бет-Лехема, убитого в расцвете своей любви.

Если бы я знал, где и как найти аптекаря из моего детства, я пошел бы к нему, чтобы все выяснить, но с тех пор, как я случайно встретил его в кафе "Атара" много лет тому назад, я больше ни разу не видел его вплоть до сегодняшнего дня, когда пишу эти строки. Я ничего не знаю о его судьбе, и жив ли он вообще. Учитывая его возраст, было бы естественно считать, что он все так же находится среди живых и по-прежнему деятелен — в соответствии со своей беспокойной натурой, ведь когда он вернулся из Бейрута и открыл аптеку, ему не исполнилось еще и сорока, а с тех пор прошло не более тридцати лет, следовательно, если он жив, то не достиг еще и семидесяти. Возможно, что все эти годы, прошедшие со дня нашей последней встречи, он занимался сомнительными делами и был вынужден замечать следы и даже тайно покинуть страну, но с той же степенью вероятности можно предполагать, что он изменил род своей деятельности и все эти годы находился среди нас, просто круговращение наших путей ни-

когда не совпадает, но все же в один прекрасный день он может нечаянно предстать предо мной на углу улицы, как воспоминание, возникающее из темноты: я всегда при встречах не только с людьми, но и с домами, деревьями, переулками, улицами, запахами и образами чувствовал, что в природе этих встреч есть нечто общее с наплывом воспоминаний. Как те, так и другие существуют и долгие годы живут своей жизнью, находясь за пределами кругов, по которым привычно движется наша повседневная жизнь; они считаются как бы умершими для нас, ибо они вне нас, чужие. Но вдруг, когда орбита их жизни пересечется с нашей, они встают перед нами, словно воскресший Лазарь⁷⁹, чтобы доказать нам, что они не умерли, просто сноп света, падающего от некоего фонаря, сузился и стал высвечивать только часть проселочной дороги, по которой мы идем, дороги, тянущейся посреди необъятного поля, что распостерлось вне нас, за завесой тьмы, отчуждающей его просторы от нашего зрения, тогда как его бездны разверсты внутри нас.

Аптекаря я с тех пор не видел, но внезапно появился предо мной, как дух, прямо на пороге моего дома, другой друг юности Габриэля — доктор Шошан. Я открыл дверь, так как кто-то позвонил, и замер от удивления, ибо человек, стоявший на пороге, словно шагнул в реальность из неясного воспоминания моего детства: передо мной стоял, держа в руке книгу, тот, кто некогда был библиотекарем в библиотеке "Бней-Брита". Вот уже тридцать лет, как я не видел этого маленького человечка, чьи раскосые, как у китайца, глаза за толстыми стеклами очков, как и раньше, задорно искрились, да и почти не думал о нем все это время. Далекое годы моего детства, существующие теперь только в снах, изредка посещающих меня, или в моих размышлениях, вне-

запно стали осязаемыми при виде этого маленького очкастого человечка, как будто они так и продолжали существовать все эти годы в некоей материальной реальности, но пребывали в другом месте, что наделило их иным смыслом. Человечек остался прежним, и все же что-то в нем изменилось, и не только потому, что он стал старше на тридцать лет. Он не узнал меня, конечно, ведь в то время я был всего лишь одним из сотен, может быть, тысяч детей, которые приходили к нему обменять книгу. В бегущем вперед времени только память убегает назад, и младшие помнят старших, тех, что были прежде них, но старшие не помнят младших, проходящих им вослед.

Хоть и прошло тридцать лет, он выглядел сейчас не только более аккуратным и подтянутым, но также и более крепким и энергичным, и это несмотря на неизлечимую болезнь, которая угнездилась в нем в последние годы. Его боевитость несколько поубавилась, когда он начал говорить, да так и остался с открытым ртом, жадно ловя воздух, как рыба, вытщенная из воды. Каждый новый поток его речи начинался с новым оптимизмом, поскольку удавалось ему преодолеть удушье, но неизбежно вновь прерывался приступом кашля, который заканчивался, лишь когда приготовленный заранее носовой платок в его руке принимал мокроту. Он пришел ко мне с предложением сделать перевод, не вообще перевод, а перевод той книги, которую он держал перед собой. То была биография Кальвина⁸⁰, в оригинале написанная по-французски и переведенная на английский при поддержке Международного центра кальвинистских общин, которые разбросаны по всему миру. Он пришел ко мне случайно, потому что ошибся адресом и не мог найти собственный дом. Месяц тому назад он вместе с женой, сыном и собакой переехал в соседний с нами дом, и по-

сколько оба наших дома стоят рядом, а входы в них похожи, он ошибся и попал ко мне. Уже войдя в подъезд, библиотекарь почувствовал что-то неладное и, чтобы отбросить все сомнения, решил посмотреть фамилии жильцов на почтовых ящиках и поискать свою. Если он найдет имя "Д-р Шошан", значит, он не ошибся и действительно живет здесь. Надписи "Д-р Шошан" он не нашел, зато обнаружил мою фамилию. Попавшись ему на глаза, она заставила его вспомнить о какой-то книге, посвященной философии дзен⁸¹ и переведенной на иврит обладателем той же фамилии, но если я и есть тот человек, который перевел "Философию дзен", то почему бы мне не перевести на иврит биографию Кальвина, который важен для всего мира вообще и для израильского народа в частности гораздо более, чем Бодхидхарма, распространивший на Востоке учение дзен-буддизма, и, к тому же, — вместе с духовной пользой от перевода книги я получу также хорошее материальное вознаграждение от Международного центра кальвинистских общин, где он сам, то есть доктор Шошан, служит ответственным секретарем.

"Да, да, я тот человек, который перевел "Философию дзен" на иврит", — сказал я ему и радостно собирался добавить, что помню его еще с тех давних пор, когда он работал в библиотеке "Бней-Брита", но в этот момент голос его снова захрипел, дыхание остановилось, и он прикрыл рот платком, а я поторопился предложить ему попить. Пока я готовил на кухне чай, в моей памяти возникли очертания спины человека, выходящего однажды вечером уверенным шагом из ворот больницы для прокаженных. Все небо на западе от края и до края было оранжевым, как мякоть сочного апельсина, и в нем растаял черный силуэт врача — ибо вовсе не думая о нем, я был

уверен, что это один из врачей больницы, пока не услышал его историю, — а он тем временем все уменьшался и отдалялся, уходя по протоптанной вдоль каменной ограды дорожке в сторону шоссе, поднимающегося к площади Саламе. Вот уже многие годы местом сбора нашего полка резервистов был лагерь Стон, расположенный напротив больницы для прокаженных. В последнее время, после того, как больные были переведены в другое помещение (не знаю, куда), это здание никто не должен был занимать до открытия здесь нового отделения больницы "Шаарей-Цедек"⁸², об этом было сказано на вывеске, вдруг возникшей и появившейся над воротами ограды, а в самой каменной ограде, окружающей рощу, пробили проломы; наш полк стал собираться в этой роще, под старыми соснами, в тени которых в течение многих лет прежде гуляли прокаженные. Но в тот вечер высокая ограда еще окружала больницу для прокаженных со всех сторон, и проломов в ней не было, а мы собирались в лагере Стон, который был расположен напротив. Как во время всех сборов и призывов, — и по обычному приказу, и по внезапной мобилизации, — так и в тот вечер я хотел — закрывшись и замкнувшись в себе — только одного: чтобы время, когда мною распоряжается армия, прошло как можно быстрее и я бы смог снова погрузиться в самые сладкие из моих мечтаний, в привычные грезы наяву, которым мы все предаемся, скованные тройным кольцом наших цепей, — в мечту о личной свободе.

Как и можно было предположить, ибо так бывало во все предыдущие призывы, время тянулось до бесконечности долго, в бессмыслице и однообразии показной деятельности. Но на этот раз внезапно выделилось из потока времени мгновение, когда тот человек вышел из ворот: тогда я увидел закатное оранжевое небо, на фоне которого все

— и каменная ограда, и вершины деревьев за ней, и дорожка, и черный силуэт человека — тонуло в бескрайней, странной и волшебной безмятежности, существующей независимо ни от чего и неподвластной никаким изменениям, вне бега времени, как картина в музее, к которой можно возвращаться снова и снова, и каждый раз она встретит тебя такой же, какой была, когда вышла из-под кисти художника; можно не опасаться, что со временем что-то изменится в нарисованном на ней предзакатном пейзаже: и солнце не закатилось, и небо не почернело, ограда не развалилась и камни ее не разбросаны как попало, а человек, идущий по дорожке, не вышел на главное шоссе и не исчез за углом. Странное чувство удивительно успокаивающей и возвышающей душу уверенности, что можно вернуться к этому оранжевому мгновению бескрайнего заката, выключенного из бега времени, точно так же, как можно вернуться к висящей в музее картине или куда-нибудь, где уже бывал однажды, я продолжал ощущать в себе и тогда, когда вернулся в бег времени, а черный маленький силуэт исчез за углом. "Ты, конечно, знаешь его", — сказал мне один из товарищей по части, который стоял рядом со мной и очевидно заметил мой долгий взгляд, обращенный вслед силуэту. Я предположил, что это один из врачей, но он улыбнулся и сказал, что это не врач, а христианский священник, и не просто христианский священник, а христианский священник-еврей. С чего он это взял? И тут он рассказал мне историю. Недавно он прочитал в газете объявление, в котором больница имени Хансена обратилась к населению с просьбой жертвовать книги для больных. Он отобрал из своей библиотеки несколько книг, не имевших отношения к экономике или статистике, то есть таких, что не были необходимы ему для работы, и понес их в больницу. Медицинская

сестра, встретившая его при входе, была шведской монахиней и на иврите не говорила, но, увидев в его руках книги, поняла, в чем дело, и проводила его к священнику, которому была вверена забота о душах больных, при этом она сказала священнику несколько слов на своем языке. Тот ответил, а затем, не переставая просматривать полученные книги, поблагодарил жертвователя и, к немалому удивлению последнего, на беглом иврите. Большая часть принесенных книг были переводными — романы английские, американские, французские и русские; между ними оказался также и перевод книги о философии дзен, который немедленно привлек внимание этого священника, пекущегося о прокаженных братьях наших евреев и умеющего говорить на иврите лучше любого из них. Когда, перелистывая книгу, он высказал несколько замечаний по поводу связей между религиями Дальнего Востока и христианством, от него не укрылось удивление гостя, и он тут же, без обиняков, рассказал, что он еврей, уроженец Старого города, в детстве учился в маленькой иешиве рабби Авремеле, а затем в иешиве рава Кука⁸³, и как был евреем, так евреем и остался, ничто в нем не изменилось, только тем временем прозрели его глаза и он познал святость истинного Мессии нашего — Иисуса из Назарета.

Я представлял себе Иисуса из Назарета как человека доброго и исполненного жалости ко всем страждущим и болящим, желающего добра каждому и готового спасти всех бедных и угнетенных, униженных и оскорбленных, — все, как написано в Новом завете, единственной прочитанной мною книге о его жизни. Из написанного там я не получил какого-либо представления о его отношении к женщине и о его супружеской жизни, более того, не все, рассказанное там, пришлось мне по вкусу, но несмотря на это, сердце мое

склонно было почитать эту великую душу, мучающуюся и стонающую от своей большой любви и жалости. Благодаря этой любви и жалости и ненависти ко всякой власти и ко всем учреждениям, особенно религиозным, со всеми их чиновниками, само существование которых способно умертвить Святой дух, тогда как они исполнены рвения сохранить внешнюю форму слова Божьего, он казался мне продолжателем древней традиции наших истинных пророков. Поскольку я не разбираюсь в различиях между христианскими конфессиями и не знаком с произведениями отцов церкви, мне не ясно, в чем они видят связь между ними и Иисусом, тем более, что всякая власть на земле, в особенности религиозная, кажется мне несовместимой ни с личностью Иисуса, ни с сущностью его жизни и смерти, и об этом как раз я собирался побеседовать с доктором Шошаном, стоя на кухне и наливая ему стакан чая, охваченный чувством удивления перед самой ситуацией и перед странным совпадением случайностей: ведь в день, когда внезапно объявили мобилизацию нашего полка, я не знал, что черный силуэт, растворившийся в закатном небе, оранжевом, как мякоть спелого апельсина, — это силуэт библиотекаря из моего детства и что однажды он придет ко мне по ошибке, перепутав адрес своего нового дома, придет, но так и не вспомнит меня — мальчика, менявшего у него книги, и не узнает, что силуэт его спины запечатлелся в картине мгновения, выпавшего из времени и оставшегося одним из самых чудесных в моей жизни.

Об этом я хотел поговорить с ним, когда нес чай в комнату, не только потому, что все это интересовало меня просто по-человечески, то есть человек Иисус интересовал меня так же, как человек Моисей, и человек Будда, и человек Бодхидхарма, и человек Магомет, безотносительно к

истинности учений, которые они принесли в мир, — но еще и потому, что мне казалось естественным для человека с такими интересами и на таком посту, какой занимал доктор Шошан, стремиться высказать свои мысли по этому вопросу. Однако, когда я вошел в комнату и сел напротив него, беседа наша потекла совсем по другому руслу. Поскольку я начал с воспоминаний своего детства, он подхватил эту тему и стал рассказывать мне о своих детских годах, причем его оживление все росло, а лицо приняло лукавое выражение, несмотря на приступы досаждавшего ему кашля. Большое огорчение доставляли ему в детстве пейсы, которые отказывались завиваться. Чем гордились в те дни ученики хедера в Старом городе? Скажем прямо — красиво завитыми пейсами, и чем больше эти пейсы были закручены, тем лучше. У него же, как теперь, так и прежде, были прямые соломенные волосы, и его пейсы упрямо отказывались завиваться, хотя он целыми днями во время уроков Торы очень усердно закручивал их пальцами. Стыд за прямые пейсы не прошел и когда он вырос и поступил в иешиву рава Кука. Начав учиться в иешиве, он узнал секрет (от кого, я не помню точно, может быть, и от Габриэля Луррия, который был тогда его лучшим другом), что алкогольный напиток, именуемый белым пивом, обладает силой закручивать прямое. Каким образом? Обмакивают кончики пальцев и мокрыми, так что с них еще капает пиво, пальцами закручивают упрямые пейсы, и так он и делал по три раза в день: утром, в полдень и вечером, но из-за его великих грехов и пиво не помогало ему в этой беде и не смогло справиться с его прямыми светлыми пейсами. Делясь своими воспоминаниями, он снова и снова смеялся над теми глупостями, которые в детстве приводили его в отчаяние, и этот смех искрился каким-то детским озорством и

придавал мальчишеское выражение его лицу, лицу стареющего человека (словно два снимка, один — ребенка, а другой — старика, накладывались друг на друга и образовывали одну фотографию, которая то кажется фотографией превратившегося в ребенка старика, а то фотографией внезапно состарившегося ребенка), этот его смех прерывали приступы кашля, которые заканчивались прикладыванием платка к испещренному морщинами, то краснеющему, то бледнеющему лицу и стирали с него следы ребячливости и озорства.

Он сам рассказал мне (и это я уже знал со слов статистика, который пожертвовал книги для прокаженных), что два года тому назад ему сделали тяжелую и сложную операцию и вырезали у него легкое, в котором оказалась злокачественная опухоль. Теперь осталось у него лишь одно легкое, но и оно уже было тронуту неизлечимой болезнью. Так же, как перед операцией он знал, что его ждет, так и теперь он понимал, что означают приступы удушья и кашель с кровохарканьем, и все-таки в тот момент, когда приступ кончался и ему становилось легче, на его лице вновь появлялась приветливая улыбка, и он снова уверял меня, что состояние его улучшается и что в течение двух-трех недель он окончательно избавится от "этой проклятой простуды", и эта вдруг рождающаяся в нем вера была совершенно искренней, без тени сомнения, так же, как и абсолютное знание того, что дни его сочтены.

Но даже и тогда, когда наступало облегчение, его задыхающийся голос был хриплым, сдавленным и тихим, будто он собирался поведать некую тайну, а его руки, возвратив платок в карман, хватались за книжечку, которая ждала, что ее переведут на иврит, и жест этот напоминал движение рук оперной певицы, когда с дрожью мольбы в голосе она сжимает пальцами нагар свечи у ос-

нования подсвечника, и свеча озаряет мрак темницы, куда ее безвинно бросили, в то время как на самом деле это общее усилие мышц рук и груди помогает мышцам ее гортани достичь самых высоких нот. Но, в отличие от певицы, его руки сжимали книгу бессознательно, без всякой специальной цели, и если и помогали ему извлечь из сдавленного горла какие-то звуки, в них не было ничего, вызывающего удовольствие. Да и на лице его уже явственно проступали признаки усталости, и он вернулся к вопросу о переводе. У меня тогда не было ни времени, ни желания переводить биографию Кальвина на иврит, да он и не пытался убедить меня поскорее начать эту работу. Только дал мне книгу, чтобы я прочел ее на досуге и высказал свое мнение после прочтения. "У нас есть время, — сказал он, поднимаясь, чтобы уйти, — ничто нас не торопит".

Когда я вышел проводить доктора Шошана, я услышал, как проходивший мимо мальчик со скрипкой подмышкой шепнул своему товарищу: "Ты видишь — это миссионер!"⁸⁴ Мог ли я, мальчишка, который бежал по Абиссинской улице, чтобы поменять книгу в библиотеке "Бней-Брита", представить себе, что тот самый человек, который казался мне такой же неотъемлемой частью библиотеки, как запах старых деревянных полок и как читальный зал, что маленький библиотекарь в очках, который будто был создан для того, чтобы быть библиотекарем, и не просто библиотекарем, а библиотекарем именно в этой, единственной в мире библиотеке, мог ли я предположить, что этот самый человек будет выглядеть как прирожденный миссионер в глазах детей другого поколения, на другой улице и в другие дни? Не было никакого основания думать, что мальчик со скрипкой получил дома религиозное воспитание, ведь он был сыном того статистика, того человека науки, ра-

ционалиста, который считал, что субботы и праздники даны миру лишь для того, чтобы, засунув жену и детей в машину, ездить на прогулки. В этом смысле мальчик ничем не отличался от всех других детей на нашей улице, учившихся вместе с ним в той школе, где его мать была директором, и поэтому вызывало удивление, что он относился к миссионерам с опаской. Я не уверен, знал ли мальчик точное значение произнесенного им слова и что отличает человека, которого так называют, но и по его взгляду, и по звучанию его голоса было совершенно ясно, что этот мальчик чувствует, что человек осторожный будет держаться от миссионеров подальше.

Мальчик со скрипкой подмышкой и его друг прошли мимо нас, и, к моему облегчению, доктор Шошан не заметил их и не слышал слов, которые могли, как мне тогда казалось, его обидеть. Насколько я ошибался, я узнал уже на следующий день, когда снова встретил доктора Шошана, выходя из ворот нашего дома, и он присоединился ко мне и в ходе завязавшейся между нами беседы припомнил с заметным чувством удовлетворения все оскорбления, ругательства, унижения и испытания, которые выпали на его долю и которые он вытерпел и выстрадал из-за веры в своего мессию. На этот раз приступы кашля не прерывали его речи, и казалось, он был прав накануне, заверяя меня, что его состояние улучшается и что он должен скоро вылечиться от "этой проклятой простуды", хотя голос его не изменился и по-прежнему был глухим, слабым и шипящим. По своему хорошо и по мерке сшитому отутюженному костюму и по прямой и бодрой походке он был больше похож на удачливого английского дельца, служившего в молодости офицером в армии Его Величества короля, чем на ревнителя веры, служившего в молодости в библиотеке "Бней-Брита". Улучшение

его самочувствия, ясная погода и хорошее настроение соединились, по-видимому, чтобы вызвать из забвения эти воспоминания и порадовать его сердце картинами прежних дней, когда он сам, единственный и неповторимый, нес пламя веры и противостоял темной толпе, глупой и жестокой, презирающей его, издевающейся над ним и алчущей его растоптать. Так, несколько лет тому назад случилось ему прочитать объявление о митинге протеста против деятельности миссионерской организации, который должен был состояться в Центральной синагоге района Зихрон-Моше. Он знал, конечно, что, придя на этот митинг, он повторит подвиг пророка Даниила, вошедшего в ров со львами⁸⁵, но страх перед опасностью не удержал его от того, чтобы выступить в защиту посланцев истинной веры, и даже на мгновение не пришла ему в голову мысль уклониться. Как только собравшиеся в синагоге увидели его, еще до того, как он успел раскрыть рот и начать говорить, они немедленно начали плевать ему в лицо и поносить его, и даже с разных сторон потянулись руки, чтобы залепить ему пощечину — и слева, и справа — и сбросить очки с носа, и порвать пальто... Когда очки, наконец, упали и были так растоптаны грубыми ногами, что линзы превратились в стеклянную пыль, он больше не мог никого и ничего видеть и не мог найти путь к выходу, и если бы там, среди собравшихся, не нашелся один добрый человек, обладатель истинно христианского сердца, который помог ему спастись от разбушевавшейся толпы и выйти на улицу, кто знает, каков бы был его конец. И кто же больше всех старался опозорить и обругать его? Не кто иной, как реб Ицхок, который учился с ним вместе в детстве в хедере рабби Авремеле, тот самый Ицик, законченный дурак, который был дураком в юности и вовсе не поумнел с годами, тот самый невежда и

неуч, который и до сегодняшнего дня не может запомнить самую простую страницу из Гемары⁸⁶. Да и как вообще можно требовать от человека, который так и не осилил ни одной главы из Торы с комментариями Раши⁸⁷ и который не понимает значения слов в молитвеннике, чтобы он открыл Гемару и понял в ней хотя бы самый простой раздел? Но, в сущности, продолжал размышлять вслух доктор Шошан, нет ничего удивительного в том, что именно он обнаружил такой воинствующий фанатизм, ведь чтобы быть фанатиком, и неважно чего — коммунизма, капитализма, буддизма, рабочего сионизма, левых — правых, правых — левых, психоанализа или галахического кодекса Шулхан Арух⁸⁸, — человек должен обладать изрядной долей тупости — если не сердца, то мозга. Этот тупица продолжал преследовать его и после того, как ему удалось выбраться из синагоги, плевал ему вслед и кричал вдогонку всякие ругательства. В то время случайно проходил мимо доктор Морнинг-Роз — американец, руководитель пресвитерианской общины⁸⁹ и его хороший друг еще по учебе в теологической семинарии, и этот последний захотел немедленно позвать на помощь посла Соединенных Штатов и вообще поднять шум и здесь, и в Америке и привлечь к суду Ицхока и других безобразников и хулиганов, но он, доктор Шошан, умолил его не делать этого, оставить их в покое и забыть об этом случае.

Доктор Шошан искоса бросил на меня беглый взгляд, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел его рассказ о Данииле во рву с современными львами, и мой ответный взгляд выразил восхищение отважным человеком, несущим в своем пораженном болезнью организме близкий конец. Однако, по правде говоря, не произвели на меня особого впечатления ни ужасные звери, растоп-

тавшие его очки и выдавшие ему двойную порцию пощечин, ни сам Даниил, обнаруживший в компании царственных зверей и льва, некогда учившегося с ним в хедере, и еще одного, обладавшего истинно христианским сердцем, а потрясло меня только презрение, которое испытал христианский миссионер к реб Иццоку, еврею из "Нетурей-карта", из-за его неспособности выучить страницу Гемары.

Но подобное презрение жило в нем не только по отношению к невежеству праведников типа реб Иццока. Когда доктор Шошан упомянул своего друга, доктора Морнинг-Роза, вознамерившегося призвать на помощь поруганному библиотекарю правительство Соединенных Штатов, он добавил — добавил с какой-то прощающей интонацией: "Человек он хороший и милосердный, но невежда и профан, каких еще поискать. Я не понимаю, как мог Американский пресвитерианский совет послать в страну человека, который никогда не читал "Наставление в христианской вере" в подлиннике и который совершенно не понимает разницы между отношением Святого Августина и Фомы Аквинского к проблеме предопределения и в чем заключается вклад Кальвина в эту проблему"⁹⁰.

В то время, как он произносил слова о великом вкладе Кальвина в проблему предопределения, из двери их дома вышла его жена; это была крупная полнокровная женщина, причем тело ее имело странную, нетипичную форму: вся толщина его сосредоточилась в районе талии и над ней, тогда как поддерживавшие всю эту массу плоские ягодицы и костлявые и тощие ноги, казалось, с трудом несли непомерную тяжесть верхней части тела, и это было так несправедливо, что невольно вызвало в моей памяти воспоминание о похожей несправедливости, свидетелем которой я был: давно, в детстве, я видел, как худенький носильщик-

араб принес на себе в глазную клинику доктора Ландау толстого распухшего эфенди. Но, как и тот тощий носильщик, тонкие ноги госпожи Шошан на деле доказывали силу и героизм, позволяющие им выдерживать гнет водруженных на них массивных тел. Красноватое лицо женщины, обрамленное светлыми, начинающими седеть волосами, оставалось спокойным и невозмутимым во все время разговора, который она вела с мужем на голландском языке и который вызвал в нем сердитое возбуждение, закончившееся приступом кашля и удушья. Лица обоих блестели одно напротив другого красноватым блеском, словно водная гладь в лучах заходящего солнца, только гладь ее лица покоилась над бездной безмятежности, а гладь его лица была лишь тонкой пленкой, скрывавшей бушующие глубины. В их языке мне слышалось что-то знакомое, близкое и далекое одновременно, словно некий диалект идиша, который я будто бы должен был понимать, если бы слова не коверкались так, наскакивая одно на другое, но я смог различить только все время повторявшееся слово "Гертель", это была фамилия очень богатого еврея. Поскольку я никогда не видел ни его самого, ни даже его фотографий, то и не знаю, как выглядит этот богач, но его имя, произнесенное госпожой Шошан, отозвалось во мне образом человека, решительным шагом вышедшего из ворот больницы вечером того дня, когда наш полк был внезапно вызван на военные сборы, и я вспомнил также о случайной беседе со специалистом по экономической статистике, в которой тот сообщил мне, что удаляющийся вдоль ограды и исчезающий в оранжевом закатном небе силуэт принадлежит миссионеру-еврею. Когда силуэт пропал и осталась только высокая длинная ограда, я сказал ему, этому экономисту, что всегда любил каменные ограды и жаль, что

теперь перестали строить такие ограды вокруг домов. Он ответил, что это — явление экономическое, обусловленное временем. В наши дни строительство каменной ограды стоит очень дорого, и только большие богачи, готовые потратить часть своего капитала на вещи, не приносящие дохода, могут позволить себе это, миллионер Гертель, например. Каменная ограда, окружавшая со всех сторон сад Гертеля, с бассейном, площадкой для танцев, беседкой для влюбленных и всем, чего душа пожелает, и укрывавшая сад от посторонних глаз, высокая ограда, длиной своей превышавшая даже ограду вокруг больницы, — одна только эта ограда обошлась ему, Гертелю, в несколько сотен тысяч, что можно запросто подсчитать, зная цену погонного метра. Не мне, никогда прежде не думавшему о погонных метрах при виде каменных оград, не мне, повторяю, судить об этом, но этот экономист, который занимается финансами, наверняка знает, что говорит.

Имя богача Гертеля, вылетев из уст жены, вызвало сердитое подергивание на лице доктора Шошана. Когда она ушла, он процедил сквозь сведенные утроенной — от старости, болезни и злости — дрожью губы: "Гертель, Гертель, Гертель". Несколько успокоившись, он сказал мне, что теперь, когда его жена ушла, в чем я мог убедиться собственными глазами, навестить свою приятельницу, госпожу Гертель, ему не надо торопиться домой, он свободен и готов предоставить себя в мое распоряжение и отвезти меня в своей машине в любую точку города и даже поехать за город, если у меня есть время и желание совершить небольшую загородную прогулку. Упоминание о загородной прогулке стерло с его лица остатки сердитого подергивания и, когда мы сели в машину, он заметил с улыбкой, без всякой горечи и без малейших признаков гнева, что у его

жены есть странная черта: она любит богатых людей. Эта любовь, как я понял из его слов, совершенно бескорыстна: так же, как она никогда ничего не просила и не получала от своей богатой подруги, так не стремилась она к этому даже втайне, в глубине души, и не предполагала получить что-нибудь в будущем. Ведь это, если можно так выразиться, платоническая любовь. Вот и сейчас она должна была сидеть дома и ждать мужа, который ежедневно проводит с ней занятия по Священному писанию, и сегодняшний урок он намеревался посвятить исключительно интересной проблеме — подходу святого Иоанна Дамаскина⁹¹, одного из отцов ранней греческой церкви, к проблеме предопределения. Трудный вопрос задал почтенный Иоанн Дамаскин: Бог, который беспредельно добр, как мог Он определить некоторых людей с самого рождения на гибель в аду? Но стоило только госпоже Гертель позвонить и пригласить ее на чашку чая, как мысли его жены сразу же перепутались, и она забыла и о муже, и о святом Иоанне Дамаскине, и об ожидающем грешников аде. Достаточно ей, этой богатой подруге, или любой другой приятельнице, если только она обладает достаточным состоянием, свистнуть, чтобы его жена забыла обо всем. В самом деле, что может противопоставить святой Иоанн Дамаскин или даже сам Жан Кальвин силе платонической любви, которую вызывает в ней чужое богатство! Правда, он уже давно перестал удивляться равнодушию жены к вопросам религии. Ее отец, то есть его тесть, да будет благословенна память этого святого праведника, великого человека, одного из столпов пресвитерианской церкви, большого ученого и знатока Священного писания, профессора схоластики, автора нескольких произведений, которые стали неотъемлемым достоянием реформистской церкви Нидерландов, так

вот, этот достойнейший человек как-то предупредил его, будто бы шутя, о возможном дурном влиянии его дочери на духовное развитие мужа: "Береги душу свою от дочери моей, Паулы, — сказал он тогда, — она может повлиять на твое предопределение!" И все смеялись этой шутке. В сущности, она не совершает ничего предосудительного, и можно сказать, что она выполняет все возложенные на нее заповеди, но делает это настолько безучастно, что у нее не возникает даже мысли о неверии. В отличие от нее, подруга ее детства Генриетта Ван-Эккерн была предана религии всем сердцем и душой. И, правду сказать, если бы он не любил Генриетту, не стал бы он жениться на Пауле, — тут доктор Шошан вдруг тихонько засмеялся, но даже этот приглушенный смех немедленно прервался приступом удушья и кашля, закончившимся, конечно, не без участия носового платка и заставившим его выключить мотор в тот самый момент, когда машина была готова тронуться.

Если бы я задумался хоть на мгновение, я не принял бы его предложения совершить короткую прогулку за город на автомобиле. Ведь достаточно самому маленькому приступу кашля — а он подвержен приступам настоящего удушья, в чем я уже убедился — и даже легкому покашливанию внезапно сотрясти его тело и привести к незначительному сдвигу руля, как нас бросит прямо на огромный бензовоз, мчащийся навстречу. Почему именно бензовоз — не знаю, но в воображении я уже представлял себе огромный бензовоз фирмы "Паз", который, фырча и пыхтя, приближается к нам, влекомый мощью всех своих двухсот лошадиных сил, и уже видел ужасное столкновение, взрывы, огонь и клубы дыма. Но вместо того, чтобы сделать то, что подсказывала простая логика, то есть вежливо извиниться и вылезти из ма-

шины под подходящим предлогом — ах! я вдруг вспомнил, что забыл дома нужную мне книгу, — я продолжал сидеть в какой-то безвольной расслабленности, с притупившимся чувством самосохранения и, охваченный непонятным равнодушием, отдал себя на произвол слепой случайности; во мне осталось только слегка щекочущее ожидание, как у зрителя, жаждущего узнать, чем окончится представление, в котором сам он не принимает никакого участия.

Но на этот раз это не был приступ кашля, он только отхаркал мокроту, что заняло немного времени, и снова завел мотор, продолжая бормотать про себя имя Генриетты. "Генриетта, да, эта Генриетта", — и его тихий смех снова прорезал дугообразные борозды около впалого рта и вокруг покрасневших глаз, блестевших за стеклами очков. Очки оказались запотевшими, и ему пришлось снова выключить мотор. Он вытащил из другого кармана второй платок, совершенно чистый и хорошо выглаженный, и протер им линзы очков, продолжая рассказ о том, что было у него с Генриеттой. Эту историю с Генриеттой он рассказывал, словно посторонний, как будто не с ним все это произошло и не он тот самый человек, который любил Генриетту. Генриетта была и осталась единственной дочерью старого льва, Теодора Ван-Эккерна, знаменитого банкира. Между прочим, она еще жива, так же как и ее отец, этот старый лев, которому наверняка уже исполнилось девяносто, если не больше. После окончания с отличием курса обучения доктор Шошан по рекомендации своего профессора был назначен руководителем общины в Амерспорте, где в течение короткого времени прославился своими прекрасными проповедями, которые читал в церкви каждое воскресенье. Нет ничего удивительного в том, что по содержанию, широте охвата, глубине про-

никновения в суть излагаемого и эрудиции они превосходили все, что доводилось слышать амерспортцам до тех пор, ведь, как известно, до его приезда этот городок не удостоился пастыря высокого класса. "Но что, конечно, поразит тебя, — сказал доктор Шошан и покраснел, — так это то, что в те дни я обладал красивым и приятным для слуха голосом. Тебе, конечно, трудно представить, что у этого охрипшего старика, кашляющего и задыхающегося..." Может быть, мне следовало признаться, что я не только представляю, но даже помню его голос еще со времен, предшествовавших амерспортским проповедям, но я ничего не сказал, а только кивнул головой, может быть, потому, что чувствовал, что приятный голос библиотекаря из библиотеки "Бней-Брита" принадлежит миру моего детства больше, чем сидящему рядом со мной старику. И, кроме того, слушая его воспоминания о Генриетте, я чувствовал, что ему, в сущности, безразлично, что за человек сидит с ним рядом и какие мысли и представления его занимают.

Эти замечательные проповеди, произносимые приятным голосом, стали причиной того, что он удостоился самой большой чести, которую мог оказать человеку городок — чести быть приглашенным на званый вечер, устраиваемый во время праздников или семейных торжеств старым светским львом Теодором Ван-Эккерном, который, благодаря силе своего богатства и личному обаянию, фактически властвовал во всем городке и в его окрестностях — от пригорода Сусет до деревни Спакенбург. Короче говоря, с того званого вечера, когда он впервые увидел Генриетту, сердце его поразила любовь с первого взгляда, так же, как сердце Генриетты возгорелось любовью к нему с первой произнесенной им проповеди, то есть еще до того, как он сам узнал о сущест-

вовании девушки. Эту тайну, наполнившую его душу самым большим изведанным им за всю его жизнь счастьем, открыла ему Генриетта через несколько месяцев после того, как они объяснились, накануне того рокового дня, когда они решили открыться родителям и просить их благословения на брак. Старый лев и львица, его жена, ожидали этого дня с неменьшим нетерпением, и все бы кончилось наилучшим образом, если бы не маленькая неувязка, предрассудок, из-за которого переговоры о браке сделались попросту невозможными. Из-за странного его акцента родители не знали точно, какого происхождения этот молодой служитель религии. Старик был уверен, что он прибыл из Германии, точнее, из Пруссии, то есть из Берлина, а мать заключила, что он француз, уроженец Парижа. Когда он сообщил им, что родился не в Париже и не в Берлине, а в самом Иерусалиме, недалеко от места, где происходила Тайная вечеря, и что он не относится ни к прусскому, ни к французскому народу, а является сыном народа Иисуса, всех как громом поразило, все страшно перепугались, а старуха была до того потрясена, что у нее чуть не случился разрыв сердца. Может быть, старик, совершенно презиравший мнение общества, и без того находившегося под его властью, этот старый лев, независимый и бесстрашный, в конце концов и согласился бы, но его жена ни за что не была готова принять этот ужасный позор. "Не быть Генриетте женой еврея!" — вынесла она свой окончательный приговор, и каждый раз во время начавшихся с тех пор перепалок молодой священник чувствовал на себе ненавидящие взгляды старухи, и ему казалось, будто он сам, своими руками, втыкал гвозди в тело Иисуса и прибавал его к кресту. Старик погрузился в гнетущее, непонятное молчание, старуха грозила покончить с собой, чтобы только

перешагнув через ее труп, могли они сыграть эту позорную свадьбу, а глаза Генриетты постоянно были мокрыми от слез. Словно нежный оранжерейный цветок была эта Генриетта, всю жизнь она росла и расцветала, надежно согрета теплом и любовью семьи, и всеми своими поступками только и хотела угодить родителям. Невыносимо тяжела была для нее мысль, что, осуществив свое сердечное желание, она не только не принесет радости своей семье, но, наоборот, разрушит ее, а может быть даже станет причиной смерти матери. Доктор Шошан, который истинно любил ее и желал ей благополучия, развязал этот запутанный узел как христианин, милосердный и полный сострадания: он исчез из того городка и из жизни Генриетты, а последнее письмо, в котором объяснял свое решение, передал через ее подругу Паулу, на которой годом позже женился. Это была та самая Паула, его нынешняя жена, которая только что отменила ежедневный урок по Священному писанию из-за приглашения своей богатой подруги на вечернюю чашку чая, и все из-за своей платонической любви к богатым. Этой платонической любви, как он уже говорил мне, он давно перестал удивляться. И вообще, если всерьез подумать о любви, обнаружится, что быть платонической свойственно ей уже по самой ее природе, и изречение мудрецов Талмуда⁹², благословенна их память, о всякой заповеди можно применить и к ней: вознаграждение любви — в любви, и наказание за любовь в ней самой, и в этом мире всегда наказание за любовь больше, чем вознаграждение, и каково наказание любящего в этом мире, таково его вознаграждение в мире грядущем. Нет, не платоническая любовь этой женщины, его жены то есть, удивляла его. Его поражало, что день ото дня его жена все больше и больше начинает походить на мать Генриетты.

Иногда, пробуждаясь ночью от чуткого сна и обводя спальню взглядом, он вдруг видит лицо Паулы в свете ночника, и оно странным образом напоминает ему амерспортские дни и дом старого льва. Ночью того дня, когда он увидел на своем почтовом ящике мое имя, ибо ошибся адресом, — ошибка, послужившая причиной возобновления нашего знакомства, — ночью, в тот момент, когда он взобрался на кровать и начал устраиваться поудобнее, так как чувствовал приятную усталость и надеялся более или менее крепко заснуть, его взгляд упал на спящую жену, и сердце вдруг забилося в непонятном испуге, можно даже сказать, в ужасном страхе, который нападает на нас при виде чего-то потустороннего. Рядом с ним лежала не Паула, а мать Генриетты. И если ему возразить, что всякое может привидеться ночью при неверном свете керосиновой лампы, то ведь и в яркий полдень лицо Паулы словно стремится уподобиться лицу матери Генриетты, но при солнечном свете это сходство его так не пугает.

Интересно, что он не помнит имени этой старухи; имя ее мужа помнит прекрасно — Теодор, как у пророка сионизма, и, естественно, помнит имя ее дочери Генриетты, но вот имя старухи забылось, начисто стерлось из его памяти. Имя стерлось, но не память, и не раз случалось, что воспоминания о ней были намного яснее, острее и живее, чем воспоминания о Генриетте. Он помнит не только каждую черту ее лица, но и особенности ее походки, и мелодию ее речи. Надо сказать, что голос этой злой старухи был приятен для уха, нежен и прозрачен и полон нюансов, и здесь кончается ее сходство с Паулой. О его жене можно сказать, что голос ее — голос Паулы, а лицо — лицо матери Генриетты. И вот этим-то красивым голосом, пленявшим сердца, старуха грозила дочери, что покончит с собой. Да, что касается этих

угроз, то на него они не производили никакого впечатления, но поскольку из своего опыта он знал, как тяжелы они для души, к которой адресованы, и что эту тяжесть невозможно снять ни вразумительными речами, ни логическими доводами, то он даже и не пытался успокоить Генриетту и доказать ей, что ее мать никогда не наложит на себя руки и ее угрозы только средство давления, шантаж самого низкого пошиба. Вкус угнетения души и удручения сердца помнит он еще с тех дней, когда его мать использовала подобный метод против него, после того как она узнала, что он хочет изменить вероисповедание, потому что открылась ему истина Мессии — царя Иудейского, но, видно, такова его судьба, что правдой своей веры и своей любовью он заставляет матерей превращаться в шантажисток, вымогающих желаемое угрозой самоубийства. Более основательным человеком, чем мать, была его сестра, которая не преследовала его речами, не удручала его сердца опасными предупреждениями и не подавляла его душу угрозами, а просто запустила ему в голову горячим утюгом. Его сестра была националистка-ревизионистка, из учеников Владимира Жаботинского⁹³. Она стояла и гладила свою сине-коричневую форму в тот момент, когда он зашел, чтобы побеседовать на религиозные темы, которые всегда нагоняли на нее скуку, потому что она была атеисткой и верила только в национальное возрождение. Как только он изложил ей свои заветные мысли и основы своей новой веры, наполнявшей его расцветшее сердце, в котором эта вера пустила корни, ее лицо побледнело, и она так и застыла, по-прежнему прижимая утюг к коричневой кофточке, пока дым от спаленной материи не начал подниматься вверх. "Предатель! — вырвалось из глубины ее души. — Ты предаешь свой народ!" И с этими словами она подняла утюг,

ощетинившийся клочками сгоревшей кофточки, и запустила им в него. Чудо было, что она не попала в него этим утюгом, который мог убить его на месте и тем самым превратить ее в убийцу. Когда он увидел, куда клонится дело, то есть что своей верой он может превратить сестру в убийцу, он встал и ушел, после чего покинул страну и *спустился в Египет*⁹⁴; и там он крестился.

Когда рассказ его дошел до момента крещения, бедняга был уже весь покрыт потом от двойных усилий: во-первых, беседа доставалась ему с трудом, несмотря на то, что приступы удушья отпустили его, да и вести машину было непросто, ибо в этом деле он не обнаружил особого умения. Искусства говорить и вести машину соединялись в нем, в докторе Шошане, при нашей короткой прогулке за город, подобно двум людям, старику и ребенку, что взявшись за руки идут по дороге: один шатается от старости и болезней, а другой спотыкается и падает от того, что только недавно научился ходить, и его члены еще не вполне освоили этот процесс. В разговоре в конце концов он вышел на прямую дорогу, но что касается вождения, то, поскольку все действия, с этим связанные, были для него еще в новинку и его члены еще не привыкли осуществлять их автоматически, то его машина передвигалась по дороге в Эйн-Керем без всякой связи с ритмом движения других машин и пешеходов, то останавливаясь с угрожающим скрипом, то снова бросаясь вперед торопливым испуганным рывком, наводящим страх на всех водителей спереди и сзади, слева и справа, и особенно — на пешеходов. Дважды во время таких диких бросков он чуть было не задавил насмерть сначала ребенка, а потом женщину, толкавшую перед собой коляску с младенцем, и оба раза, когда он останавливал машину, скрежетали не только тормоза, но и его зубы — от злости, с ко-

торой он обрушился на этих двоих, своим преступным передвижением чуть не превративших его в убийцу. Ему даже не приходило в голову признать, что что-то не совсем в порядке с ним самим, что он водит как новичок, знания которого в этом деле вовсе недостаточны, — и все потому, что знание вообще обладало для него чрезвычайно притягательной силой; так же, как невежда и профан был в его глазах достоин осуждения больше, чем любой другой человек, так не было в его устах более достойной похвалы, чем сказать о ком-то, что тот много знает и во всем разбирается. Не раз удивляла и поражала меня в этом человеке еще одна черта: вся жизнь его находилась под знаком веры — он потерял веру своего детства и своих отцов и усвоил веру врагов своего детства и врагов своих отцов и отцов своих отцов, и он не только не упоминал о вере в разговоре, но даже и в церкви, куда я сопровождал его в воскресенье, по прошествии недели после того, как я рисковал своей жизнью в той чреватой опасностями для меня и для всех пешеходов автомобильной прогулке, даже в церкви он не старался казаться чрезмерно богобоязненным: не закатывал глаза кверху в порыве благочестия и не приглушал с трепетом шагов, ступая по дому своего Бога, но крестился и кланялся с решительной поспешностью и сухой деловитостью, как человек, совершающий привычные действия, необходимые для достижения цели, но уже не привлекающие его внимания, ибо он перестал думать о них, словно тот, кто, желая ехать в автобусе куда ему надо, торопится к кассе, протягивает деньги, получает билет и сдачу, стоит в соответствующей очереди, протягивает билет для компостирования — и все это ничуть не задумываясь, потому что эти действия сами по себе не имеют никакого значения и производятся только для того, чтобы дать ему

возможность войти в автобус и поехать в нужном направлении. Так и доктор Шошан в церкви: вовремя крестился, вовремя становился на колени, и кланялся, и бормотал, как мог, молитву, в то время как весь народ возвышал голос в пении псалма: "Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою..."⁹⁵, — и так далее, но, в отличие от примера с пассажиром автобуса, который пришел мне в голову, доктор Шошан, деловито закончив покупку билета, не уселся, чтобы совершить путешествие вглубь своей души и устремиться к вершинам святости, как его собратья по вере слева и справа, которые очищались беспорочностью своего Мессии — кто склонив голову и прикрыв с христианским смирением глаза, кто стоя молча и неподвижно, что наводило на мысль о вдохновении в армейском стиле, — но с бросающимся в глаза нетерпением начал озираться кругом, как бы измеряя степень тупости и невежества, что скрыты под праздничными одеяниями прихожан. И в тех редких случаях, когда он касался в беседе основ своей веры, скажем, Святой троицы или преданности Иисусу-мессии, ни в его поведении, ни в словах не было даже намека на что-то личное, на субъективное переживание или религиозный восторг. Он придерживался как бы научного стиля в своих высказываниях.

Правда, однажды, один только раз, доктор Шошан сказал мне нечто, что потрясло меня не меньше, чем если бы внезапно приотворилась дверь непроницаемой каменной ограды и за ней на одно мгновение обнажилась бы некая бездна, о существовании которой никто и не подозревал и которую, пожалуй, можно было бы назвать верой. Это случилось во время моего визита к нему, когда я пришел вернуть книгу с биографией

Кальвина. Я извинился, что не смогу перевести ее на иврит, на что он ответил с мягкой улыбкой: "Да, да, в своем завещании я уже отдал распоряжение жене, чтобы она написала на моем надгробии следующие слова: "Здесь похоронен Израиль Шошан, сын Ривки, до воскресения из мертвых", — и больше ничего. Я завещал написать их, конечно, на иврите. Ведь на иврите сказал Иисус-мессия: "Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?"⁹⁶ Так же и я, да, так же и я..." Душащий кашель прервал его, и только когда ему стало легче, когда он сплюнул кровь в подставленную миску, он закончил предложение, сказав: "Так же и я, иврит был моим языком при жизни и будет моим языком, когда я восстану при воскресении из мертвых". Та, чья рука подала ему миску, не поняла его слов, потому что на иврите не говорила совсем, но из жалости и доброты улыбнулась ему, когда он объявил, что будет продолжать говорить на иврите и после своей смерти и воскресения. Это была монахиня — сестра милосердия из какой-то северной страны, которая приехала, чтобы ухаживать за ним, когда его состояние ухудшилось. Паулу, его жену, я не видел, может быть, потому, что в тот момент ее позвали пить чай к богатой подруге, госпоже Гертель, но было видно, что ее отсутствие не мешает больному, так как сестра-монахиня действовала и делала что-то непрерывно, хотя и старалась, как могла, стусеваться и быть как можно незаметнее, чтобы не докучать ни больному, ни его посетителю; она опоражнивала миску и возвращала ее на место, накрыв начищенной алюминиевой крышкой, смешивала в склянке различные ухогорло-носовые капли, снова и снова поправляла подушку под его головой, вытирала с мебели пыль и придавала и комнате, и больному нормальный и бодрый, насколько это было возможно, вид, в со-

ответствии с представлениями о здоровье и культуре, которые требуют прятать от глаз то брэнное, во что одета душа в нашем материальном мире, — плоть и кровь, — плоть и кровь доктора Шошана, одетого, как полагается, в пижаму и домашний халат, чистые и отутюженные, без единого пятнышка.

Комната, в которой доктор Шошан сплевывал в миску остатки своего единственного легкого, свою плоть и кровь, которые превратились в его врагов с того момента, как перестали служить вместилищем жизни, и которые в полном соответствии с законами материального мира должны были изгнать его душу из этого мира всего через неделю, эта комната во всех своих деталях была совершенно современной комнатой, обставленной совершенно современной мебелью, и можно было не опасаться, что она произведет на меня особое впечатление или оставит глубокий след в моей памяти, и, действительно, подробности ее обстановки забыты мною абсолютно, как чужие номера телефонов, которые не имеют отношения к какому-либо знакомому и в которых отразился только произвол того, кто установил их при назначении номеров телефонной сети. Из всех вещей, бывших в этой комнате, я помню только картину, висевшую над кроватью больного, и две книги, лежавшие на его столе. Эти вещи я запомнил скорее потому, что они отражали личный вкус доктора Шошана и его занятия в конце жизни, а не из-за их контраста с современной обстановкой. На картине был нарисован еврей, сидящий за изучением Гемары, а на столе, около Библии, от которой веяло христианским духом из-за золотого крестика, отпечатанного на ее черной обложке (хотя во всей комнате не было ни крестов, ни икон, ни изображений христианских святых, как и подобает обиталищу протестанта, правоверного

из правоверных), лежал большой фолиант, один из трактатов Виленского Талмуда⁹⁷, кажется, это был трактат "Санхедрин". Над Библией, которая включала в себя, конечно, и Новый завет, он работал, а Гемара служила ему тем, что в наше время называется хобби, то есть ею он занимался в свободное время, остававшееся у него после работы в церкви и за ее пределами, в больнице для прокаженных и в любом другом месте, где он трудился над воспитанием душ и обращением их в свою новую веру. Из его слов я понял, что если бы он любил играть в бридж или покер или увлекался бы шахматами, то не нуждался бы в Талмуде, но поскольку все эти игры вызывали в нем скуку, не меньшую, чем решение кроссвордов или чтение романов, оказалось, что страницы Гемары играли в его жизни ту же роль, какую в жизни других людей играют все эти развлечения: книги, театральные представления и кинокартины. Самое большое удовольствие доставляет ему повторение текста Гемары, который он читает нараспев, как в дни юности, когда учился в иешиве, но из-за боли в горле, что донимает его в последние годы, он вынужден прочитывать свою ежедневную страницу мысленно, так сказать, в душе, беззвучно шевеля губами, однако внутренним слухом он слышит мелодию своего голоса такой, какой она была в те далекие дни.

Но если книга, над которой трудился доктор Шошан, выглядела чистой и блестящей, предмет его увлечения выглядел выцветшим и старым и издавал запах плесени, так что возникала мысль, что он успел послужить не только ему, но и его деду, когда тот был еще совсем молодым человеком.

"Красивая картина, а!" — просипел доктор Шошан, увидев, что я перевел взгляд с Гемары, лежащей на столе, на еврея, склонившегося над на-

рисованной Гемарой, и его морщинистое лицо расплылось на мгновение в улыбке от предвкушаемого им моего восхищения, которое, конечно же, проснется во мне при виде его любимой картины.

Есть картины, на которых цари непременно изображаются с царским жезлом в руке и обязательно в короне, будто зритель может усомниться в том, что это истинные цари, или в том, что они правят, как подобает царям; так и еврей на картине доктора Шошана учил Гемару, завернувшись в таллит⁹⁸ и водрузив на голову субботний штреймл⁹⁹; был он весь окружен каким-то ореолом романтической слащавости, урчащей и пузырящейся, как икота или отрыжка, которые понимаются из переполненного яствами желудка. Не знаю имени того художника, но копии его картин, на которых в том же стиле изображены синагоги и еврейские свадьбы, знакомы мне по квартирам определенных людей — выходцев из Германии, а иногда и из Восточной Европы, — где они своеобразно сочетаются с запахом кушаний, тяжелых для пищеварения, и вместе с ними являются верным индикатором вкуса этих людей.

Если бы, например, доктор Шошан вдруг вытащил из кармана своего домашнего халата петушка на палочке и начал сосать его с демонстративным удовольствием, признаваясь, что нет на свете деликатеса, который бы он любил больше, чем этот расплавленный сахар, красноватый и липкий, один вид которого вызывает во мне отвращение, такое признание не удивило бы меня сильнее, чем открытие, что в живописи вкус этого еврея-священника похож на вкус упомянутых выше торговцев, и не потому, что я считаю, что существует какая-то связь между способностью человека мыслить и его вкусом, и не потому, что мне казалось, что изображение истязаемого христианского святого, увенчанного нимбом, больше подо-

шло бы к его комнате (ведь и этот мученик, и слащавый талмудист вышли из одной мастерской, а если и из разных, то весьма похожих). Я удивлялся тому, что весь жизненный опыт доктора Шошана, все превратности и кризисы, постигшие его, его смелая, необыкновенная революционность не отразились на его художественном вкусе, который остался таким же, каким был в дни его детства, когда он учился в маленькой иешиве рабби Авремеле в Старом городе, и сердце его тянулось за рассыпчатой сладкой массой, похожей на розовую вату, которая по-арабски называется "саарэль-бнат", то есть "девчоночьи волосы". В чертах лица доктора Шошана, испещренного морщинами и высохшего, появилось какое-то детское выражение, когда он посмотрел на картину и начал рассказывать мне о перипетиях ее странствований из городка Амерспорта в Иерусалим. В первый раз он заметил ее, когда подъезжал на поезде к Амерспорту, повторяя про себя основные положения своей первой проповеди. Когда поезд остановился и он поднялся со своего сидения, выпрямился и протянул руку к полке, чтобы снять чемодан, за пыльным стеклом вагонного окна его взору предстала эта картина, выставленная в витрине магазина подержанных вещей на углу переулка, отходящего от ворот железнодорожной станции. Во все время своего пребывания в Амерспорте он не думал об этой картине, и только когда окончательно решил расстаться с Генриеттой и навсегда покинуть этот городок, он вспомнил о ней и думал о ней всю дорогу к железнодорожной станции, и спрашивал себя, возможно ли, что она до сих пор не продана. Подъехав к станции, он повернул голову налево, в сторону переулка, и увидел картину на том же месте, где она была, когда он заметил ее в первый раз.

Он начал было рассказывать мне что-то о вла-

дельце магазина подержанных вещей, но лицо его вдруг помрачнело и утратило всякую детскость; сухие старческие морщины обозначились резче, весь он исказился злобой при звуке приближающихся шагов его жены Паулы, которая не замедлила войти, и все невысказанные слова так и застряли у него в горле. Он замолк.

Я думал, что больше никогда не услышу о странствованиях картины, ибо в припадке бессильного гнева, который охватил его при виде жены, он почти не заметил, как я вышел, и не ответил на мое прощание; во мне даже возникло смутное опасение, что достаточно еще одного такого приступа удушья, и, может быть, в эту самую ночь его душа покинет тело. Но на завтра он уже сидел, одетый в домашний халат, на балконе своего дома и, спокойно улыбнувшись, сделал мне знак, чтобы я зашел к нему. Он ясно и точно помнил место, на котором прервал накануне свой рассказ, и именно с этого места, то есть с магазина подержанных вещей, продолжал рассказывать мне обо всех перипетиях, происходивших с картиной. Владелец магазина, к его удивлению, не был евреем; он оказался одним из преданных прихожан, не пропустившим ни одной его проповеди, и, желая облегчить ему заботу о доставке картины, настоял на том, что пошлет ее со страховкой и гарантией в любое место, куда прикажет ему уважаемый господин пастырь.

Куда же были обращены стопы юного господина пастыря, которому пришлось оставить невинную овечку Генриетту и вместе с ней вверенное ему стадо до окончания установленного срока службы? Его стопы были обращены к Франции, в город Нойон — родину Жана Кальвина. Он должен был пробыть там до отправки священников на места службы согласно новому распределению. Его учитель и наставник, который в будущем стал его

тестем, отец Паулы, уполномочил его поехать туда и внести свою скромную лепту в проведение съезда кальвинистов, который должен был состояться в тот год в городе, где родился Кальвин. Его скромный вклад в это событие включал, кроме участия в прениях и в голосовании, также одну проповедь о том, как Кальвин объяснял значение Тайной вечери, и подготовка этой проповеди высосала, можно сказать, из него все соки. Сначала он думал, что проповедь его совершенно закончена и ему недостает только внимательных ушей, но с приближением дня проповеди он начал понимать, насколько не готов к ней. Он даже вынужден был пропустить часть обсуждений и заседаний, чтобы собрать недостающий материал. Вечером, в день накануне проповеди о Тайной вечере, когда он ходил взад-вперед по комнате, от стола к окну и обратно, думая о вещах, которые не увязывались как следует, он увидел в окне грузовик известной фирмы перевозок "Кальберсон", остановившийся у его гостиницы — "Гостиницы гугенотов"¹⁰⁰.

Название фирмы, большими желтыми буквами напечатанное на кузове грузовика, повторялось также на спине синего комбинезона и на козырьке форменной кепки рабочего, который нес свою ношу от грузовика ко входу гостиницы. Почему-то не сама ноша, которая не производила впечатления слишком тяжелой, но именно название фирмы, отпечатанное огромными буквами во всю ширину спины рабочего, напомнило доктору Шошану о Христе, несшем на спине свой крест, и пробудило в нем странную мысль, что немного найдется в наше время людей, у которых на спинах название креста, который им выпало нести, оттиснуто яркими буквами.

Если бы этот рабочий, несущий этот современный крест, отпечатанный на его спине, зашел к нему в комнату, доктор Шошан развернул бы

перед ним основные положения своей проповеди о толковании Кальвином Тайной вечери, которую он собирался произнести завтра, и проверил бы по его реакции, может ли она, проповедь, проникнуть в человеческое сердце. Но то была глупая мысль, ведь речь шла не о популярной проповеди, а о профессиональной лекции на самом высоком уровне, предназначенной для весьма ученых специалистов и посвященной тонкостям в понимании различий между трансубстанцией, консубстанцией и виритуализмом — различными подходами к святой евхаристии¹⁰¹, прообразом которой была Тайная вечеря. Эти глупые мысли свидетельствовали лишь о его растерянности, совершенно неуместной накануне чтения проповеди, но нет никакой опасности, что они осуществятся, так как не ему несут носильщики посылки, а ему носильщики посылки не несут, потому что во всем мире не сыскать человека, желающего послать ему хоть что-нибудь. И поэтому он опустил жалюзи и продолжал шагать от стола к окну, отгороженному теперь от происходящих во внешнем мире событий, отвлекающих, рассеивающих и путающих его мысли, а от него — снова к столу, и в процессе этого хождения его прерванные размышления и рассеянные мысли стали снова сосредоточиваться на одной точке. И когда он уже почти восстановил нить прежних своих рассуждений, послышался стук в дверь, и на пороге возник носильщик с начертанным на спине современным крестом и с ношей в руках — той самой картиной, которую сей пастырь купил в магазине напротив железнодорожной станции, когда он покидал город Амерспорт, картиной, которая сейчас висит над изголовьем его кровати. Стоило ему взглянуть в очертания пакета, который был в руках носильщика, как он понял, что это его картина, и начал торопливо шарить в карманах брюк, чтобы дать

ему, этому человеку, немного на чай, как принято во Франции, но когда он приблизился и заглянул носильщику в лицо, настроение у него испортилось. Из-под козырька смотрело на него лицо друга его юности, Габриэля Лурия, и когда тот начал говорить, и ему, доктору Шошану, стало ясно, что это вовсе не носильщик-француз с лицом Габриэля Лурия, а сам Габриэль Лурия в форме французского носильщика, его охватил внезапный страх за этот мир, такой хрупкий, весь сотканный из мелочей, из ничего. Страх, однако, рассеялся при первой же улыбке Габриэля, а когда доктор Шошан узнал, какая цепь случайностей свела их вместе в одной комнате, и углубился в беседу с Габриэлем о Тайной вечере, он совсем позабыл о своем испуге, словно его и не было, но с тех пор по временам его сердце вдруг сжимается как бы эхом того страха: например, когда под утро он просыпается и видит рядом спящую Паулу, свою жену, и лицо ее — копия лица матери Генриетты.

Странные и совсем не очевидные слова сказал ему тогда Габриэль о Тайной вечере. Что тот сказал? Это он расскажет мне при следующей встрече. Я обещал навестить его во вторник на следующей неделе, но в тот день объявили о внезапной учебной мобилизации нашего полка, который был тогда боевым полком Иерусалимского округа. День клонился к вечеру, я сидел, опершись на ограду больницы, и смотрел на солнце, которое садилось за вершинами кипарисов и заливало протоптанную вдоль ограды дорожку оранжевым сиянием, и в этом зареве растаял черный силуэт врача, вышедшего из ворот больницы и удалявшегося по направлению к шоссе. Я вспомнил такой же закат в том же месте во время моего предыдущего призыва на сборы, но на этот раз не произошло никакого выпадения из обычного, ничем не примечательного бега времени. Сидевший рядом спе-

циалист по статистике спросил меня, помню ли я христианского священника-еврея, который вышел из ворот этой ограды в один из дней нашей предыдущей мобилизации. "Конечно", — ответил я и добавил, что если бы не внезапная мобилизация, я зашел бы к нему сегодня, потому что он болен. Мой собеседник улыбнулся и сказал, что так или иначе мне не удалось бы сегодня его проведать, так как он умер вечером в прошлую пятницу, с наступлением субботы. Он узнал об этом от госпожи Гертель, близкой подруги Паулы, вдовы доктора Шошана.

С Паулой говорил я, в сущности, только один раз, уже после того, как она стала вдовой. Я спросил ее о месте погребения ее покойного мужа. Его похоронили на протестантском кладбище, что на улице Эмек-Рефаим, и я отправился туда навестить его могилу. Только на кладбищенской аллее, среди надгробий и надписей, выгравированных на разных языках, я вспомнил об обещании доктора Шошана говорить на иврите и после того, как он восстанет из мертвых, и о его желании, чтобы надпись на его надгробии была сделана на иврите и содержала следующие слова: "Здесь похоронен Израиль Шошан, сын Ривки, до воскресения из мертвых". Я спешил увидеть, как выглядит еврейское надгробие, необычное само по себе и тем более странное, чужое и неприкаянное со своими ивритскими буквами, если со всех сторон окружают его надписи, сделанные буквами иного алфавита. Когда я приблизился к нужной могиле, сердце мое упало. Я понял, что допущена страшная ошибка: не ивритскими буквами было вырезано на камне его имя, а латинскими, в их английском варианте, и никакого упоминания о воскресении из мертвых не нашел я там, пусть даже по-английски. Сначала я спешил к памятнику, а потом торопился покинуть его поскорее, чтобы

сообщить ей, Пауле, об ошибке мастера, делавшего надгробие, и только тогда, когда я подошел к воротам кладбища и остановился перед уличной толпой, мне стало ясно, что нет никакой необходимости спешить, что у него, у надгробия доктора Шошана, сына Ривки, есть достаточно времени, даже более чем достаточно, чтобы быть исправленным до воскресения из мертвых. И все-таки с тех пор, как я остановился тогда в воротах кладбища, время от времени я чувствовал гнет лежащего на мне долга поговорить с Паулой об ошибке, долга, который вместо того, чтобы выполнить, я откладывал со дня на день, с недели на неделю, и так это тянулось месяца два или три, пока я попросту случайно не столкнулся с Паулой. Она шла не одна, а в сопровождении какого-то господина, на руке которого она висела всей тяжестью верхней части своего массивного тела и с которым вела беседу сердечно и с воодушевлением, чего я не замечал за ней прежде. Первым моим побуждением было поспешить ей навстречу, но вместе с тем у меня возникла мысль, что не очень-то вежливо поднимать сейчас вопрос о надписи на надгробии, ибо это дело личное и интимное, не предназначенное для обсуждения посторонними, и эта мысль, коль скоро она возникла, пробудила во мне сомнение в том, была ли вообще какая-нибудь путаница. Может быть, ошибся не мастер, делавший памятник, а она сама? Но взгляд, который она бросила на своего спутника, разрешил все мои сомнения. Этот взгляд убедил меня, что все, сделанное ею, было сделано с ясным сознанием и что она сама давала указания и зорко следила за мастером, делавшим надгробие, чтобы он ничего не напутал.

Хрупкость этого мира, сотканного из мелочей, из пустяков, мира, лопающегося как пузырь и снова возникающего из хаоса и сумятицы в виде

скачущего пузыря, открылась мне, когда я собственными ушами услышал голос доктора Шошана приблизительно через три месяца после его смерти, несколько дней спустя после того, как взгляд, которым его вдова одарила своего спутника, освободил меня от гнета сознания своей обязанности сообщить ей о путанице в надписи на надгробии, которое она распорядилась поставить на могиле своего мужа. Его голос, который как бы поднялся из глубин моего детства, я услышал не темной ночью в закрытой и отгороженной от мира комнате, а в полдень и на людном перекрестке. По дороге домой я увидел сына статистика, того самого мальчика со скрипкой подмышкой, который сказал тогда своему другу: "Видишь, это миссионер", — и вот этот мальчик залез в машину своего отца, желая показать тому же своему приятелю новый радиоприемник, установленный в ней, и, когда он стал нажимать на кнопки, из репродуктора вдруг раздался чистый и нежный голос библиотекаря из моего детства, который объявил: "Говорит Голос Доброй надежды из Монте-Карло, слушайте слова спасения", — и начал ежедневный урок о значении выражения "раб Божий" в Библии. Радиостанция, передающая на весь мир беседу о спасении души из Монте-Карло, из здания, находящегося рядом с казино, выбрала в тот день для повторной передачи одну из первых проповедей, некогда прочитанных на иврите недавно умершим миссионером, и мальчик со скрипкой, который видел этого миссионера только в последние годы его жизни, не узнал его. Он не узнал его даже после того, как я подошел к нему и спросил, кто это, и сказал ему, что он знал обладателя этого голоса, жившего на нашей улице, и что после смерти голос его продолжает звучать так, как звучал при жизни, давно, до того, как тяжкая болезнь поразила легкие и горло этого

человека. Он поднял на меня свои большие глаза, удивленные глаза ребенка, и я стал рассказывать ему, что этот голос принадлежал умершему недавно миссионеру и что я знаком с ним с тех давних времен, когда я сам был ребенком, а он был библиотекарем. И было еще что-то во взгляде мальчика со скрипкой, отчего вместе с ощущением хрупкости нашего мира, этого скачущего пузыря, где-то глубоко-глубоко во мне окрепло иное чувство — и не как противоречие первому, а как его завершение, — чувство, что, несмотря ни на что, мир продолжает существовать в смене всех этих пузырей: старых, которые уже лопнули, и новых, которые еще не родились, а только должны возникнуть — чувство, что я вижу, как переливаются эти скачущие, блуждающие огоньки. Мальчик посмотрел на меня, будто увидел впервые в жизни, и его взгляд всколыхнул во мне воспоминание о том, как я впервые увидел Габриэля Ионатана Лурия в тот знаменательный день, когда я удостоился лицезреть совсем близко, на другой стороне улицы, Царя царей, избранника Божьего, Льва Иудеи, Хайле-Селассие — императора Абиссинии — в разгаре лета 1936 года по христианскому летоисчислению.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

До того самого дня, как я собственными глазами увидел Габриэля Лурия, я слышал только о его огромной физической силе — от маленького библиотекаря, о его "восточных фантазиях" — от его матери и от аптекаря и о его душе идолопоклонника — от лавочника реб Ицхока, поэтому моему воображению он рисовался похожим на турка, продавца ковров, — силача с огромными усами, под которыми не видно губ, с блестящими глазами, которые выглядывают из-под черной меховой шапки и смотрят на все вокруг, словно озираясь и не понимая; когда он снимает свою черную меховую шапку, на вас невольно веет каким-то нездешним ужасом при виде обнажившейся вдруг головы, выбритой до блеска, как у старого бека. Об этом турке говорили, будто некогда он был танцующим дервишем и колдуном, и когда он стучал в дверь тюком персидских ковров, которые он играючи нес на своем плече, несмотря на их превеликую тяжесть, многие хозяйки в страхе спешили запереть перед ним двери, однако некоторые покупали у него с радостью, но не ковры, а добрые советы и колдовские рецепты; не помнится мне, чтобы хоть одна хозяйка купила у него хоть один маленький ковер.

Поэтому, когда я отвел глаза от эфиопского консульства и увидел Габриэля Лурия, сидящего на плетеном стуле и смотрящего на меня, увлеченного необычным зрелищем, я безмерно удивился его внешности, которая совершенно не по-

ходила на образ, созданный моим воображением, — силача, вроде торгующего коврами турка. В своей белой шляпе, круглой, твердой и украшенной черной лентой, которую он называл "шляпа-панама", в синем пиджаке с золотыми пуговицами, в белых отутюженных брюках и с тростью с посеребренным набалдашником, он выглядел настоящим французским франтом, словно только что сошел с экрана одного из фильмов Мориса Шевалье и расположился на нашей террасе. И этот французский актер, раз уж он покинул свои черно-белые фильмы и появился здесь во всем своем блеске и великолепии, не только обрел цвет, но и принес с собой запахи, в которых можно было различить запах его тела, дух английских сигар и аромат французского одеколона, употребляемого после бритья, под названием "Мусташ", что значит "усы". Да, даже усы были у него, квадратные, маленькие, словно черный кубик посреди лица с высокими скулами, особенно заметными вследствие общей худощавости его лица и квадратного подбородка; усы эти, по моде того сезона, были столь же необходимы в облике элегантного парижанина, сколь какой-нибудь камешек в мозаичном орнаменте, но когда изменилась мода в Париже, то в течение короткого времени исчезли и усы, и трость с посеребренным набалдашником, и белая шляпа-панама.

Не безнадежный фантазер, чья нездешняя душа перенеслась к нам с загадочного Востока, не страшный гость из мира идолов сидел на плетеном стуле, а человек положительный и благополучный, не чуждый удовольствиям, свободно ориентирующийся в свете, выполняющий требования моды легко и с очаровательным достоинством, которое изумило не только меня, но и его мать; ее изумление было даже больше моего, только первая вспышка радости быстро уступила место

горькой гневливости. Госпожа Лурия поднималась по ступеням лестницы, ведущей с улицы на террасу, ступая медленно и тяжело, и не потому, что была грузной — тело ее, даже постарев, оставалось достаточно тонким и легким, — а потому, что душа ее стала неряшлива и опустилась; итак, она тяжело взбиралась по лестнице, держа в руке буханку хлеба и пачку масла. Как только она увидела тщательно одетого господина, вальяжно расположившегося в плетеном кресле, по лицу ее пробежало выражение испуга, испуга от того, что незванный и знатный гость встретит ее в столь непрезентабельном виде, хотя в таком виде она пребывала теперь почти постоянно — с тех пор, как умер ее муж, старый бек. Но через мгновение ее лицо просияло, а глаза засветились радостью, которая, пробив оболочку замкнутости, сломила ее непроницаемость и отчужденность и почти вернула ей выражение той девичьей жизнерадостности, которое пленило когда-то сердце консула. Она обнимала, целовала и гладила сына, как будто он был не сорокалетним мужчиной, а четырехлетним ребенком, и называла его "Габи", "Габинька" и "Габилюля", как когда-то, когда она мурлыкала над ним, спеленутым, и баюкала его на руках. "Я уже и забыла, какой ты красивый, — говорила она ему, — ты красив, как итальянец". На одном из приемов, которые давал в своем доме Иехуда Проспер-бек после женитьбы на ней, появились два офицера с военного итальянского корабля, бросившего якорь в яффском порту, и с тех пор госпожа Лурия твердо полагала, что итальянцы — самые красивые мужчины на свете, хотя на том же приеме можно было видеть уродливое лицо итальянского консула, да и потом, на протяжении своей жизни, она не раз еще встречала итальянцев, например, врача Итальянского госпиталя и продавца антикварных вещей из мага-

зна, что на спуске их улицы, чья внешность как будто была предназначена для того, чтобы развеять это ее убеждение. Но, раз возникнув, оно прочно засело в ней, и с тех пор она произносила слова "красив, как итальянец" только по отношению к людям, вид которых пробуждал в ее душе прежнее волнение, или в те редкие моменты, когда она чувствовала беспредельную тоску, способную растопить даже самые тяжкие из упреков, которые она бросала в адрес мужа и которые он не смог смягчить даже своей смертью. В одно из таких добрых мгновений, редких у нее, она удостоила память старика этим лестным сравнением, сказав как-то Габриэлю: "Ты знаешь, отец твой в молодости был красив, как итальянец".

Габриэль откликнулся на ее радость всем сердцем и с большой теплотой, но по мере того, как к этой радости начала примешиваться ее чрезмерная и все возрастающая чувствительность, выразившаяся в объятиях и неумеренно ласковых словах, он стал все больше замыкаться в себе, нетерпеливо ожидая, когда это, наконец, кончится. Когда же она провозгласила: "Ну, разве теперь я не самая счастливая на свете!" — его раздражение вырвалось наружу, и на ее вопрос: "Что налить тебе сейчас, кофе или чай?" — он ответил: "Ничего. Не наливай мне ничего. Я сам себе налью".

"Ты не будешь наливать себе сам, я тебе налью, — неожиданно заупрямилась она, и ее нежный и звучный голос посуровел. — Во-первых, ты, наконец, смертельно устал с дороги — ведь ты только что из Парижа". Она приблизилась к нему и с тревожным беспокойством стала всматриваться в его лицо, как бы уверенная, что обнаружит на нем признаки тяжелой болезни, которую он от нее скрывает. "Ты ужасно бледен, — заявила она, — и эти черные круги вокруг глаз! Скажи мне правду,

ты страдаешь из-за чего-то? И почему это твои глаза так красны? Это, конечно, от непрерывного курения! Почитай-ка, что пишут каждую неделю в медицинском приложении к газете "Доар хайом" о вреде курения: ведь курение — причина всех болезней на свете, болезней сердца и легких, болезней желудка и печени и всех злокачественных опухолей, сохрани Бог! Выкинь ты эту сигару, мне нехорошо от нее. Не во всем ты должен подражать своему отцу. Тот целыми днями курил и пил турецкий кофе, пил турецкий кофе и курил, а я все умоляла его, чтобы он перестал отравлять себя, но старик никогда не соглашался отказать себе в удовольствии, он готов был травить себя курением и кофе, лишь бы не лишиться себя удовольствий, пока эти удовольствия в конце концов не лишили его жизни. Если бы он не курил и не пил столько кофе, не случился бы с ним удар, от которого он умер. А ты — как я могу разрешить тебе самому налить стакан кофе, когда я знаю, что он будет таким крепким, что первый же глоток вызовет у тебя сердцебиение! Брось немедленно эту проклятую сигару, а я сварю тебе слабый кофе и налью в него побольше молока, так что он тебе не повредит".

Габриэль прикрыл глаза и некоторое время нажимал на веки пальцами, как бы стараясь освободиться от тяжелой усталости, которую нагнал на него поток слов, непрерывно льющийся из уст его матери, собирающейся налить ему безвкусный кофе в заботе о его здоровье, и когда душа его примирилась с чем-то, в чем отсутствовал вкус, ему не оставалось ничего другого, как умолять ее не вынуждать его, по крайней мере, пить полезное питье, вызывающее у него тошноту. "Только не много молока, пожалуйста, — попросил он, а пальцы его все продолжали нажимать на сомкнутые веки, — не много молока, и без пенки".

”Ах ты, глупец, — проговорила она с нежной улыбкой и с прежней чувствительностью во взоре, — ведь пенка — самая важная часть молока! Я каждый день намазываю пенку от молока на хлеб, это не только полезнее всех этих острых яств, это также и гораздо вкуснее!”

Госпожа Лурия начала беспокоиться и размышлять о том, как лучше поддержать здоровье своего тела, еще до отъезда Габриэля во Францию, и эта озабоченность тут же сказалась на вкусе приготавливаемых ею еды и питья, но совершенства на пути служения здоровью, которое требовало от нее умеренности и изгнало последние остатки вкуса из ее пищи, она достигла только во время отсутствия Габриэля, за год до смерти старика. Прежде отец Габриэля был готов сидеть на террасе в своем красном кресле и ворчать, что никогда еще не удостоился он получить от нее еду вовремя, что он вынужден часами ждать, пока она не кончит готовить рис, жареную курицу и салат, приправленные различными смешанными в наилучшем соотношении специями, так, чтобы вкус блюд был тонок и нежен. Но постепенно над всеми приготавливаемыми ею блюдами начала властвовать здоровая безвкусность, и в последний год своей жизни старик отказывался получать из ее рук даже бутерброд или стакан кофе. Их приносил ему сеньор Моиз из соседнего ресторана, поскольку госпожа Лурия не разрешала ему, сеньору Моизу, даже показываться на ее кухне.

В начале этого пути, ведущего к здоровью, основная ее ярость была направлена против всего жареного и печеного, потому что все медицинские издания тех дней доказывали, что все, жаренное в масле, является самым главным врагом желудка. Со временем ряды врагов желудка пополнились всем острым и перченым, и даже соленостей достиг фронт этой борьбы. Стратеги здоровья хотя

и признали, что определенное количество соли необходимо для укрепления тела, но предостерегали, что если содержание соли превысит это "определенное количество", то и соль превратится во врага. Камнем преткновения на пути к совершенству было для госпожи Лурия это "определенное количество", которое во всей написанной по этому поводу литературе так и не было определено достаточно точно. Ответу на этот вопрос она в течение долгого времени посвящала длительные исследования и многочисленные опыты. В последние годы жизни старика, когда революционные открытия перевернули все представления о питании, "определенное количество" соли перешло из области явлений, относящихся ко вкусу, ощущаемому нёбом, в область величин, измеряемых аптечными весами, и всякий человек, находившийся еще на низшей ступени развития и не сбросивший ига зависимости от ощущения вкуса нёбом, так как был испорчен пагубным влиянием прогнившей культуры, не был способен получить удовольствие от приготовленной ею пищи. Старика приходилось отводить глаза от жены, с удовольствием жующей курицу, сваренную в чистом бульоне, не замутненном никакими пряностями и ничем иным, что способно придать вкус, опасаясь, чтобы его не стошнило. После смерти старика, но еще до возвращения ее сына Габриэля ей стало известно (из лекции, прослушанной по радио) о существовании нового врага здоровья, причем там, где даже невозможно было предположить ничего подобного, это было чем-то вроде пятой колонны, которая до сих пор находилась в самом сердце оплота здоровья. Этим новым врагом был сахар. Лекция, которую она услышала по радио, была посвящена не здоровью, а философским проблемам. И слушать ее она стала не из-за содержания, а потому что мелодичность голоса лектора и его манера говорить были приятны ее слуху, ибо обы-

чно на нее производило впечатление не содержание речи человека, а мелодия его голоса, и если голос резал ее чувствительный слух, этого было достаточно, чтобы немедленно занять противоположную излагаемой точку зрения, даже если раньше она была убеждена в справедливости обратного, но она принимала точку зрения говорившего, если он менял голос на приятный ей. Этот лектор иногда читал по радио лекции об учениях Дальнего Востока, и в тот вечер он говорил о дзен-буддизме. Плывая по течению его голоса, она вдруг остановилась и с бьющимся сердцем начала прислушиваться к содержанию. Ей открылось, что этот философский метод вовсе не является бесцельным умствованием, которое никого ни к чему не обязывает и ни на что не влияет, изменяясь под влиянием смены настроений, душевного состояния и сердечных устремлений, но что, между прочим, стоит он на страже здоровья человеческого тела и предостерегает его от неправильных и порочных путей. Но вместе с радостным потрясением из-за важного, случайно сделанного открытия она почувствовала, что мир ее пошатнулся из-за первого же правила, касающегося питания и гласившего, что врагом номер один для человека является сахар, тот самый сахар, который до сих пор был ее оплотом в борьбе против скверны всех острых и перченых кушаний.

Неделю или две она была в затруднении, словно утратила чувство опоры, и душа ее металась от полной веры в сахар и отрицания всего учения дзен как восточной фантазии, лишенной здравого смысла, до принятия этого учения как абсолютной истины, озарившей мир из глубин Востока, причем сердце ее было удручено предательством вернейшего из ее союзников. Среди этого хаоса и блуждания в потемках она удостоилась вдруг чудесного спокойствия в тот момент, когда осве-

тился перед нею вдруг сам собой верный путь во всей его простоте, без всякой связи с истинностью или ложностью учения дзен, которое, оказавшись вне всякой связи и лишившись всякого контекста, тут же стерлось из ее памяти. Поскольку сахар, так же, как и соль, требуется телу в "определенном количестве", то и его употребление должно перейти из области вкуса, ощущаемого нёбом, в область мер, контролируемых аптечными весами. Она только удивлялась, как эта простая мысль не пришла ей в голову сразу.

Еще до смерти старика, в те дни, когда он ждал, сидя в красном кресле, чтобы ему, наконец, подали еду, достойную гурманов, она поглощала свою пищу в одиночестве (ибо когда она подавала ему, у нее не было времени поесть самой, да и часы его посещений не были постоянными, и она не могла к ним приноровиться), а после его смерти ей и вообще не случалось есть в чьем-либо обществе. В то лето, до возвращения Габриэля, я несколько раз видел ее за едой, и сердце мое странно сжималось, словно на меня веяло чем-то нездешним, чем-то из иного мира. Когда я отрывался от книги, полученной у маленького библиотекаря с Абиссинской улицы, я видел со двора верхнюю часть ее фигуры в раме окна ее комнаты, которое начиналось прямо от уровня земли, ибо сама комната находилась под ступенями лестницы, ниже террасы, а стол был придвинут к подоконнику. Она сидела, согнувшись, как будто целиком погрузившись в стоявшую перед ней тарелку, и когда она жевала, лицо ее за окном, выраставшим, словно из подземелья, было обращено в большой мир, высокий и просторный, но глаза, устремленные на этот мир, не видели его: их взгляд как бы скользил мимо и был обращен в другой мир, находящийся вне этого — в тот, в котором она пребывала, или тот, который пребывал в ней, и поэтому взгляд ее

был чужим и отрешенным, как у человека, грезящего наяву. Казалось, что в одно и то же время она совершает два действия, не только различные, но и, по общепринятому мнению, противоположные одно другому, поскольку одно из них направлено на удовлетворение нужд плоти, тогда как второе служит целям духовным. Все правила приличия, которых требует еда в обществе и которые были свойственны ей в далекие дни ее былой славы, исчезли, словно их и не было, еще в последние годы жизни старика, а уж после его смерти она обращала внимание на правила поведения за столом не больше, чем кошка, грызущая своими вставными челюстями крылышко курицы, сваренной в бульоне, а так как я еще не видел кошки со вставными челюстями, то от пожирающей пищу кошки мне не доводилось слышать звуков, подобных тем, что вырывались изо рта госпожи Лурия во время ее трапезы. Вера в правильное пережевывание пищи являлась одним из столпов ее теории здоровья, и поэтому она была педантична в исполнении этой заповеди и жевала, растирая в порошок все, что попадало ей в рот, и каждое жевание заканчивалось странным металлическим скрипом. Время от времени, когда части пищи забивались между вставной челюстью и деснами, она вытаскивала челюсть изо рта рукой и вылизывала языком оттуда надоедливые крошки; при этом она широко раскрывала рот, провоцируя отрыжку, так как, по ее мнению, отрыжка и икота благотворно сказываются на пищеварении. Во время каждой трапезы она по крайней мере раз внезапно прекращала жевать и начинала обнюхивать и рассматривать со всех сторон тарелку, или хлеб, или ложку в своей руке с подозрительным и испуганным выражением, ибо была наделена чрезвычайно тонким обонянием, и порой выливали целую кастрюлю супа, над ко-

торым, по своему обыкновению, трудилась несколько часов подряд, если обнаруживала, слегка принюхавшись, слабые следы запаха стирального мыла или керосина. Эти следы были настолько незначительны, что никто на свете не способен был бы их обнаружить, кроме, может быть, ее сына, Габриэля. Такой способ принятия пищи, явный и неприкрытый, утрированный всевозможными ужимками и подмигиваниями, сопровождавшийся целой какофонией звуков, откусыванием, обсасыванием, глотанием и облизыванием, скрипом вставных челюстей, не придавал ей, к великому удивлению, отталкивающего вида; она производила впечатление человека, занятого жизненно важным делом, и определение "отталкивающая" подходило ей не больше, чем кошке, утоляющей свой голод. И так же, как и в кошке, поражало в ней какое-то нежное очарование, прикрывавшее обнаженную плотоядность.

Вместе с обнаженным животным началом, совершенно плотским в своей основе, и параллельно с ним в ней, в госпоже Лурия, во время ее трапезы существовало и проявлялось духовное начало, это был несомненный духовный восторг, который выплескивался через край, принимая формы физической деятельности. После преодоления трудных стадий обнюхивания, отрывки и вытаскивания крошек, застрявших в деснах, ее зубы начинали жевать ритмично и уверенно, как моторы корабля, спокойно плывущего по волнам, а сама госпожа Лурия пускалась в плавание по глубинам своих мыслей и дум, как штурман, позволяющий себе погрузиться в сладкую дремоту после того, как его судно вышло в открытое море, за пределы прибрежной полосы со всеми ее скрытыми и явными рифами.

Иногда лицо ее озарялось радостью, которая появлялась, словно отражение внезапной смены

тончайших оттенков и нюансов чувств, вызванных ее далекими мыслями, и, хотя эта радость была не более редкой, чем печаль, но, пожалуй, именно она, так же, как и выражение ее темных, устремленных в пространство глаз, заставляла сжиматься мое сердце, и я чувствовал, будто какой-то легкий ветерок долетел до меня из иных миров, но чаще меня удручало выражение печали на ее лице во время трапезы. Через многие годы после того, как тело ее вернулось в землю, из которой вышло, проходил я как-то мимо книжного магазина, и в глаза мне бросилось название стоявшей в витрине книги. Это был перевод на французский книги Мигеля де Унамуно¹⁰² под названием "Le sentiment tragique de la vie", то есть "Трагическое восприятие жизни", и, когда я прочел это название, перед моим мысленным взором предстало лицо хозяйки нашего дома, виднеющееся в окне ее комнаты в час трапезы. Эту книгу я так никогда и не прочитал и по сей день не знаю, о чем она, но и теперь я иногда замечаю, что повторяю про себя слова "трагическое восприятие жизни", вспоминая при этом печаль на лице госпожи Лурия во время еды, такую древнюю, изначальную, будто призванную выявить трагическую сущность жизни на земле, где бытие одного вида непременно связано со смертью другого, предназначенного первому на съедение; эту древнюю печаль, которая при всей своей изначальности вытекает не из законов жизни на земле, самих по себе нейтральных, а происходит из иного, далекого мира, находящегося вне пределов нашего существования. Печаль и радость, охватывавшие ее в круговороте дум во время еды, излучались из иного мира, далекого и чуждого, которому принадлежала ее душа, тогда как сама она была частью иного мира природы, в котором ее рот, жующий безвкусное, несоленое куриное крыло, обеспечивал жизнь ее

телу. Так, продолжая есть, она внезапно раздражалась громким смехом. Иногда ее смех казался отражением воспоминаний о забавах ушедших дней, которые она переживала вновь с большой веселостью, а иногда казалось, что она смеется шутке, которую кто-то, видимый только ею, нашептывает ей на ухо; но больше всего напоминали об ином мире взрывы хохота, которые вырывались у нее, когда она как будто находила удивительно смешными описания в книге, развернутой где-то там, в дали неба, перед ее глазами, невидимой книге тайн, открытой только ей.

Во время коротких или длинных перерывов (она обычно бывала вынуждена прерывать еду до ее окончания, накрывать тарелку сверху другой тарелкой, перевернутой вверх дном, и прилечь на диван, чтобы переждать "волны жара", — приливы "волн жара", как она их называла, настигали ее несколько раз на день в течение долгих лет после прекращения месячных, или просто, чтобы отдохнуть от усилий, потребных для принятия пищи) — в эти перерывы, отдыхая, сколько ей было нужно, она тихо мурлыкала мелодии времен ее учебы в еврейско-английской школе для девочек имени Эвелины де Ротшильд, а иногда, развеселившись, просто пела, громким и приятным голосом, неожиданно сохранившим девичью чистоту.

Не раз видел я, как она ела жареное мясо с маринованными, солеными и перчеными врагами ее здоровья в те дни, когда нападала на нее чрезвычайная жизнерадостность, и, поглощая это, она совсем не производила впечатление человека, угнетенного несоответствием между словом и делом. Она как бы отдавалась на волю судьбы именно в тот момент, когда находила вкус и радость в жизни, и, напротив, тем тщательнее старалась беречь свою жизнь, следовать со всей строгостью правилам питания и остерегаться всего, в чем есть

хоть капля опасности для жизни, чем больше эта жизнь была ей в тягость, чем более она была удручена, огорчена и замкнута, короче — когда ей надоедало жить.

Напомнив вернувшемуся сыну, что пенка — самое полезное, что есть в молоке, она пошла готовить ему кофе по всем правилам — тем самым, что требуются для сохранения здоровья. Из кухни послышался ее голос — она пела. Когда она вернулась на террасу с готовым кофе, лицо ее еще продолжало улыбаться, но все-таки не ликованием и не радостью закончился прием Габриэля. Во время беседы с ним она сильно расчувствовалась, а затем ее охватил приступ сильнейшего гнева, подобного которому не бывало со времени смерти старика. Причиной этой ярости явилась его щегольская одежда: черная лента на белой шляпе, золотые пуговицы на синем пиджаке, безупречно отутюженная складка белых шерстяных брюк — это светское великолепие, легкое, беспечное, беззаботное, которое уничтожило маску безразличия на ее мрачном лице. В апогее яростного гнева она выглядела точно так же, как при жизни старого бека, когда ее руки и растрепавшиеся кудри дико и беспорядочно метались в пространстве, а глаза истерически закатывались, но сейчас ее крики изливались не на бритую голову, покрытую искрящимися в лучах заходящего солнца каплями пота, а на легкую белую шляпу. Время как бы остановилось, прервав для нее свой бег: как стояла она и кричала год и два тому назад, так стоит она там же и кричит сейчас, и все изменения, порожденные временем и свидетельствующие о его существовании, достаются на долю того, кто сидит в красном плюшевом кресле, сидевший же в нем когда-то старый и почтенный, отяжелевший господин — осколок Османской империи — превратился в какого-то киноартиста,

сошедшего с экрана французского фильма. Даже упреки, жалобы и обвинения, исходящие из ее уст, были те же самые, и вертелись они вокруг денег: и от старика она требовала денег, а от сына требовала, чтобы деньги, которые она ему посылает, не транжирил бы он на золотые пуговицы и трости с серебряными набалдашниками, словно пустой и ветреный бездельник. Если отвлечься от этих и подобных им различий в формулировках, она, в сущности, снова и снова напоминала ему, своему сыну, так же, как прежде напоминала его отцу, о всех своих великих и бесконечных жертвах, которые всю свою жизнь она приносила ему и за которые он отплатил ей равнодушием, преступным невниманием, а иногда даже полным пренебрежением, презрением и "плевками в лицо". Ведь только ради него, ради своего единственного сына, она оставила большую квартиру и перешла жить в подвал под лестницей, где она хоронит себя заживо в сырых стенах, чтобы иметь возможность посылать ему в Париж эти жалкие гроши, которые она получает от жильцов, чтобы он не умер там с голоду, с тех пор, как старик перестал посылать ему деньги. А все эти великие и страшные сражения, которые она вела со стариком в последние годы его жизни, — разве для себя она затевала их, так что желчь разливалась по ее организму, для себя харкала кровью своего сердца за каждую полушку, которую ей удавалось из него выжать? Ей самой ничего не нужно. Ей вполне достаточно сухой корки хлеба и капли сырой воды, и, несмотря на это, даже и после смерти старика не дождалась она спокойствия и не получила наследства. Наоборот, она вдруг оказалась одна против целого роя ос, против отвратительных пиявок — всех членов его семьи, которые налетели на нее, как убийцы с занесенными ножами, чтобы отнять все, даже дом, который был

ей завещан, а он, ее дорогой сын, не только не постарался поспешить на помощь своей старой, больной и одинокой матери, борющейся за себя и за него, за Габриэля, но даже не подумал послать ей письмо в поддержку, наверняка был занят игрой в карты и прочими развлечениями. А что сделал он с деньгами, которые она ему посылала? Так и видит она, как он растранижил их на всякие там шляпы-панамы, золотые пуговицы и серебряные трости. И что же тут удивительного? Ведь он, Габриэль, похож на своего родного отца, как две капли воды, кость от кости и плоть от плоти этого старого турецкого развратника, этого похотливого кубиюстуса¹⁰³, который на старости лет начал закатывать к небу свои развратные глаза с притворной праведностью и рассуждать о пророке Моисее! То, что она сэкономила на еде и послала ему, — она, которая осталась одинокой и больной вдовой в сыром подвале, — истратил он в Париже на франтовство, как какой-то сутенер, и ей не осталось ничего другого, как покончить с собой и раз и навсегда положить конец всем своим страданиям. Ведь ему, ее единственному сыну, все равно, хорошо ей или плохо, жива она или умерла, и думает он только о ее деньгах. Но после того, как она наложит на себя руки, он поймет, что напрасно ждал ее смерти, что то, что она сэкономила на своем желудке, она отдала ему уже при своей жизни. Разве она не понимает, что если бы не напрасные надежды вырвать из ее рук наследство, которого никогда не существовало, он бы не стал себя затруднять, чтобы вернуться, ведь он кость от кости и плоть от плоти своего отца, и так же, как для его отца, так и для него уличная девка дороже собственной матери.

С тех пор, как умер ее муж, и особенно после того, как старый судья, к полному ее удовлетворению, закончил приводить в порядок дело о

ее наследстве, ею до такой степени овладела тревога о деньгах, что она совершенно прекратила посылать их сыну. Она напоминала ему о себе лишь посылками, причем перевязывала их так, что на каждую уходило не менее целого клубка шпагата, а потом я относил их на почту. В этих посылках было теплое белье — шерстяные кальсоны и нижние рубашки с длинными рукавами, иногда также носки и безрукавки. "Я его хорошо знаю, — объясняла она мне, — наверняка разгуливает он там по парижскому холоду, а из белья на нем только легкие короткие трусы, и ни за что не зайдет в магазин, чтобы купить шерстяные кальсоны". Деньги она посылала ему, пока у нее не было своей собственности, и хотя это были незначительные суммы, которые ей удавалось сэкономить на мелочах, но тогда ей не приходило в голову приберечь что-нибудь для себя после того, как было куплено все необходимое, так как сами деньги не имели для нее ценности, и все войны, которыми она мучила своего мужа, отравляя ему жизнь, велись потому, что ей казалось, будто он отдает другим женщинам то, что полагается ей. Поскольку она воевала не из-за денег, а из принципа, то можно сказать, что то были своего рода идеологические войны, свободные от всякой корысти. Только после того, как она получила наследство, ею овладели страх перед нуждой и мысли о завтрашнем дне, она начала дрожать над каждой копеейкой и над каждым грошом и стала подозревать каждого человека, в особенности своего сына, что тот хочет вытянуть из нее деньги путем всяческих козней и обманов. И все-таки, с тех пор, как ее сын вернулся домой, она была готова, под воздействием накатывавших на нее волн радости (и тогда она пела песенки времен своей юности и с тоской вспоминала о хороших днях своей жизни с мужем, да будет

земля ему пухом, мужем, который был "красив, как итальянец, и обладал возвышенной душой"), отдать ему, Габриэлю, все свои деньги и даже уговаривала его, "чтобы он купил все, что ему нужно, так как денег, слава Богу, есть достаточно и даже с избытком". Но Габриэль никогда не воспользовался этими минутами щедрости, которые обычно заканчивались тем, что она отправлялась на рынок и покупала ему еще две пары шерстяных носков и полдюжины шерстяных кальсон, которых он никогда не носил, хоть и знал, что это припомнится ему в злую минуту и что с первой же вспышкой гнева в ней снова проснутся все подозрения, и она станет упрекать его в том, что он только лишь и мечтает отобрать у нее деньги.

Дождаясь, пока утихнет вспышка материнского гнева, вызванного золотыми пуговицами его синего спортивного пиджака и тростью с посеребренным набалдашником, он не отвечал ей ни слова, продолжая сидеть в красном кресле и курить сигару, отпивая между затяжками безвкусный кофе, поданный ею, и терпеливо глядел на нее. Я видел его также и протестующим, слышал его резкие выпады против нее, но к этим его состояниям я еще вернусь в свое время и в своем месте. Не знаю, может ли слово "терпение" выразить то, что было написано на его лице. То была "нетерпеливая терпеливость", с которой он выслушивал приговор, ибо так подсказывал ему опыт, но терпимо он относился только к самому явлению взрыва злости, неотвратимому при их встречах, всегда проходивших в перепадах настроений, словно прогулка по гористой местности, а не к сущности слов, выплескивавшихся из ее уст и изливавшихся на него как кипящая жидкость из тесного сосуда. Высказываемое ею он не только не принял, но, более того, внутренне отгородился полностью, и, как шум дождя, ко-

торый стучит за окном, но внутрь не проникает, так и звуки ее речи продолжали течь и стучать вне его. И он тоже остался вне их, глядя перед собой усталым и отрешенным взглядом, таким же отрешенным, как ее взгляд во время еды.

Когда ее свирепый гнев утих, и она снова села рядом с ним и принялась беседовать нежным голосом, как бы являвшимся эхом ее размышлений о нем и о его судьбе, они выглядели, словно два человека, сидящие друг против друга в вагоне поезда, который уносит их далеко-далеко по рельсам их взглядов, но в той самой отчужденности, которая делала их столь похожими друг на друга, заключалось и их несходство. Сущность его отчужденности была совсем не та, что у нее; они сидели один против другого и ехали вдаль хоть и одновременно, но в разных направлениях, и картины природы, предстающие их взорам, были у каждого свои. Она заговорила с ним о нем, но начала со старого судьи. Когда Дан Гуткин поехал изучать юриспруденцию в Англию, он был уже немолодым человеком. Человеком в зрелом возрасте был он, в том возрасте, когда другие уже определили свою карьеру. "Папа, благословенна его память (говоря с Габриэлем о его отце, она называла его "папа", тогда как своего отца называла "дедушка". Выражение "твой отец" она употребляла, когда гневалась и сердилась, когда все обиды на покойного мужа всплывали в ней снова с такой свежестью и остротой, будто тот был еще жив и сидел рядом. "Ведь ты похож на своего отца, как две капли воды, кость от кости его и плоть от плоти" — эти выражения она берегла, чтобы подчеркнуть их сходство в отрицательных качествах, а начало фразы в стиле: "Ты похож на папу в том, что..." или "В этом папа был похож на тебя..." — предвещало декларацию удовольствия от того хорошего, что унаследовал

Габриэль от отца), папа, благословенна его память, который был таким добрым, даже слишком добрым и разбрасывал деньги направо и налево, помогая всем и каждому, это папа побудил Дана Гуткина уехать и помог ему деньгами, связями и рекомендательными письмами. Но все-таки все, что он посылал ему, было ничем по сравнению с тем, что он давал тебе все те годы, что ты был во Франции. Я еще помню, какой вид был у него, когда мы, папа и я, провожали его на корабль. Он ехал низшим классом, и несчастных пассажиров, которые ехали так же, кормить не полагалось. Каждый ел то, что взял с собой, а он, снаряжаясь в дорогу, взял только банку маслин и две пачки мацы и на этих маслинах и маце продержался все плавание, до самой Англии. И ты должен был видеть, как он вернулся оттуда! В сущности, еще до возвращения он был назначен здесь мировым судьей и в течение короткого времени поднялся до положения судьи Верховного суда и получил звание "почетного офицера Британской империи". Но что это я рассказываю тебе истории тех далеких дней! Возьми своих сверстников, твоих друзей, учившихся вместе с тобой. Вот Ицик Блюм, например, который тебе в подметки не годится, да и кто вообще из твоих друзей, учившихся вместе с тобой, стоит твоих подметок? Ведь все они ничто по сравнению с тобой. Этот Ицик Блюм, сын противного и тупого попрошайки, поехал себе в Бейрут, учился там в Американском университете, вернулся доктором химии, открыл аптеку и сделался важным человеком. А посмотри, как вернулся ты, ты, который был в детстве просто принцем по сравнению со всеми этими иерусалимскими нищими, бедняками и попрошайками, ты отправился в путь по-королевски, и ни в чем не было тебе там недостатка, пока ты не забросил учебу. И действительно, спрашиваю я тебя, как ты

жил там с тех пор, как папа перестал посылать тебе деньги? Как ты жил три года в большом городе, чужом и жестоком, без гроша в кармане? Меня дрожь берет, только я подумаю, что ты был бездомным бродягой. Надеюсь, эта ужасная жизнь не повредила твоему здоровью. Самое главное, умей беречь здоровье, а все остальное: почетные звания, важные должности, богатство — все это на самом деле никакого значения не имеет”.

И в последующие дни, когда Габриэль по-прежнему проводил свои утренние часы в том же самом красном кресле, куря сигару за сигарой и поглощая противный кофе, часто слышал я из уст его матери все ту же песню, начинавшуюся с сожаления о том великом, что было сокрыто в ее сыне и так и не вышло из тайников на белый свет, и заканчивающуюся осуждением всех тех ”низких и презренных, которые ногтями, зубами и локтями прокладывают себе путь к вершине бесплодного дерева, дурно пахнущего липовыми званиями, тогда как...” — и тут она переходила к восхвалению истинных достоинств, доставшихся Габриэлю от рождения, но завершалось все это упоминанием принципов, соблюдение которых обеспечивает существование человека в этом брэнном мире, то есть принципов сохранения телесного здоровья. Имея в виду эти самые принципы (обеспечивающие человеку существование в нашем брэнном мире), она иногда выражала даже удовлетворение тем, что Габриэль не закончил в Париже медицинского образования, то есть как будто была довольна той самой неудачей в его карьере, о которой обычно столько сожалела. Это просто чудо, — говорила она часто, — это просто чудо, что Габриэль не стал врачом, ведь если бы он стал врачом, его жизнь подвергалась бы постоянной опасности со стороны родственников тех больных, что решили покинуть этот

мир. Осиротевшие родственники взваливали бы на него вину за смерть своих близких и, затаив в сердце ненависть, желали бы ему мстить. Такое уже случилось с одним зубным врачом, доктором Мильманом, который по ошибке вырвал зуб из воспаленных, гноящихся десен, от чего больной получил заражение крови и умер. И вот, когда проведали об этом члены его семьи, а были они какими-то персами, которые прибыли в страну из-за Араратских гор, из какого-то Богом забытого угла между Персией и Мидией, они долго не рассуждали — явились всей хамулой, чтобы судить его и отомстить за кровь умершего. Короче говоря, — да что тут расписывать, — этот врач был вынужден бежать под покровом ночи и еле унес ноги в далекую Америку; он вернулся в страну спустя много лет, изменив имя и назвавшись доктором Яркони. Многие не выздоравливают, а умирают от своих болезней. Некоторые умирают вопреки лечению врача, а многие умирают как раз из-за этого лечения. И те, и эти своей смертью подвергают опасности жизнь врача даже и в том случае, если они прибыли не из-за Араратских гор, а из-за великого, необъятного океана. Кроме глазного врача, доктора Ландау, она не знает ни одного врача, которому можно было бы довериться и на суждение которого можно было бы положиться, и разве самого доктора Ландау, который лечил весь этот сброд из Индии и Эфиопии от их страшных болезней, не подстерег во время событий 1929 года¹⁰⁴ один араб и не воткнул ему нож в спину? И этот самый араб, кстати, не ослеп впоследствии только благодаря лечению того же доктора Ландау. И если ты спросишь, как возможно такое, это значит, что ты не знаешь, как сильно влияет на арабов подстрекательство. Стоит только арабскому шейху взойти на помост в мечети в пятницу и объяснить верующим, что

все их несчастья происходят из-за евреев, и бросить клич "этбах эль ехуд", то есть "режь евреев", чтобы все находящиеся в мечети бросились на улицу убивать евреев, даже если они в свое время были вылечены от своих ужасных болезней еврейскими врачами.

И хорошо также, что он не изучал юридических наук и не стал адвокатом, потому что и это один из путей возбудить ненависть клиентов. Никогда адвокат не понимает дело так, как того хочет клиент, и само это обстоятельство является источником трений между ними. Потом клиент начинает подозревать адвоката в сговоре с его противником, и если дело проиграно, то нет предела его ненависти. И так же внезапно, как госпожа Лурия обнаружила тайных врагов в каждом продукте питания и в каждой приправе, так же внезапно открылись ей опасности всех профессий, мысль о которых приходила ей в голову. В конце концов она пришла к выводу, что нет ничего лучше для человека, чем должность консула одной из далеких заморских стран, такая, какая была у Иехуды Проспера, царство ему небесное, который был испанским консулом в турецкое время. Но и подобная должность не совсем лишена опасностей, и главная из них — зависть: честь и уважение, которые она приносит своему обладателю, возбуждают зависть окружающих. Она, которая была женой испанского консула в Иерусалиме во времена турецкого владычества, прекрасно знает, что значит для человека быть консулом и что значит быть женой консула, ее на мякине не проведешь. От него, от консула, только и требуется, чтобы он приятно проводил время на вечерах, маскарадах и приемах, и чем больше он будет бегать с одного бала на другой и с приема на прием, тем лучше. Но что? Чтобы получить это звание, нужно прежде всего быть большим богачом, че-

ловеком практичным, твердо стоящим на земле, таким, которому ведомы тайные рычаги, управляющие этим миром. Нужно уметь разбираться в государственных порядках, то есть знать, когда, как, кому и какой поднести подарок, короче, быть человеком, уважаемым в обществе и любимым сильными мира сего, каким и был старый турецкий развратник. Может быть, ты скажешь, что старик был фантазером, жил в мире своих восточных фантазий и хотел походить на пророка Моисея? Если ты так скажешь, значит, ты совсем его не знал и не понимал его сущности. Старый лис был практичен как никто: любого упрямяца переупрямит, любого хитреца перехитрит. Все свои восточные фантазии он берег за семью печатями, выпуская их не дальше собственного дома, ибо не они властвовали над ним, а он повелевал ими. Лишь с ней делился он своими фантазиями, лишь с ней он был прекраснодушным мечтателем, желавшим вывести свой народ из рабства к свободе, подобно Моисею. Если бы Габриэль был практичным, как его отец, ей было бы гораздо легче. Тогда она была бы абсолютно уверена, что он найдет свою дорогу в жизни, и чем бы он ни занялся — во всем преуспеет. В первые недели после его возвращения домой, когда ее далекий, отсутствующий взгляд наткнулся на сидящего в красном кресле Габриэля, она прекращала жевать и говорила ему: "Если бы ты был деловым человеком, как твой отец, а не бездельником, вроде твоего деда, могла бы я умереть спокойно". В ее словах к чувству горечи и страха примешивался гнев на сына за то, что из всего обилия достоинств своих предков не сумел он унаследовать тех, которые помогли бы ему хорошо и удобно устроить свою жизнь в этом мире. Разве не мог он, например, взять у своего отца энергию и способность подчинять окружающих своей воле, а у ее отца

— профессиональный талант, и, обладая двумя этими качествами, он шел бы от успеха к успеху и плевал бы на весь мир! Но нет, Габриэль Лурия не тот человек, который может доставить радость своей старой и больной матери. Вместо того, чтобы поступить так, Габриэль беспечно и легкомысленно одной рукой набрал себе полные пригоршни восточных фантазий своего отца, а другой рукой с лихвой зачерпнул непрактичности ее отца — того отсутствия воли, из-за которого умер ее отец в нищете и бедности, хоть и был самым хорошим резчиком по дереву на всем турецком Востоке, и к нему приходили из Яффы, Бейрута и даже из Дамаска, чтобы заказать мебель за полцены. И даже те ничтожные деньги, которые обещали ему вначале, не платили, ибо сразу видели, с кем имеют дело: отец ее просто был не от мира сего. Всегда-то он пребывал в состоянии какого-то телячьего восторга, всегда-то воспарял неведомо куда, начиненный всеми этими сказками, мидрашами и легендами, которыми потчевали его синагогальные старосты и другие мошенники, обладатели бород и пейсов, вместо того, чтобы вовремя платить ему за каждый арон ха-кодеш, который он делал для них. И именно эту безмерную непрактичность ее отца, из-за которой так страдали он, его жена и особенно его маленькие дети, должен был унаследовать ее единственный сын. И вот теперь сын, который, слава Богу, не поддался обаянию всех этих глупых мидрашей и легенд, в каких мирах он витает, сидя здесь, в красном кресле?

Габриэль проводил в красном кресле значительную часть дня, а утром даже брился, сидя в нем. Однажды я видел, как, сидя в этом же кресле, брился своей опасной бритвой отец Габриэля, старый бек, незадолго до смерти. В сущности, это сеньор Моиз брил его, возвышаясь над ним на

своих длинных ногах, причем лицо его выражало полнейшую сосредоточенность на тонком искусстве бритья, подобном священнодействию. Вдруг старик что-то буркнул со злостью и приказал немедленно принести из кухни большое зеркало, ибо у него возникло решительное желание побриться самому. Лицо Моиза исказилось, будто он собирался заплакать от неожиданной обиды, и он так и замер с занесенной бритвой в руке, пораженный приказанием старика. Вот уже много лет Иехуда Проспер не держал бритвы в своих руках, но даже в те далекие дни, когда тело его было полно сил, а руки слушались и точно исполняли все его переменчивые желания, даже тогда предпочитал он доверять бритье своей бороды рукам парикмахера. Сеньору Моизу и в голову не пришло нарушить приказание своего господина, но ему было ясно, что передать тому хорошо отточенную на кожаном ремне бритву означало подвергнуть опасности его жизнь, ибо бритва, приводимая в действие дрожащей рукой, может коснуться шеи именно в тот момент, когда пробежит по ней старческая судорога, и невзначай убить. Старик протянул свою трясущуюся руку, и Моиз отпрянул назад. Одно мгновение казалось, что из любви и преданности своему господину оруженосец откажется выполнить повеление, и пока бессильная рука тщетно ловила воздух, этот лысый, утонувший в кресле, замотанный большим полотенцем старик, сидящий перед миской с пенистой мыльной водой, был похож на ребенка, у которого еще не появились волосы, ребенка, взволнованного и сердитого из-за того, что тот, кто обязан его кормить, не дает ему поиграть блестящим и искрящимся лезвием ножа. Как блеск острия бритвы, кратким был миг превращения сеньора Моиза из преданного своему господину и беспрекословно исполняющего все его приказания оруженосца в

слугу, отменяющего желание господина и навязывающего ему логику своей любви, но то было лишь мгновенное замешательство. Этому старику, который не мог осилить дрожь своих рук и судорогу своей шеи, удалось справиться с крепкой рукой сеньора Моиза, и тот медленно, медленно, с великой осторожностью вложил бритву в раскрытую перед ним ладонь. Все годы старик продолжал бриться опасной бритвой, потому что не смог приспособиться к механической, которая оказалась для него слишком сложной, тяжелой и страшной машиной, хотя ему и объясняли, что она создана для облегчения бритья и предотвращения опасности порезаться. В нем не было привычки к привычным формам, наоборот, все годы своей жизни он старался, как говорят люди прогресса и рекламы, шагать в ногу со временем и принадлежал к числу тех представителей знати Османской империи, которые первыми сменили красную феску на черный лондонский цилиндр, а кальян на английскую сигару. Габриэль уже не умел пользоваться опасной бритвой, но он, как и его отец, брился всегда сидя; летом он делал это на террасе, за железным трехногим столом. В противоположность старику, Габриэль не терпел, чтобы его бороду брил парикмахер, хотя стричься он любил и, как мне кажется, ходил к парикмахеру, Хаиму Коэну-Цедеку, по крайней мере раз в месяц. У него были густые волосы, несмотря на глубокие залысины по углам широкого лба, — правая залысина была глубже левой, — но никакого признака поредения не было заметно в его шевелюре, хотя ему уже исполнилось сорок лет, о чем свидетельствовало несколько седых прядей, которые, по его словам, начали белеть еще тогда, когда он был молодым человеком, чуть старше двадцати. Из-за густоты волос он не мог делать "тропинку", как он называл пробор, и зачесывал

свои волосы назад смоченной в воде гребенкой или щеткой, чтобы они не разлетались. Это желание не выглядеть растрепанным в основном и заставляло его ходить к парикмахеру не реже раза в месяц. Он любил стричься очень коротко и неоднократно напоминал парикмахеру, чтобы тот снял побольше волос с затылка и висков, как у английских солдат. "Нет, я не хочу быть похожим на философствующего художника", — сказал он парикмахеру, когда тот пытался уговорить его отрастить бакенбарды. В другой раз он сказал ему, парикмахеру: "Не делай из меня дельца, пишущего стихи. Ты же знаешь, что я люблю английскую стрижку". (Молодым людям наших дней, то есть тех дней, когда я пишу строки этих воспоминаний, молодым людям, которые отращивают дикие лохмы по примеру "Биттлз" и других англичан, нелегко будет представить себе, что тридцать лет тому назад английская стрижка была короткой и выдержанной в строгом армейском стиле.) Когда после болезни, из-за которой ему пришлось долго не стричься, он подошел к зеркалу и увидел свою растрепанную голову с торчащими во все стороны волосами, он наморщил лоб и сказал то ли с тревогой, то ли в шутку: "А сейчас я выгляжу, как сошедший с ума немецкий композитор". К этой фразе: "Я выгляжу, как сошедший с ума немецкий композитор" — он возвращался всякий раз, когда переставал следить в достаточной степени за своей одеждой, за чистотой рубашки или за линией брюк — по небрежности или из-за спешки. Он так боялся походить на сумасшедшего сочинителя мелодий, что, особенно в первые недели после своего возвращения, появлялся одетым, как французский щеголь, у которого нет других интересов в жизни, кроме ухаживания за женщинами и погони за прочими удовольствиями этого мира, причем самыми пошлыми, — французский франт,

но грубого, армейского пошиба, что-то вроде офицера, проводящего свой отпуск в городе одетым в штатское платье. Парикмахер, по опыту знавший, что Габриэль ни за что не доверит бритье своего лица чужим рукам, не отчаивался и каждый раз снова спрашивал с деловым и озабоченным видом: "Стрижка и бритье?" Профессиональную честь парикмахера задевало это упрямство, ибо он никак не мог понять, почему Габриэль, который любит чувствовать прикосновение бритвы парикмахера к краям затылка и вокруг ушей, так боится прикосновения той же бритвы, находящейся в тех же руках, к коже своего лица. Кожа Габриэля была смуглой и гладкой и хорошо принимала солнечный загар. Но вместе с тем она была чрезвычайно чувствительна ко всякому прикосновению. Если лезвие бритвы не опускалось на нее под привычным углом, то на ней немедленно возникало раздражение, и случалось, что он сам бывал тому причиной, то по рассеянности, то когда был сердит или чем-нибудь взволнован. Эта чрезвычайная чувствительность кожи его лица особенным образом сказывалась на его отношениях с разными людьми, причем отношениях столь же далеких от тех, что сложились у него с парикмахером, как далек восток от запада, то есть в первую очередь на его связях с женщинами — с ними он спал, но ни в коем случае не целовал их и старался вообще не прикасаться к ним лицом. Единственным общим в его отношениях с женщинами и с парикмахером была обида, с которой уходили от него как тот, так и другие. Но, кроме такого рода женщин, существовали и другие женщины, с первой встречи возбуждавшие в нем, в Габриэле, стремление приблизить свое лицо к их лицам и целовать их, но об этом речь пойдет позже. А пока он все еще занят приготовлениями к бритью, и я хотел тут только описать сходство и различие

между Габриэлем и его отцом во всем, что касается бритья.

Во время приготовления к бритью, когда на столе террасы расставлялись все необходимые предметы, и особенно, когда грелась вода на керосинке, Габриэль незаметно для себя распевал во весь голос. Поэтому так неожиданно резко реагировал он, — а это случалось нередко, — когда голова его матери, обернутая белой, смоченной в воде тряпкой для облегчения головокружения, высывалась из окна ее комнаты, и мать обращалась к нему со словами: "Может быть, ты перестанешь петь так громко? Почему это тебе хочется шуметь на весь мир именно тогда, когда моя голова вот-вот треснет от боли? Ведь голосом ты похож на своего отца. Это не голос, а просто какой-то львиный рык в чаще. И скажи мне, пожалуйста, чем ты лучше "польского филина" госпожи Ландау? Что это вы, как сговорились, ты и "польский филин", против меня и не даете мне жить? Как раз тогда, когда тот перестает колотить по клавишам своего проклятого рояля, этот начинает рычать как лев!" Злость и горечь в ее голосе и словах разжигали в нем ответные злость и горечь, так что у него немедленно пропадало желание петь, а до сознания его доходило, наконец, что только что он издавал громкие рулады.

В первые дни после своего возвращения он напевал по утрам, пока вода для бритья грелась на керосинке, детскую народную песенку по-французски: "Я встретил по дороге дочь юную жнеца, я встретил по дороге дочку косаря", — мягким баритоном, который по мере ускорения ритма крепчал и ширился, а иногда звучал даже патетически. Сам он никогда не замечал этого пафоса, и если кто-то указывал ему на это, он по-настоящему обижался, ибо ненавидел любое проявление пафоса как в пении, так и в любом другом деле. Он

пел, подравнивая фитили керосинки в ожидании появления пара над кастрюлей, и отбивал пальцами такт песенки. ”До чего это красиво, — сказал он мне, переводя содержание песни, — как много тоски в этих простых словах: ”Я встретил по дороге дочь юную жнеца, да, да, я встретил по дороге дочку косаря”. Только я поначалу не пришел в восторг ни от мелодии, ни от слов. Мелодия никак не отозвалась во мне, и несложные эти слова не сказали мне ничего, и заинтересовал меня только его рассказ о том, как он жил в бретонской деревушке на севере Франции, где и услышал эту песню. Только по прошествии многих лет, когда я случайно проходил под окнами какого-то дома, из радиоприемника вырвались вдруг знакомые звуки, и сердце мое защемило от воспоминаний; тогда я понял, о чем он говорил. Для него каждая песня была полна тоски. Когда шел он мимо испокон веку стоявших тут крестьянских домов, мимо тенистых садов к деревянному мосту, повисшему над рекой, к полевой тропе, он был весь охвачен ожиданием, что вот-вот появится девушка, словно созданная из волнующихся хлебов, из ветра, несущего с залива Карнак запах Атлантического океана, из вод реки, размывающей нижнюю кромку оград, из камней старых, столетиями погруженных в сон домов, где проходят чередой многие поколения, что умирали и рождались все на тех же деревянных кроватях, застланных крахмальными покрывалами, из стволов гигантских дубов — остатков древнего леса, из руин крепости на вершине холма, из дыхания этой страны, перешептывания ее ветров, красок ее закатов — всего, что воплотилось в мелодиях этого народа и в его песнях: ”Я встретил по дороге дочь юную жнеца”, — девушку, которая вдруг возникнет, пойдет через поле, встретит его на бревнах моста, и улыбнется ему одними глазами, и упадет

в его объятия, и откроет ему свой животворный источник, и проникнет он в сокровенное из сокровенного.

Словно погружаясь в тайну, ложился он в свою старинную кровать в столь же старинном деревенском доме у подножия холма с разрушенной крепостью. Эту старинную бретонскую кровать местные жители называют "закрытой"; вся она сделана из резного дерева, ажурного и воздушного, как кружево. Когда ее раздвижные дверцы закрыты, она похожа на высокий и очень широкий шкаф, в котором окошки и окошечки вплетаются в рельефный орнамент и являются как бы частью резьбы, и, чтобы войти в эти дверцы, надо подняться на высокую ступень, что проходит по всей длине основания кровати. Эта ступень также покрыта орнаментом из перемежающихся ромбов и кружков, а если сдвинуть ее с места, обнаруживается, что это просто выдвижной ящик для белья. Когда поднимешься на ступень-ящик и откроешь раздвижные дверцы, твоему взору предстанет кровать со всеми ее подушками, одеялами и покрывалами, скрывающими ее недра в укрытии резных стенок, возвышающихся кругом, чтобы поддержать балдахин. А когда взойдешь внутрь и затворишь за собой дверцы, очутишься вдруг в обособленном, замкнутом в самом себе мире, в темноте, в окружении мерцающих приглушенных огней, свет которых проникает через резные оконца и окошечки. Как дом, так и кровать стояли тут лет четыреста, и старая хозяйка дома говорила, что некоторые другие вещи, находящиеся здесь, имеют тот же почтенный возраст. Напротив, все белье, пододеяльники, наволочки и простыни были новыми, им еще не исполнилось и семидесяти. Все это поведала ему старая хозяйка дома по-французски, так как была она женщиной образованной, но со своей служанкой, которая была

еще старше нее, и со всеми работниками фермы она говорила на местном диалекте, то есть на древнем бретонском языке. До Большой войны (той, что теперь мы называем Первой мировой войной, а услышал от нее это Габриэль за год до своего возвращения в Иерусалим, то есть за четыре года до начала Второй мировой войны), так сказала она ему, французского не понимал никто из сельскохозяйственных рабочих, занятых на ее ферме, да и на трех остальных фермах (вся деревня состояла всего из четырех крестьянских кланов). Только когда началась война и вместе с французскими полками они пошли на фронт, за четыре года службы в армии они научились понимать этот чужой для них язык. С тех пор и девушки стали одеваться иначе: черные платья, вышитые передники и кружевные батистовые чепцы они сменили на "парижские платья, сшитые по вкусу грубой толпы". В первое же утро, когда по пробуждении он увидел над собой балдахин старинной кровати, рассказала ему хозяйка, подавая ему в постель завтрак, историю, которая приключилась с Прекрасной Мадлен триста лет тому назад. Пока он жил в ее доме в качестве богатого студента из Парижа, приехавшего в область Карнак изучать древнюю историю, она сама приносила ему завтрак, который готовила старая служанка, считавшаяся недостойной поднести ученому господину крепкий кофе в ореоле ароматнейшего пара и горячие булочки, намазанные маслом и вареньем. Одна из прапрабабушек хозяйки, которая родилась в этой кровати примерно триста лет тому назад, называлась Прекрасная Мадлен, ибо была красива на удивление, красива, жизнерадостна и полна жажды испытать все удовольствия этого мира. Она приятно проводила время с самыми видными из местных мужчин, но грехи свои хранила глубоко в сердце и не признавалась в них

даже священнику на исповеди. Однажды предстал перед ней Сатана в образе столичного аристократа, который приехал из Парижа, чтобы увидеть пещеры и дольмены¹⁰⁵ — гигантские камни, оставшиеся от древних храмов, в которых поклонялись Солнцу, Луне и созвездиям люди, жившие здесь много тысяч лет тому назад. Прекрасная Мадлен вызвалась быть ему проводником. Она привела его на место, где возвышались, словно застыв в хороводе, столбы, каждый из которых был сделан из цельной каменной глыбы высотой семь метров, и ввела его в круг дольменов, туда, где находился "стол торговцев" — большая каменная плита, на которой были вырезаны разные фрукты и колосья. И там, на "столе торговцев", она легла с ним и любила его всем сердцем. И с тех пор только и желала Мадлен доставлять радость ему, заезжему французскому аристократу, который, как нам известно, был не кто иной, как Сатана собственной персоной, и удовлетворять все его желания, но ее возлюбленный ничуть не был счастлив, а напротив — день ото дня казался все печальнее. Его печаль терзала ей сердце, и она бросилась перед ним на колени и просила, и умоляла его сказать ей, что еще она может сделать для него, пусть попросит все, что угодно, — он это получит. "Если бы дали мне кусить святого хлеба, — ответил он, — ожила бы моя душа". "И это все? — вскричала Прекрасная Мадлен, и удивилась, и очень обрадовалась. — Нет ничего проще". "Если бы ты дала мне поесть святого хлеба и выпить святого вина, ожила бы моя душа благодаря тебе", — сказал Сатана, и она поспешила в церковь, прокралась к алтарю за завесой, протянула руку к святому хлебу и к меху с вином, чтобы отнести их своему возлюбленному. И не вспомнила Прекрасная Мадлен, и не задумалась в сердце своем о том, что святой хлеб — это плоть

Иисуса, для освящения вкушают его верующие, дабы обрести спасение, а святое вино — это кровь Его, и дается оно священникам для освящения души, ибо сказано: "Иисус взял хлеб, и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов"¹⁰⁶.

"Чем же все это кончилось?" — спросил Габриэль.

"Она умерла на этой кровати, на той, на которой лежит господин, — ответила хозяйка. — Я уже сказала тебе, что это случилось почти триста лет тому назад. После смерти она попала в ад, и по сей день душа ее страдает и мучается от голода и жажды. Наш священник все время возвращается в своих проповедях к истории Прекрасной Мадлен и говорит о страшных муках, которые терпит в аду ее душа. Об этом знает вся страна. Не только в нашей церкви, но и во всех церквях в округе священники в своих проповедях рассказывают о Прекрасной Мадлен: в церкви Локмаякр, и в церкви Киброн, и в церкви Гавирини, и даже в церквях города Ваан. Иногда душа ее бродит здесь, в этом доме, ищет своего возлюбленного, чтобы накормил он ее хлебом и напоил водой, а иногда она открывает шкафы и роется в ящиках и шарит в корзинах, надеясь украсть что-нибудь из съестного. Если среди ночи послышится скрип отворяемой двери или шорох, то спящему на этой древней кровати не остается ничего другого, как перекреститься и помянуть Отца, Сына и Святого духа и Святую Деву Марию, чтобы отогнать дух Прекрасной Мадлен".

"Ее можно только слышать или также и видеть?" — спросил Габриэль.

"Она видима, также и видима, конечно, видима,

— ответила хозяйка, — в последний раз я видела ее всего двенадцать лет назад. Она стройная и полная, глаза у нее большие и серые, нос прямой, а ноздри тонкие и дрожащие, рот у нее полный и красный, маленький, а нижняя губа толще верхней, скулы высокие, волосы черные, а кожа белая, и на голове накладка из тонких кружев в виде крыльев бабочки. Осанка у нее прямая и гордая, и вся она словно светится — из-за Сатаны, который прилепился к ней, и от голода и жажды, что иссушают ее внутренности”.

Когда ночью Габриэль взобрался на кровать, он сконцентрировал все свои мысли на Прекрасной Мадлен, чтобы в полночь она предстала перед его глазами, и стоило ему закрыть раздвижные двери и улечься в темноте этого странного ларца, как он весь погрузился в ожидание, что вот-вот он ощутит на себе дыхание далекого и чужого мира, окружающего и обступающего его со всех сторон. Но далекая и нездешняя душа не появилась, а вместо этого распространилась по нему томная нега, душевная тоска наполнила его открытые глаза слезами, и он увидел своего ”дедушку” — так называла его мать, — сидящего в мастерской и вырезающего орнамент — гранаты и колосья — на доске из масличного дерева, которая должна была стать верхней стенкой шкафа. Тяжелый запах дерева сгустился вокруг, запах стенок и балдахина древней бретонской кровати, на которой он лежал, и по мере того, как он вдыхал запах этой чужой кровати, лежа на ней в полном сознании, он отчетливо видел, как резец в руке бабушки проникает с полуоборота в древесину масличного дерева, внедряясь между прожилками, и слышал тонкий звук раскалывающейся древесины и шорох опилок под своими ногами — ногами шестилетнего мальчика, пришедшего показать деду новые, только что купленные ему ботинки, черные, лако-

вые и блестящие, приятно поскрипывающие при каждом шаге. Дедушка прерывает работу, вытирает руки передником, берет его на руки и сажает к себе на колени. Дедушка поет и покачивает коленом в такт песне. Он поет: "Дедушка едет в дальние края, дедушка едет в дальние края". И действительно, через полгода или год отправился дедушка далеко-далеко, и Габриэль не увидел его больше, потому что дедушка умер. Дедушка оттирает своим фартуком опилки с новых ботинок Габриэля и обещает ему, что он тоже подарит ему красивый подарок, только готов он будет через несколько недель. "Что ты купишь мне в подарок?" — спрашивает Габриэль. "Я не куплю, — говорит дедушка, — я сделаю тебе подарок". Дедушка сделал ему шкатулку из масличного дерева — совсем как настоящий маленький аронха-кодеш: резную верхнюю стенку поддерживают две резные колонны по обе стороны от дверец, которые запираются настоящим ключом, маленьким и блестящим. Габриэль держит шкатулку двумя руками, гладит ее и пальцами чувствует спирали маленьких колонн, украшения их капителей, резные плоды граната и колосья. Он подносит ее к носу и вдыхает запах масличного дерева, смешанный с запахом лака, который еще не успел просохнуть. Он подносит ее к губам и легонько целует. Прижимает ее к сердцу и начинает вдруг скакать и плясать от радости, что есть у него такая красивая и такая дорогая шкатулка. Единственная в своем роде шкатулка, подобной которой нет на всем белом свете. Шкатулка, которую дедушка сделал специально для него. Три легких стука, отдаленные друг от друга равными промежутками времени, продолжительность которых диктовалась правилами вежливости, заставили его подняться с кровати и спрыгнуть с нее, чтобы в страхе побежать искать эту шкатулку, которая вот уже

более тридцати лет как исчезла из круговорота его жизни. Он никак не мог вспомнить, ни при каких обстоятельствах она исчезла, ни с каких пор он перестал видеть ее среди своих вещей и думать о ней. Эта шкатулка, которая была ему дороже всех полученных им когда-либо подарков, пропала бесследно, и сколько он ни старался соединить обрывки воспоминаний из своего детства, ему не удавалось найти даже намека на то, что же случилось с ней в конце концов: он так и не мог решить, потерял ли он ее, или подарил кому-нибудь, или сломал во время игры, или просто в один из дней обнаружил, что она пропала. Так или иначе, он не мог вспомнить, с каких пор перестала шкатулка попадаться ему на глаза, а ее образ перестал возникать в его мыслях. "Появилась ли Прекрасная Мадлен, чтобы побеспокоить господина во сне?" — спросила хозяйка, и ему показалось, что в старческих морщинах вокруг ее рта прячется загадочная улыбка. "Нет, нет, к сожалению, не появилась", — ответил Габриэль, сам не зная, зачем он прибавил "к сожалению". Он не знал, было ли это простым проявлением вежливости, или он действительно сожалел об этом. "Конечно, не осмелится и не сможет Прекрасная Мадлен появиться сегодня, — сказала старуха, — ведь сегодня день Святой Анны, а Святая Анна тоже родилась и умерла здесь, на этом месте, но не на этой кровати, так как умерла она за много лет до того, как был построен этот дом. Святая Анна, наверное, показала ему, господину, что-то хорошее во сне".

"Что-то очень хорошее, — сказал Габриэль, — красивую шкатулку из дерева".

"Конечно, конечно, — сказала старуха, — это, наверное, деревянная шкатулка, по образцу которой строят во всех церквях Бретани царские врата за алтарем. Иосиф-плотник сделал ее и послал

в подарок Святой Анне, когда она вернулась из Назарета на родину, в Бретань”. Габриэль пил крепкий утренний кофе, который в первые дни, пока он не привык к нему, вызывал у него сердцебиение, возбуждающее беспокойство, но какое-то приятное, и слушал хозяйку, которая присела на ступеньку кровати и рассказывала ему про Святую Анну из Бретани и шкатулку, сделанную руками Иосифа-плотника из Назарета. Анна, называемая Сент-Энн Д’урей, по имени места, где она родилась, является покровительницей Бретани и всех бретонцев, кем бы они ни были. Она была княжеского рода, и муж ее, который принадлежал к королевской семье, обходился с ней сурово и издевался над ней. Анна убежала от него и добралась до далекой Святой земли; поселилась она в Назарете и там родила Марию, Святую Деву. Когда Мария достигла зрелости, открыла ей ее мать, Энн, всю историю страданий и пыток, которые претерпела она от своего мужа, то есть от отца Марии, предостерегла ее и посоветовала ей выходить замуж за еврея, ибо евреи — хорошие мужья. И так случилось, что Мария — дочь бретонского принца — вышла замуж за старого и бедного еврея-плотника из Назарета, за Святого Иосифа, который скрыл от нее, так же, как он скрывал от всех жителей города, что он ведет свое происхождение от самого царя Давида. С великой любовью и жалостью усыновил он младенца Иисуса, которого родила его молодая и благословенная жена-девственница от Святого Духа. После того, как Святая Анна удостоверилась, что Мария, ее дочь, и младенец Иисус, сын ее дочери, нашли надежное убежище в доме старого плотника, она вернулась, чтобы спокойно умереть на родине, в Бретани, и быть похороненной в гробнице своих предков. Младенец Иисус, который всей душой привязан был к бабушке, обещал ей, что не забудет ее и

приедет к ней в далекую ее страну, когда вырастет и станет мужчиной; и так все и случилось. Перед смертью Анна еще удостоилась увидеть светлое лицо своего внука, Иисуса, который прибыл в Бретань и привез в подарок бабушке деревянную шкатулку, сделанную ее зятем, Иосифом-плотником, а в ней — локон Марии, ее дочери. Эта шкатулка все годы хранилась в церкви Святой Анны, и по ее образу и подобию вырезали во всех церквях Бретани царские врата за алтарем. И еще благодетельствовал Христос Бретань, родину своей бабки, тем, что ударил по скале рядом с ее домом, и открылся там святой источник, воды которого сочатся до сегодняшнего дня и который зовется святым источником Сент-Энн Ла-Пало. Великого счастья удостоился он, важный и ученый парижский гость, что накануне великого дня ее успения показала ему Святая Анна во сне деревянную шкатулку, сделанную руками Святого Иосифа, в которой хранится локон с головы ее дочери, благословенной Девы Марии, ту самую деревянную шкатулку, о которой сказано "прикоснись к дереву", ибо тот, кто коснется ее, исцелится от всех тяжелых недугов и уберется от злого глаза, и минет его всякое зло, горе и лишение. И поэтому он должен возблагодарить Святую Анну и восславить ее великое имя и совершить паломничество к святому источнику Сент-Энн Ла-Пало, который изливает свои воды недалеко отсюда, у подножия разрушенной крепости, к великому счастью ее, и его, и всех жителей деревни, ибо другим приходится сбивать свои ноги, добираясь сюда со всех концов страны. Если он помолится от всего сердца, может быть, Святая Анна окажет ему милость и соблаговолит снова явиться во сне и открыть то место, где лежит святая шкатулка.

"Что значит: место, где она лежит? — удивился Габриэль. — Ведь вы сами только что сказали

мне, что шкатулка все эти годы хранится в церкви Святой Анны!”

”Да, да, милостивый господин, — сказала хозяйка, — я говорила, что она хранилась там все годы, но сейчас ее там больше нет, вот уже много лет, как шкатулка исчезла, и никто не знает, где она”.

Если бы довелось увидеть ему хоть какой-нибудь сон, может быть, Святая Анна воспользовалась этим и прокралась бы туда, чтобы открыть ему местонахождение святой шкатулки, но в ту ночь никакой сон не посетил его, а если он даже и видел сон, то пришел повелитель внешнего света и заставил его забыть то, что он видел с закрытыми глазами при внутреннем свете, освещающем путь сновидцев. Когда в просветах резьбы, покрывающей стенки кровати, запрыгал и заплясал свет, вычерчивая причудливые арабески, он проснулся, и ощутил запах старого дерева, и услышал щебетание птиц, свивших себе гнезда в ветвях старого дуба за его окном. Вместе с ним проснулась давняя боль, тяжелая ее лапа распласталась на его груди и вдруг вонзила в него свой острый коготь. Габриэль сбросил с себя одеяло, корчась и извиваясь, подавляя в зародыше стон, готовый вырваться наружу; при этом он отодвинул полог кровати, чтобы посмотреть, не подслушивает ли хозяйка у входа, прежде чем вежливо постучать три раза, возвещая о завтраке. Если бы дедушка был жив, может быть, Габриэлю удалось бы исправить непоправимое, но дедушка принадлежал миру мертвых вот уже более тридцати лет, ведь он умер через несколько месяцев после того, как сделал в подарок внуку деревянную шкатулку. После того, как он показал Габриэлю, как открывается и закрывается шкатулка маленьким блестящим ключиком, в глазах дедушки появилось таинственное выражение, будто он собирался

открыть внуку некую удивительную тайну. "По-йдем, я что-то тебе покажу, — сказал ему дедушка, — только обещай, что никому не расскажешь". Дедушка отодвинул матерчатую занавеску, задубевшую от пыли и столярного клея, и Габриэль увидел в нише два огромных бревна, лежащих рядом во всю ее глубину и покрытых резьбой: две колонны с капителями в виде плодов граната, совсем как те маленькие колонны на шкатулке, которую он держал в руках. Дедушка тайно делал арон ха-кодеш для тех двух мошенников — синагогальных старост, которые не отдали ему еще остаток долга за арон ха-кодеш, что он сделал им двадцать пять лет тому назад, когда они еще были старостами синагоги Иешуот-Яков в Старом городе, тем самым старостам, которые, судя по всему, приложили руку к поджогу его дома и лавки в Старом городе в ту ночь, когда он тащил на спине огромный деревянный крест в русскую церковь на склоне Масличной горы. Он уселся внутри ниши на один из столбов и своей тяжелой, шершавой, покрытой мозолями рукой с распухшими пальцами стал гладить спирали, вырезанные им в плоти дерева. "Я знаю, я прекрасно знаю, — говорил дедушка, как будто перед ним стоял не маленький его внук, а дочь, пришедшая к нему с упреками, — я знаю, что по своей злобности, глупости и мелкой подлости они ничуть не лучше этих христианских священников из русской церкви, но мне нет до этого дела, не для них я делаю это, не для них и не для их хозяев, которые строят себе синагогу". Он хотел сказать еще что-то, но не сказал, а Габриэль побежал домой и показал своей матери полученный от деда подарок, и одним духом вместе с описанием всех достоинств шкатулки выдал матери все секреты, которые дед открыл ему, и даже назвал место двух бревен-колонн внутри ниши в конце мастерской. Когда дедушка сказал:

”Только обещай, что никому не расскажешь”, — Габриэль тотчас же понял, что он имеет в виду только его мать, ибо никому другому не было никакого дела до того, чем занят дедушка. И после всего того, к чему привело это предательство, не упрекал его дедушка, и не порицал, и не требовал объяснений, и не сердился на него даже молча, но продолжал встречать его с радостью и любил его по-прежнему, и Габриэль тоже принимал эту большую любовь как нечто само собой разумеющееся и не чувствовал необходимости просить у него прощения. И когда, наконец, пробудился его дорогой внук Габриэль, чтобы попросить прощения? Да, да, через тридцать лет после смерти деда, в заброшенном уголке западной Франции, когда, открыв глаза, увидел, что лежит в ”закрытой” бретонской кровати-ларце. Он хотел рассмеяться, но боль, давившая ему на грудь, пресекла еще в глубине легких всякое поползновение смеяться, эта боль все сильнее давила ему на грудь по мере того, как картины прошлого, представившие перед ним, становились все более отчетливыми и подробными. Лицо дедушки, побледневшее при виде ворвавшейся в мастерскую матери, и его рука, начавшая дрожать так, что резец выпал из нее и упал на рабочий стол, его тонкий прерывающийся голос, умоляющий ее не поднимать большого скандала, чтобы не было слышно на улице, лица всех соседских лавочников и прохожих, собравшихся поглазеть на происшествие. ”Выживший из ума дурак, старый греховодник, раб ханаанский! — во весь голос кричала на него мать на радость всем столпившимся на улице, осаждавшим вход в мастерскую. — Арон хакодеш ты собираешься делать этим бородатым и пейсатым мошенникам, которые придержали заработанные тобой денежки, да еще сожгли твой дом! Жалкий раб, иди, лижи задницу своим гос-

подам!” С тех пор дедушка больше не мог держать резец в руках, и поскольку его дрожащие руки не годились больше для работы, вид рабочих инструментов начал угнетать и удручать его до такой степени, что в конце своей жизни он просто грелся на солнышке, сидя на земле перед своей запертой на замок мастерской. Он сидел на земле, тихо разговаривал сам с собой, закрыв один глаз и ковыряя правым мизинцем в правом ухе, и время от времени раздражался смехом. Иногда вид старого столяра, сидящего у запертого входа в свою мастерскую, воткнувшего правый мизинец в правое ухо, то бормочущего, то смеющегося, привлекал к нему уличных мальчишек, которые собирались вокруг него, чтобы позабавиться, так как чувствовали покинутую разумом душу, как навозные мухи на расстоянии чуют тело, покинутое душой. Когда однажды по дороге к нему Габриэль еще с конца улицы увидел обступивших его мальчишек, он немедленно повернул назад и пошел другой дорогой, чтобы не подумали, не дай Бог, что он связан какими-то узами с этим потерявшим разум стариком. Он ясно представлял себе, как когда-то он, хорошо вымытый и причесанный мальчик, в синей курточке с золотыми пуговицами и с вышитой на верхнем кармане эмблемой Парижа, которую он получил в подарок от друга своего отца, французского консула, и которую он собирался показать дедушке, круто поворачивает по направлению к кинотеатру “Сион” и начинает торопливо шагать вдоль фасада кинотеатра, преследуемый страхом, что эти грубые подростки могут узнать, что старый столяр, сидящий на улице и разговаривающий сам с собой, не кто иной, как его дедушка. Он словно воочию увидел блики солнца на тонкой золотой решетке пуговиц и ощутил запах нового материала той необыкновенной курточки, и эта картина,

по прошествии тридцати лет, когда он поднялся с кровати в маленькой деревушке на берегу Атлантического океана, который местные жители называют "Диким берегом", эта картина заставила его испытать такую душераздирающую боль, что он начал извиваться у изножья кровати и биться головой о деревянные стенки, которые оказались слишком слабыми, чтобы выдержать новый приступ боли в сердце старого труса, и начали дрожать и издавать стоны и скрипы. Раз, еще раз и еще послышались один за другим три вежливых стука в дверь. Это хозяйка принесла ему завтрак, и он поспешил сесть на ступеньку перед кроватью и отереть пыль со лба, и при этом сказать слова, которые он говорил ей каждое утро, просыпаясь: "Сударыня, войдите, пожалуйста". "Лицо господина не то, что было раньше, — сказала хозяйка, и сердце Габриэля упало при мысли, что старуха подглядывала через замочную скважину и видела его извивающимся и бьющимся головой об пол. — Щеки господина порозовели, глаза блестят и свидетельствуют своей веселостью о восторге, как будто было ему ночью видение. Не была ли это Святая Анна, которая явилась ему во сне во всем своем великолепии?"

"Нет, нет, — сказал Габриэль, изумляясь обманчивому виду своего лица и радуясь этому, ибо он спас его кровоточащее сердце от любопытства дошлой старухи, — то был только старый, больной еврей, выживший из ума столяр".

"А я что говорю, — вскричала хозяйка с торжеством, — ведь то был Святой Иосиф, собственной персоной явившийся господину в его видении. И да будет вам известно, что только очень немногие удостоиваются лицезреть Святого Иосифа, ибо он посещает лишь добрых людей, и само его появление облагораживает сердце. Такое событие произошло с магом Мерлином, который

был добрым человеком и правдолюбцем, каких мало, поэтому неудивительно, что Святой Иосиф явился ему во сне и открыл ему местонахождение шкатулки и все, что произошло с ней со времени ее исчезновения из церкви Святой Анны. И если есть все-таки чему удивляться, так это тому, что Мерлин был братом Прекрасной Мадлен, которая из любви к Сатане украла святой хлеб из церкви, и Святой Иосиф явился ему во сне уже после того, как Мадлен попала в сети Сатаны. Маг Мерлин хранил глубоко в сердце все, что открыл ему Святой Иосиф, и не только никому ничего не сообщил, но и сам не пошел извлекать шкатулку из ее укрытия. Все принцы и графы, посланцы короля, вернулись от него с пустыми руками, а сам он оставил общество и поселился отшельником в Бруслиндском лесу, который в те времена простирался от холма с крепостью и до самого изгиба реки Одет, пока видит глаз, а теперь сохранились от него лишь эти одинокие древние дубы, которые вы видите за окном. Когда Мерлин углубился в лесную чащу, явилась ему дочь леса Вивиан, а он явился ей, и как только увидели они друг друга, зародилась между ними любовь. В страхе потерять любимого Вивиан очертила круг вокруг корней дуба. При желании маг Мерлин мог бы пересечь этот круг без всякого труда, но он был рад плену и не желал ничего другого, как остаться внутри него. Так и не вышел больше Мерлин из леса, хотя в то время на троне Франции сидел милосердный король, чтивший Бога в своем сердце, король, которого народ прозвал Людовик Благочестивый. Историю Людовика Благочестивого просвещенный мой господин, конечно, знает, и не мне вразумлять его, но хорошие дела, совершаемые человеком, в особенности, если этот человек король, заслуживают того, чтобы о них беспрестанно рассказывали, а тем более в минуту такой

благодати, когда лицо ваше светится сиянием лика Святого Иосифа, явившегося вам в видении. А почему я выделяю добрые дела короля? Потому что больше, чем кому бы то ни было на свете, трудно ему, королю, совершать добрые дела. Ведь у него больше, чем у кого-либо другого, возможностей дать волю своим дурным наклонностям. Этот король отдал все свое богатство, все богатства своей страны и своего народа за священные реликвии: бревна креста, который нес Иисус на своей спине, венец из терниев, которым увенчали его голову, и губку, смоченную уксусом, которой обтирали его губы. Все эти реликвии, хранящие в себе искры Святого духа, ибо они прикасались к телу, которое было вместилищем Святого духа, все эти святыни находились в руках венецианских ростовщиков, и благочестивый король выкупил их у них. А как попали эти священные реликвии, освященные прикосновением и освящающие прикосновением, в руки венецианских богачей? Вот как это случилось: крестоносцы, которые направлялись в Святую землю, попали в Византию, и вместо того, чтобы отвоевать Гроб Господень у мусульман, завоевали Константинополь — столицу своих братьев христиан-византийцев — и стали там править. Когда враги вокруг них усилились, им потребовались большие деньги для ведения войн. Но денег у них не было, и поэтому они обратились к венецианским ростовщикам с просьбой о ссуде, а те согласились дать ссуду только под самый дорогой залог. А что всего дороже для всякого христианина? Без сомнения, это святыни, хранящиеся в главной церкви Константинополя. Отдали крестоносцы эти реликвии в залог венецианским ростовщикам, чтобы получить деньги на войну, а выкупить их не смогли. Тогда крестоносцы обратились за помощью к королю Франции. Увидел благочестивый король, что возможность

совершить великое благодеяние сама идет ему в руки, и, не желая упустить эту возможность, он немедленно принялся за дело. Он собрал все богатства своей Франции и отдал их венецианским ростовщикам, чтобы только выкупить бревна креста, и терновый венец, и губку, а когда святыни прибыли во Францию, он пошел принять их, одетый во вретисце, босой и с непокрытой головой. Святую капеллу на острове Сен-Луи в центре Парижа он выстроил специально для этих священных реликвий. Все это время маг Мерлин скрывался в Бруслиндском лесу, внутри волшебного круга, и место шкатулки, которая действительно была сделана руками Святого Иосифа и действительно содержала локон с головы благословенной Девы Марии, он не открыл никому, сохраняя свое знание в тайниках своего сердца”.

”Что значит ”действительно”, — спросил Габриэль, когда вновь заметил нечто вроде улыбки, прячущейся в морщинках вокруг ее рта и глаз, — что, разве крест, за который Людовик Благочестивый отдал все богатства своей страны, не был действительно крестом Иисуса?” ”Только король-путаник, — сказала хозяйка, — каким был Людовик, только глупый праведник вроде него мог подумать, что можно купить священные реликвии у византийских тиранов и венецианских торговцев”.

”А шкатулка? — спросил Габриэль. — Откуда вы знаете, что шкатулка...”

”Я просто удивляюсь вам, — сказала хозяйка фермы. — Вы, будучи образованным и умным человеком, как можете вы сравнивать речи византийских правителей и венецианских мошенников с истинными словами самого Святого Иосифа, который собственной персоной явился в видении и говорил лицом к лицу с человеком, обладающим чистым сердцем?” Этот вопрос, видимо, продолжал беспокоить ее, ибо в тот же

вечер, перед тем, как он вышел на вечернюю прогулку к каменным столбам древних язычников на берегу моря, она снова пришла к нему и сказала: "Вы, конечно, своим вопросом хотели испытать меня и выяснить, умею ли я отличать истину от лжи". Ее слова напомнили ему о древе познания, и здесь, между древними столбами и морем, он впервые подумал — впервые с тех пор, как учил это в детстве, в комнате со сводчатым потолком в переулке Старого города, и во все эти годы, когда это место из Библии случайно приходило ему на ум, — так вот, он подумал, что то знание, из-за которого Адам и Ева были изгнаны из рая, было знанием добра и зла, а не знанием истины и лжи. Если бы он сам желал умения различать истину и ложь, а не стремился бы постичь относительность и условность добра и зла, он не упустил бы своего рая своими собственными руками, кожа которых съезжилась на холодном вечернем ветру, преодолевшем темное пространство океана. Он засунул руки в карманы брюк и поднял воротник пальто, чтобы защититься от влажного ветра, пропитанного запахом рыбы и соли, веющего со стороны большого моря: это огромное, беспредельное море и далекие небесные звезды снова заставили его почувствовать леденящую пустоту темного мирового пространства, они были чудовищны в своем равнодушии не меньше, чем знание того, что истинно и что ложно, которому поклоняются язычники от науки, завладевшие миром, чтобы научить этот мир знанию безликих законов, управляющих слепыми силами природы, само существование которых не имеет ни начальной причины, ни конечной цели, ни вкуса, ни смысла, ни чувства, ни морали. Гигантские столбы, уходящие правильными рядами по направлению с востока на запад, установление которых потребовало от древних язычников удивительных знаний,

эти мудроно расположенные каменные гиганты, как и скалы на берегу залива, как и волны моря, как и далекие созвездия, распространяли тот же нездешний равнодушный холод, поскольку и они относились к той же безличной системе земли, и моря, и звезд с открытыми слепыми глазами, которые бессмысленно вращаются в темнице собственных орбит, слепо следуя слепым законам, продиктованным слепыми силами, которые в слепоте своей сотворили сами себя.

Когда он повернул назад, к деревне, к своей "закрытой" кровати, холодный ветер, дувший ему в лицо, принес какие-то обрывки теплых человеческих голосов, которые долетали как будто бы со стороны залива и продолжали догонять его вместе с ветром, перекрывая шум моря, пока он наконец не остановился, и не пошел обратно, и не убедился, что то были действительно людские голоса и что они действительно доносились с залива. В одной из рыбацких лодок, стоявших вдоль пристани, сидело несколько парней и девушек из деревни, и они в этот момент запели знакомую ему песню, которую часто можно было услышать, проходя вдоль единственной улицы деревни; пелось в ней о несчастной девичьей любви. По дороге домой его неотвязно преследовали слова и мелодия припева этой песни, так что он начал напевать невзначай: "Это записано на небесах, это записано на небесах, это записано на небесах...", — и волна чудесной радости обняла и затопила его и вознесла вдруг навстречу тайне, открытой каждому, тайне, начертанной священными буквами Луны и созвездий, и Большой Медведицы, и Ориона, и всеми точечками и штрихами звезд по всей длине и ширине небесного полога, как древняя китайская песня на старинном шелке. Историю старинного китайского шелкового свитка Габриэль рассказывал мне всякий раз, когда хотел

объяснить свой взгляд на различные вопросы, и особенно, когда разговор касался научной истины, которую он называл не иначе, как "знание о том, что такое истина и что такое ложь, которому поклоняются язычники от науки, завладевшие миром", — и я до сих пор не знаю, случилась ли с ним эта история на самом деле, то есть в те времена, когда он еще изучал медицину в Сорбонне, или то была притча, к которой он прибегал, чтобы пояснить свою мысль. Специалист по химическому анализу, не француз, а еврей, уроженец Эльзаса, получил для исследования лоскут желтой материи с черными пятнами и в назначенный день представил своему начальнику, который пришел в лабораторию в сопровождении тщательно одетого китайского господина, все точнейшие химические формулы состава того материала, из которого был сделан этот лоскут, а также состав пятен на нем, и, что было тогда последним словом науки, даже цифру их возраста. Со скромностью, которая, как известно, украшает человека, он заявил, что предоставил им исчерпывающие сведения об этих черных пятнах и к этому нечего больше добавить. Тогда с почитательностью и достоинством к нему приблизился китайский господин, отвесил глубокий поклон, похвалил глубину его знаний и широту ума, после чего попросил тысячу извинений за то, что позволяет себе обратить его внимание на следующее обстоятельство: по странной случайности, те самые черные пятна, которые удостоились чести быть сделанными точно по формулам, представленным ученым господином доктором, могут рассматриваться также как явление, выходящее за пределы составляющей их тленной черной материи, а именно как древние китайские иероглифы, которые воспроизводят древнюю любовную песнь. Слова припева народной песни: "Это записано на небесах, это записано

на небесах”, которые Габриэль так часто слышал во время своего пребывания в маленькой бретонской деревушке Карнак, что совсем не обращал на них внимания, а если порой ненадолго и задерживался на них мыслью, то не переставал удивляться банальности этих слов, примитивности этой поэзии, которая могла родиться только в неразвитых умах, но которая до сих пор вызывает восторг у молодежи, и в наши дни распеваящей эту песню с неослабевающим воодушевлением, эти простые слова ослепили его чудесным и в то же время пугающим светом, который обрушился на него, когда под влиянием этих слов внезапно упала с его глаз разделяющая пелена. Не сравнение, и не аллегория, и не пустая фраза, но голый смысл — это записано на небесах сияющими буквами, буквами звезд, и даже мысль, которая превратилась почти в уверенность, что как бы он не силился, ему никогда не удастся расшифровать даже одну мерцающую букву в одном светящемся слове во всех этих свитках, открытых глазу каждого, даже эта мысль не могла ослабить тот пугающий свет, который открылся ему с падением одной из разделяющих завес. Каждый школьник в наше время знает о составе и механизме излияния светового потока от астрономических тел несравненно больше, чем самый ученый друид, совершавший в древности вычисления для установки гигантских столбов вдоль линии с востока на запад. Но даже последний из кельтов, босая ступня которого две тысячи лет тому назад ступала по земле, понимал то, чего не понял ученый господин доктор, который знал все, что только можно знать об этих черных пятнах, то есть что эти пятна, которые укладываются во все его химические и физические формулы, являются в то же время — и это важнее всех формул — записью

песни, и у этого кельта был свой способ толковать эту запись.

Я спросил у Габриэля, помнит ли он содержание той песни, что прочитал тщательно одетый китайский господин в химической лаборатории. Он подумал минуту и сказал, что в свое время записал эти слова в тетрадь, засунул ее на дно чемодана и так и не открывал его еще со времени своего возвращения домой. Когда настанет время, он откроет этот чемодан, вытащит оттуда тетрадь и покажет мне это китайское стихотворение. А пока, если моя душа желает чего-нибудь, в чем сохранился друидский дух, который и теперь еще царит в роще древних дубов у подножия холма с разрушенной крепостью, он покажет мне одно стихотворение, которое сам перевел на иврит.

Это стихотворение Габриэль перевел в комнате Леонтины, прислуживавшей старой хозяйке, которая была еще старше своей госпожи. Означенная старуха, считавшаяся вполне достойной того, чтобы готовить ему завтрак, но недостаточно достойной, чтобы подавать его ему в "закрытую" кровать, стала его госпожой. Превращение Габриэля из высокочтимого гостя хозяйки дома в слугу ее служанки было быстрым и внезапным, без всяких промежуточных стадий, и произошло назавтра после той ночи, когда упала одна из разделяющих завес. Причиной тому было письмо, которого хозяйка ожидала с неменьшим нетерпением, чем Габриэль, и которое прибыло в тот день из Иерусалима, от старого бека. Вместо обычного почтового перевода в нем было последнее и решительное заявление, что, поскольку Габриэль настойчиво отказывается продолжать изучение медицины, для чего он и был послан в Париж, прекращается высылка ему денежного пособия. Габриэль был уверен, что сможет наняться к хо-

зьянке, станет делать всякую работу по дому и в поле, и деньги, полученные за работу, позволят ему вернуть ей накопившийся долг, и в то же время он сможет по-прежнему жить в качестве жильца в ее доме, в комнате со старинной бретонской кроватью, но хозяйка думала иначе. Едва она поняла, что у него ничего нет за душой и нечего ждать по почте даже ломаного гроша, она побледнела, руки ее задрожали, изрезанное морщинами лицо передернулось, а рот задвигался в прерывистом дыхании, как у выброшенной на сушу рыбы. Габриэль в ужасе застыл, опасаясь, что она сию минуту умрет от разрыва сердца прямо у него на глазах. "Мошенник! — раздался через мгновение страшный крик. — Низкий мошенник и шарлатан! Скандал, скандал!" Она была потрясена этим известием, этим низким обманом, жертвой которого стала, ведь никто иной, как прохожий оборванец, бедный, как церковная мышь, притворился сыном богача и удостоился в ее доме королевских почестей, но еще больше поразило ее, что он намеревается и дальше спать в кровати господ, то есть после того, как будет зарабатывать у нее деньги в качестве простого работника; ей открылось еще, что он не только мошенник, но что он наделен ужасающей наглостью, несусветным нахальством, от которого могут пошатнуться и устои мира. "Леонтин! — надрывалась она, и если бы он не слышал этот крик собственными ушами, он не поверил бы, что такое громогласное рычание может исходить из тела такой тщедушной дрожащей старухи. — Леонтин, немедленно отправь этого шарлатана на его место! Всякому свое место, всякому свое место!" Кричать не было никакой необходимости, так как старая служанка все это время стояла на пороге и с удивлением наблюдала за неожиданным и драматическим поворотом отношений между ее госпожой и высо-

копоставленным гостем. Вопль старухи, многократно повторявшийся решительно и вместе с тем со страхом: "Всякому свое место, всякому свое место!" — напомнил ему стих из Писания: "Нет вещи, у которой не было бы своего места"¹⁰⁷, и приоткрыл ему щель для понимания источника ее страха, который был несоизмерим со страхом от того, что она пала жертвой его мошеннических козней. То был страх перед угрозой беспорядка, перед отвратительным хаосом, в который возвратится и погрузится мир в тот миг, когда нарушится его порядок, то есть когда ни одна вещь не будет находиться на своем месте, и, что еще хуже и страшнее, ни одна вещь не волеется в подходящую ей и повторяющую ее очертания форму, и ни одна душа не будет дана подходящему ей телу. Возможность того, что простой работник ее фермы будет, в сущности, не кто иной, как ученый господин из столицы, гостящий в ее старом доме, спящий в кровати ее предков и получающий из ее рук свой утренний завтрак, испугала ее не меньше, чем вероятность того, что Рекси, маленький кудрявый щенок, каждый вечер засыпающий у нее за пазухой, в действительности представляет собой лишь тело щенка, облакающее змеиную душу, или что Леонтин на самом деле является Прекрасной Мадлен, душа которой вселилась в тело находящейся у нее в услужении женщины. Прожив в комнате Леонтин целый месяц, все еще не знал Габриэль, что представляет собой его госпожа-служанка, и, если бы рассказала ему хозяйка, которая со времени его падения избегала встреч с ним, а если случилось ей наткнуться на него во дворе, когда он возвращался с работы, холодно, с отсутствующим выражением лица, отвечала на его приветствие, удивленная безмерным нахальством этого низкого чужестранца, горячо и сердечно приветствующего ее, будто он ее близкий

знакомый или друг, или будто она когда-то беседовала с ним, или будто он равен ей по положению! — если бы она рассказала ему, что Леонтин — его госпожа-служанка — на самом деле не кто иная, как Прекрасная Мадлен, которая когда-то полюбила Сатану, явившегося к ней в образе приятного господина, он бы не удивился этому, как не удивился бы, если бы ему сказали, что сама хозяйка — воплощение Святой Анны.

Комната Леонтин, находившаяся не в самом доме, а в конце двора, около задней калитки забора, не отличалась от комнаты хозяйки ни размерами, ни обстановкой: она тоже была очень большая, так же стояли вдоль стен старинные кровати, и черные старинные часы в углу неторопливо отсекали размеренные минуты от древнего благоухания неподвижного воздуха сверкающей медью неутомимого маятника, а у изголовья его кровати стояла тумбочка. Только в этой тумбочке и заключалось различие между двумя комнатами. И это различие предстало перед ним во всем своем великолепии, когда вечером он открыл дверцу тумбочки и нашел внутри ночной горшок. Как не предполагал он найти ночной горшок около своей кровати, так никогда не думал он, что существуют такие великолепные ночные горшки. В отличие от ночных горшков, что он помнил со времен своего детства, тех, что сделаны из покрытой эмалью жести — жести, которая глядит черными глазами изо всех щербин и царапин, этот был сделан из цельного куска белого блестящего фарфора, разрисованного красными, розовыми и желтыми розами и окаймленного по ободку вплетенными в их листья фиалками. Сама комната стала ему ближе, теплее, милее при виде этого скромно прячущегося в тумбочке великолепия, и когда он взялся за ручку горшка, вытащил его наружу и водрузил на стол, дыхание его перехватило от полноты на-

хлынувших чувств. Кто богат? Рабби Иоси¹⁰⁸ говорит: всякий, у кого есть уборная неподалеку от столовой. Эта древняя мудрость, рожденная в дни детства рабби Аббайе¹⁰⁹, согрела его — ведь он был богачом, — но она же и пронзила его новой болью, ибо теперь он совсем по-другому увидел эпизод из своего детства, когда он впервые пошел ”сделать по-большому” в уборную дедушки. Он, как видно, был сильно взволнован подарком — прекрасной шкатулкой, которую сделал ему дедушка, и ему приспичило. Дедушка повел его в уборную, которая находилась в другом конце здания, через темный коридор со сводчатым потолком, где пахло сыростью и мочой. ”Ты можешь вернуться в мастерскую, — сказал он деду, — теперь я знаю, где уборная”. Но дедушка остался за дверью, и все время, пока он сидел внутри и какал жидкими какашками, дедушка, к его неудовольствию, стоял снаружи и что-то напевал, будто Габриэль был маленьким трусливым ребенком, который боится остаться один в темной уборной. ”Я же сказал тебе, чтобы ты вернулся в мастерскую, сказал тебе, что я не ребенок и не боюсь оставаться в уборной один”, — кричал он в досаде, которая заставила его начисто забыть радость от чудесной шкатулки. Дедушка рассказал ему тогда историю своего деда, который никогда не видел ни своего отца, ни своей матери, потому что родился сиротой. Когда его мать была им беременна, умер его отец, а сама она умерла родами. Воспитавшая его женщина была умной, доброй и милосердной, и она растила для него ягненка, который, — говорила она, — будет ходить с ним в уборную, чтобы отогнать от него страх. Когда он вырос, то говорил, что человек, входящий в уборную, должен молиться сопровождающим его ангелам, умолять и упрашивать их: ”Храните меня, храните меня! Помогите мне, помогите мне!

Поддержите меня, поддержите меня! Подождите меня, подождите меня, пока я не войду и не выйду, ибо так уж устроен человек”. ”Но ведь он был тогда маленьким, он был совсем ребенком, когда ходил с ягненком в уборную, — возразил Габриэль дедушке. — и, кроме того, он был сиротой и поэтому чувствовал себя одиноким. Из-за того, что папа и мама оставили его и умерли, он боялся, что и ангелы оставят его. И вообще, мы ведь знаем уже, что ангелов на свете нет, что все это суеверия. Его нянька говорила ему, что добрые ангелы хранят его везде и повсюду, куда бы он ни шел, чтобы ему было не страшно идти одному. И вообще — чего можно бояться в уборной?” ”Есть специальный бес уборной, — сказал дедушка, — так написано в Гемаре. Зовут его Бар-Ширикай-Пандай, он — порождение львов, и тот, у кого зоркий глаз, может увидеть его на голове льва и на носу львицы. Если человек сидит в уборной и увидит вдруг этого беса перед собой, он должен сказать: ”На черепе льва и на носу львицы нашел я его, на грядке вики побил я его и челюстью осла ударил”. Кто скажет так, сделается героем, как Самсон, который голыми руками разорвал надвое льва и побил тысячу человек ослиной челюстью¹¹⁰. Тогда бес испугается и убежит”. ”А как выглядит этот бес?” — спросил Габриэль. ”Он похож на косматого, на козла, и не только Аббайе боялся его, но и все мудрецы, благословенна их память. Этот бес завидует мудрецам и приходит досаждать им в уборной. Рабба¹¹¹ не был сиротой, как Аббайе, и все-таки жена очень берегла его от всяких напастей. Когда он шел в уборную, она клала орех в медный кувшин и шумела им за дверью, а после того, как он сделался главой иешивы, она еще больше стала беспокоиться за него и сделала окошко в двери уборной, и все время, что он находился там, у него на голове покоилась ее рука,

протянутая через окошко”. Он представил себе справляющего нужду Раббу, в то время как рука его жены, просунутая через прорезь в двери уборной, покоится на его голове, и эта картина так смешила его, что всякий раз, вспоминая об этом, он заново разражался смехом. Когда он впервые услышал от дедушки этот рассказ, он смеялся так сильно, что заразил и дедушку своим смехом. Дедушка смеялся и подбрасывал его вверх, смеялся и целовал его в голову, смеялся и танцевал, держа его на руках, как когда-то танцевал в синагоге со свитком Торы¹¹². Дедушку это веселило, а его мать — нет.

”Как зовут беса уборной? — от безудержного восторга Габриэль не мог дождаться, пока его мать сама догадается, и крикнул: — Бар-Ширикай-Пандай!” Ее лицо побледнело, когда она услышала из уст своего сына эту загадку и тут же ответ на нее. ”Дедушка снова забивает тебе голову мидрашами!” Если до сих пор в ее сердце и оставалась тень сомнения, то теперь бес уборной доказал ей воочию и бесповоротно, что ее выживший из ума старый отец решил окончательно задурить голову своего внука глупыми суевериями и сумасбродными идеями из своих никчемных мидрашей, и это после того, как он сделал все, чтобы погубить жизнь своих детей. ”Ноги его не будет больше в этом доме!” — закричала она в пророческом гневе и строго-настрого запретила Габриэлю навещать этого безумца.

”В сущности, ты можешь навещать его, да и он может приходить сюда, когда захочет, ведь он твой дедушка и любит тебя, и человек он хороший, хотя немного не в себе из-за старости, — отменила она свой запрет после небольшого раздумья, вспомнив, очевидно, ту простую истину, что запретный плод сладок, — но не обращай внимания на его рассказы об ангелах и бесах и

на другие глупости. Ведь ты умный мальчик и знаешь, что никаких духов и бесов ни в доме, ни в уборной, ни в кастрюле, ни в ночном горшке не бывает”.

Ночной горшок говорит: добро пожаловать, ученый господин из Парижа, — так и было написано на расплывшемся в улыбке лице Леонтин, когда она вошла в комнату и застала Габриэля, в задумчивости созерцающего горшок; он тоже вдруг увидел ее в зеркале большого платяного шкафа, стоявшего напротив, и смутился при виде ее улыбки. Мне он сказал, что смутился не из-за себя, а из-за того, что понял, что, вытащив ночной горшок из тумбочки и поставив его на стол, он, сам того не желая, проник в интимный круг жизни Леонтин, которая по доброте душевной пустила его в свою комнату, а не поместила в сарае, где хозяйка фермы селила сезонных рабочих. На всю ферму была одна уборная — в доме хозяев, и в морозные ночи старая служанка, конечно, нуждалась в ночном горшке, потому что ее натруженным ногам было не под силу проделывать далекий путь до большого дома, а выйти в поле, за ворота, было слишком холодно. Большинство местных крестьян, до которых пока не дошли столичные новшества, справляли нужду просто в поле.

”Красивый горшок”, — сказала Леонтин.

”Очень красивый, — ответил Габриэль, — никогда не видел такого красивого”.

”Он и вправду самый красивый из моих горшков, — сказала Леонтин, — я поставила его специально для вас. Я подумала в душе — этот чувствительный господин побоится, наверное, ночных ветров”. Ветры дули в тех местах постоянно, и эти сильные ветры с океана нередко прогоняли с Дикого берега немногих парижских туристов, случайно там очутившихся, которые зябко кутались в шали и шарфы даже при обычном ветре.

”Я не боюсь ничего, никаких ветров, — сказал Габриэль. — Ни днем, ни ночью”.

Леонтина взглянула на него и заметила: ”Это может быть хорошим признаком”.

Легкий ночной ветерок обвевал его голые ноги, когда он низко присел над землей, спустив брюки, поднял глаза к далеким звездам и задержал дыхание, вслушиваясь в пространство. Внезапно он почувствовал, что кто-то стоит позади. Дрожь в спине от неприятного беспокойства мгновенно превратилась в судорогу страха, в спазму под лопаткой, когда он ощутил запах столярного клея и услышал голос, напевающий: ”И очисти сердце наше, сердце Твоего верного раба, и очисти сердце наше, сердце Твоего верного раба”, — и с ужасом понял, что это дедушка, дедушка, который умер тридцать лет тому назад, стоит за его спиной. Присутствие мертвеца позади него превратило весь этот прочный, этот осязаемый, этот существующий мир — от земли под его анальным отверстием до звезд над его глазами — в тонкую и ломкую пряжу из причудливо свивающихся и развивающихся нитей, растворяющихся в ничто, и у него не хватило духа обернуться. У него хватило духа только на то, чтобы вскочить и ринуться бежать, придерживая рукой спущенные, раздувающиеся на ветру брюки, к задней калитке забора. Лишь очутившись во дворе, он застегнул брюки при свете, льющемся из окна комнаты Леонтина, глубоко вдохнул воздух и зачерпнул воды из древнего колодца, чтобы остудить лицо и затылок и привести себя в порядок; еще он заглянул через окно в комнату, прежде чем вошел. Когда он увидел, что старая служанка ровно лежит на спине, погруженная в глубокий сон, и, значит, не заметит, когда он войдет, что с ним произошло что-то необыкновенно смешное, он испытал такое же облегчение, как тогда, когда ему стало ясно,

что хозяйка не видела его бьющимся головой об пол за стенками старой кровати. Он представил себе себя самого, удирающего со спущенными брюками, и это рассмешило его больше, чем в детстве картина Раббы, справляющего большую нужду, в то время как рука его жены, просунутая через окошко в двери уборной, покоится на его голове, но смеяться громко он не мог, боясь разбудить Леонтина, и потому он сидел и смеялся про себя тихим смехом, совсем как дедушка, который тоже тихонько смеялся про себя в последние дни жизни.

Леонтина засмеялась, когда он спросил ее, вернувшись вечером с работы (в тот день он был послан в хлев помогать кастрировать свиней), верит ли она в бессмертие души; она и вообще любила смеяться, ибо всегда пребывала в хорошем настроении, что иногда выводило из себя ее госпожу: хозяйка все всегда принимала к сердцу чрезвычайно серьезно и поэтому (в силу того, что всякая вещь, будь то крыша, которая течет, или тарелки, норовящие выскользнуть из моющих их рук, или коровы, заболевшие ящуром, всякая вещь и всякая тварь по природе своей подвержены порче и гибели) ходила всегда с огорченным и буквально страдальческим выражением лица, согнувшись под бременем мировой скорби. Итак, хозяйка говорила: "Она несерьезна, эта Леонтина, она легкомысленна", — а в порыве злости кричала на нее: "Уходи отсюда, бессердечное животное". В день приезда Габриэля из Парижа и, в сущности, в продолжение всей первой недели его пребывания в ее доме, она ворчала на Леонтина: "Бессердечное животное, вот ты кто, бессердечное животное, какой скандал! Господь всемогущий, какой скандал!" И все это из-за одной истории. В то воскресенье в церкви Святой Анны произносилась поминальная молитва по жителям деревни, пав-

шим во время Большой войны "на полях чести", как сказал священник. Из-за Леонтин — так утверждает хозяйка — прибыли обе старухи в церковь с некоторым опозданием и торопливо пробирались, стараясь не шуметь, к своему месту рядом с деревенским врачом, который стоял с непокрытой головой среди прихожан, а его праздничная шляпа — высокий черный цилиндр — лежала рядом на стуле. Когда священник кончил поминать павших и дал собравшимся знак садиться, хозяйка, взволнованная и взбудораженная торжественностью момента, а также опозданием, причиной которого, как уже сказано, была служанка, уселась прямо на цилиндр врача, который был немедленно раздавлен, о чем возвестил стон сминаемого шелка. Врач побледнел и бросил на нее гневный взгляд, а она поспешила выпрямить злополучную шляпу и, насколько это было возможно, разгладить ее вмятины, а затем подала ее ему с выражением глубокого сочувствия его беде. Если бы не Леонтин, можно было бы сказать, что все обошлось, но "это бессердечное животное" разразилось, глядя на хозяйку, таким громким смехом, что все общество в ужасе обернулось в их сторону, а священник прекратил проповедь и сказал: "Я вынужден напомнить уважаемым господам, что они находятся в священном месте и посередине молитвы о душах жертв, павших на полях чести".

Больше всего разгневало хозяйку, что священник сказал — "господам", то есть употребил множественное число и сделал ее соучастницей скандала, хотя смеялась одна только Леонтин. Чтобы исправить недоразумение, ей пришлось ходить, опираясь на руку Леонтин, из дома в дом по всей деревне и объяснять всем, что не она, а только Леонтин смеялась в церкви.

Самозабвенный смех, свободный и ничем не стесненный, именно он, наверное, делал Леонтин

намного более молодой, чем ее госпожа, и когда хозяйка сказала, что Леонтин старше ее на несколько лет, он не мог этому поверить и отнес ее слова за счет стремления преувеличивать возраст других, которое было свойственно и его матери, но Леонтин сама подтвердила это. Она была ловкой в движениях и даже ходила легко, несмотря на едва заметную хромоту. Это не было настоящей хромотой, просто левая нога чуть запаздывала, словно ее колено хуже сгибалось. За работой Леонтин всегда пела, именно у нее Габриэль научился народным песням, которые здесь распевали все, и песне "Я встретил по дороге дочь юную жнеца, я встретил по дороге дочку косаря", и песне "Это записано на небесах". Она рассмеялась и тогда, когда он пытался, правда, достаточно слабо, протестовать против завтраков, приносимых ему в постель, и объяснить ей, что это просто невозможно, чтобы она, которой хозяйка поручила использовать его в работе по дому и в поле и относиться к нему со всей строгостью, чтобы она каждое утро вставала раньше него и готовила ему крепкий душистый кофе и намазывала маслом и вареньем свежие булочки. Но она нашла много доводов в свою пользу: во-первых, здоровье — для укрепления своего здоровья она должна вставать рано и упражнять тело в движении, и, во-вторых, удовольствие — ей доставляет удовольствие приветствовать его по утрам запахом крепкого и хорошего кофе, и эти доводы — все вместе и каждый в отдельности — убедили его, что его долг и дальше получать из ее рук завтрак в постель. Тем более, что этот долг был ему очень приятен, несмотря на чувство вины перед нею.

"Я знаю, что вопрос смешон, — сказал Габриэль, — но все-таки скажи мне, веришь ли ты в бессмертие души?"

"При чем тут вера? — отозвалась она. — Я вижу

и я знаю то, что видят мои глаза”.

Габриэль не вполне понял ее.

”Так ты не веришь!” — сказал он.

”Конечно, не верю, — ответила она. — Я думала, ты уже понял, что я отступница и что поэтому моя покровительница всегда так сердится на меня”. Она снова залилась смехом, и Габриэль начал понимать хозяйку, которая иногда выходила из себя из-за веселости Леонтин. Смеясь, показала она на тумбочку, хранящую внутри себя великолепный ночной горшок, и, когда смех ее немного утих, сказала: ”Я потому и приготовила тебе ночной горшок, что думала, что ты чувствителен к ветрам и духам”. Габриэль сердился, ему не терпелось снова вернуться к своему вопросу.

”Итак, глаза твои видят, что человек умер и похоронен, и ты знаешь, что это конец. Был и нет его!” Он вышел из комнаты в ночь, не дожидаясь возобновления ее смеха, не знающего удержу.

Запах хорошего крепкого кофе разбудил его, и он увидел Леонтин, несущую ему завтрак в постель; глаза светились, и этот свет свидетельствовал о том, что она не сердится, а, наоборот, вновь испытывает радость рабыни, унаследовавшей от своей госпожи честь подносить утреннюю трапезу высокопоставленному гостю, который забыл, что он уже не гость, почивающий в хозяйской кровати, а всего-навсего слуга служанки. ”Нет, Леонтин, нет и нет. Не ты должна подавать мне — это я должен подавать тебе. Боже всемогущий, что это тут творится?” Стрелки больших черных часов врезали под прямым углом клин на циферблате, показывая, что уже девять, а ему следовало вставать на работу в шесть часов утра. ”Ты забыла разбудить меня!” — воскликнул он и сел на кровати. ”Это не я забыла, а ты забыл, что сегодня воскресенье, день отдыха”. Тогда он заметил отделку из белого кружевного батиста на ее праздничном

платье и бретонский традиционный островерхий батистовый чепец, похожий на маленькую красивую башню, на ее голове и почувствовал запах белых, розовых и красных гвоздик, которые она нарвала в саду и поставила в вазу на столе и в банки, стоящие на комодах.

Запах гвоздики Габриэль любил больше запахов всех других цветов, кроме жасмина. "Сын мой Марсель любил гвоздику больше всех других цветов, — сказала она, — и сегодня, в этот час, в девять утра, исполнилось двадцать лет со дня его смерти. Он погиб в первом бою на Марне". С улыбающимся, как всегда, лицом и сияющими глазами она рассказала ему о том, что случилось в этот день двадцать лет тому назад. Утром она стояла в углу комнаты и заводила часы, которые только что остановились. Едва она дотронулась до цепи маятника, в глазах у нее потемнело, дыхание перехватило, и она услышала голос своего сына Марсея: "Мама, мама, мне нечем дышать", — и увидела его исчезающим в облаке пыли. Она увидела его умирающим на расстоянии восьмисот километров и знала, что теперь ей остается только ждать, чтобы его имя появилось в следующем списке убитых, но оно не появилось. Вместо этого неделю спустя она нашла его в списке пропавших без вести, и только через несколько недель, когда снаряды немецкой артиллерии подняли в воздух груды земли и кирпичных обломков, оставшихся от предыдущей атаки, было обнаружено тело раненного юноши, заживо погребенного под развалинами. Мужу своему она об этом не сказала, так как он был болен последней своей болезнью, после которой уже не оправился, и, кроме того, он был "чувствителен к духам" еще со времени смерти Лизетт, их старшей дочери, которая умерла в детстве от воспаления легких, за пятнадцать лет до гибели Марсея. Однажды ночью, когда

ее муж вышел справить нужду под дубом, что растет у них за забором, он увидел перед собой умершую Лизетт. Сильно испугавшись, он спасся бегством, а брюки так и остались в поле. Маленькая сладкая Лизетт была дорога ее сердцу, и она тоже хотела увидеть ее. Вся покрытая потом и дрожа от страха, вышла Леонтин посреди ночи в поле и крикнула: "Лизетт, Лизетт, приди ко мне, Лизетт, я хочу увидеть тебя!" Но Лизетт не пришла. Каждую ночь выходила Леонтин в поле и со страхом и надеждой кричала: "Лизетт, Лизетт!" — пока про нее не стали говорить, что она сошла с ума от горя из-за смерти дочери, но Лизетт не приходила. Она перестала выходить по ночам в поле, перестала звать ее и надеяться. В одну летнюю ночь она сидела и вышивала кофточку. Подняв на мгновение глаза, она через открытое окно увидела Лизетт, стоящую около ворот. Увидев Лизетт, она выронила из рук вышивание и побежала к дочери по самой короткой и прямой дороге — через открытое окно. "Я чувствую себя уже лучше, мама, — сказала Лизетт, — воспаление легких прошло, и сейчас мне уже можно играть на улице, на берегу реки".

"А когда я увижу тебя снова?" — спросила Леонтин, но Лизетт уже исчезла, и Леонтин знала, что Лизетт вернется к ней, как только сможет, и действительно, она возвращалась к ней еще дважды, пока не переселилась в тело другого ребенка, пришедшего в мир, как говорят у нас в деревне, "ребенок умер — ребенок родился". Душа умершего ребенка не пребывает вне тела так долго, как душа взрослого, которая может бесплотной летать в этом мире сотни и сотни лет. Только когда Леонтин вернулась домой, она почувствовала боль в колене, которое ушибла, прыгая из окна. И до сегодняшнего дня она не может сгибать его, как прежде. Душа Лизетт вселилась в тело

другого ребенка, родившегося через четыре месяца после ее смерти, а душа Марсея, который был уже взрослым, ему был двадцать один год, когда он погиб, еще бродит, вот уже двадцать лет бродит повсюду и радуется сердцу матери своими проделками, ведь он и при жизни был большим проказником и шутником; он также иногда подает ей голос, распевая новые песни, которые выучил в полку. "Моя покровительница, которая видит и слышит только себя да мычание коров, кудахтанье кур и набитые глупостями воскресные проповеди этого дурака и пьяницы, отца Лагофика, всегда спрашивает: "Ты не боишься всех этих духов? Если бы мой покойный муж, — так она говорит мне, — появился передо мной в кухне, я бы умерла от страха", — а я говорю ей, что если бы она действительно любила своего мужа, то она бы превозмогла свой страх и сама хотела бы увидеть его. В чем ее беда? Беда ее в том, что она верит во все глупости, которые изрекает отец Лагофик. Когда тот в своей проповеди начинает призывать огонь и серу на колдунов и на ведьм, вызывающих мертвецов, моя покровительница бледнеет, начинает дрожать от страха и боится смотреть в мою сторону. Вот она — уже стоит, готовая идти к мессе, и ждет меня". И действительно, в этот момент послышался голос хозяйки, зовущий: "Леонтин, Леонтин, если ты сейчас же не выйдешь, мы снова опоздаем в церковь!"

Габриэль смотрел через окно на двух старух, под руку идущих в церковь на воскресную мессу. И чем больше они удалялись от дома и приближались к церкви, тем больше старился образ хозяйки и молодел образ Леонтин. Слабость и возраст, горести и забота о ведении хозяйства согнули ту, что повелевала, и она шла, опираясь на руку Леонтин, стройной и прямой, шагающей

бодро, несмотря на негнущееся левое колено. Хотя хозяйка и опасалась опоздать на проповедь, она иногда останавливалась и говорила служанке: "Перестань, пожалуйста, скакать, как кобылица, возвращающаяся в свое стойло. Подумай немного о моем состоянии". По дороге из церкви хозяйка выглядела еще более согбенной, а Леонтин — еще более бодрой и веселой, чем раньше. Она вошла в комнату, напевая: "Это записано на небесах, это записано на небесах", — и легким движением руки развязала ленты чепца под подбородком и подбросила его вверх, будто выпустила на волю белую гигантскую бабочку, которая взлетела до потолка и опустилась на красные гвоздики, стоящие посреди стола. "У нее зеленая душа", — подумал Габриэль по-арабски. Один-единственный раз в жизни он слышал это выражение, и слышал его на арабском, когда был десятилетним мальчиком и подслушивал беседу между отцом и судьей Даном Гуткином. Отец наклонился и прошептал что-то на ухо своему приятелю, и оба разразились громким смехом, а Дан Гуткин хлопнул себя обеими руками по ляжкам, засмеялся и закричал по-арабски: "Иехуда Проспер-бек, душа у тебя зеленая, клянусь Богом, душа у тебя зеленая!" Потом отец объяснил ему, что арабское выражение, которое употребил судья, характеризует душу молодую, как полевое растение, молодое и свежее, ярко-зеленое и полное соков жизни. Сейчас, следя глазами за подбросившей вверх белый батист рукой, Габриэль осознал, что возраст души Леонтин вовсе не соответствует возрасту ее тела и никак с ним не связан, поскольку относится совсем к другому и совершенно иному круговращению: когда это тело окончит свое существование, душа Леонтин выйдет из него точно такой же молодой, какой вошла: зеленой бабочкой с трепещущими, точно наэлектризованными крыльями.

”Я знала, знала, знала, — весело говорила она, — я знала, что сегодня будет у меня приятная встреча”. И действительно, кого встретила она в церкви, если не Малыша Шарло — Шарля Летрокера, друга детства ее сына Марсея. Они вместе ходили в школу, и вместе призваны были на Большую войну, и вместе участвовали в первом наступлении на Марне. Сейчас Малыш Шарло стал важным человеком, он руководит бретонским отделением известной фирмы перевозок ”Кальберсон” в большом городе Ламанс, и в его распоряжении есть машина, которая каждый день возит его из дома в контору и из конторы домой. Ей всегда приятно встречать друзей Марсея и особенно приятно встречать Малыша Шарло, который умеет так славно рассказывать старые истории, есть у него и новые, есть о давно прошедших днях и есть о том, что происходит сегодня. Малыш Шарло появился утром вместе с запахом хорошего крепкого кофе и горячих булочек с маслом и вареньем. ”Сегодня, — сказала Леонтин Габриэлю, — ты не будешь работать ни в поле, ни во дворе, а пойдешь прямо в дом к Малышу Шарло, и он скажет тебе, что делать”. Глаза ее, когда она говорила, сверкали странным блеском, и именно этот блеск, больше, чем ее странное распоряжение, заронил в его сердце подозрение, что с ней не все в порядке. Когда он попытался выяснить, в чем дело, и спросил: ”Но что это значит, с чего это вдруг?” — она немедленно прервала его словами: ”Не спорь, пожалуйста”, — и вышла из комнаты. Не от нее, а от Малыша Шарло довелось ему услышать кое-какие разъяснения, которые позволили ему догадаться о ее замысле: зная, сколько зарабатывают у хозяйки работники фермы, Леонтин подсчитала, что Габриэлю придется работать три месяца, чтобы выплатить долг, и, хорошо зная свою госпожу, она предполагала, что

та вполне может выставить его через три месяца без гроша в кармане. Поэтому она договорилась с Малышом Шарло, чтобы он принял его на работу в свою фирму перевозок, и того, что Габриэль заработает там за один месяц, ему хватит, чтобы расплатиться с хозяйкой, да еще останется несколько десятков франков. Габриэль поблагодарил ее больше за доброту, чем за пользу, которую мог извлечь из ее стараний, но она отстранила его движением руки, и во взгляде ее вспыхнуло необычное выражение, отчего сердце его сжалось. "Поторопись, — сказала она. — Шарло уже стоит у себя на пороге и ждет машину, которая должна прийти с минуты на минуту. Если не побежишь, не доберешься тебе сегодня до места".

В тот день Габриэль должен был прибыть в северный район Парижа, чтобы грузить и разгружать грузы, пришедшие поездом из-за границы. "Если будете работать ловко и скоро, — сказал Малыш Шарло Габриэлю и другим рабочим, которые взобрались на огромный грузовик, направляющийся в сторону столицы, и подмигнул, — успеете хорошо провести время в Париже, но не ходите ни на площадь Пигаль, ни на Елисейские Поля. Там с вас снимут шкуру, ведь вы не американские туристы. Я советую вам пойти на улицу Сен-Дени, там, внизу, около церкви Сен-Усташ, есть большой выбор хорошеньких девочек, и цены вполне подходящие".

В конце того же месяца случилась у него ужасная неувязка при доставке последней посылки.

Габриэля послали в городок Нойон на северо-востоке Франции, чтобы привезти туда посылки, пришедшие из-за границы, и большой конфуз был следствием большого веселья, охватившего его и шофера грузовика: потому, что эта посылка была последняя, и потому, что работа была легкая и быстрая, и потому, что еще немного времени

— и она закончится, и они направятся со скоростью всех лошадиных сил своего грузовика к нижней части улицы Сен-Дени, где их приведет в смущение обилие всех этих проституток, желанных все вместе и каждая в отдельности, — они запели вместе бретонскую народную песню "Это записано на небесах, это записано на небесах..." в тот момент, когда прибыли к воротам гостиницы, где остановился господин, которому была адресована последняя посылка. Ворота открылись, и две головы, которые, как выяснилось потом, принадлежали одна — швейцару, а другая — курьеру гостиницы, вперли в них удивленный взгляд, пораженные бурным проявлением жизнерадостности, которое так внезапно нарушило застывшую атмосферу чинного спокойствия, царившую здесь. Еще до того, как ворота открылись, взгляд Габриэля привлекла каменная ограда, которая напомнила ему, как любил он в детстве высокие каменные ограды Иерусалима, за которыми скрывались неведомые тайны, но здесь в сердце его не проснулось желание проникнуть в тайны чужой жизни, текущей за оградой, из-за самой этой чуждой атмосферы, от которой исходил неприятный ему запах старой материи, погруженной в мыльную пену и крахмал, запах, характерный для чужого порядка жизни, педантичного, холодного, прочно и расчетливо укоренившегося в этом мире, подкрепленного благочестием и защищенного икупительной жертвой Мессии в его гугенотском варианте, ибо гостиница производила впечатление постоянного двора, предназначенного для служителей гугенотской церкви. Когда Габриэль вошел с посылкой в руках во внутренний двор, служащая гостиницы сердито закричала швейцару и курьеру: "Что это случилось с вами? Пусть он немедленно идет на свое место, на свое место", — с тем же выражением испуга в голосе и теми

же словами, которые выкрикивала хозяйка фермы, когда выставила его из своего дома и велела перебираться в дом своей служанки. При этом ее глаза остановились на фигуре незнакомого посыльного, который мало того, что своим разнужданым пением лишил этих двоих всякой способности соображать, но еще и остановился с пакетом в руках перед главным входом, и это была последняя капля, переполнившая чашу ее терпения: "Эй ты, бретонец, вход через служебную дверь, через служебную!" И когда он попытался, вышел наружу и снова вошел через служебную дверь, она уже стояла перед ним и продолжала: "Это в твоей земле тебя так воспитали, в Бретани, что следует доставлять грузы через главный вход?" — она сделала свой вывод о его происхождении из-за бретонской песни, которую он пел вместе с шофером, и из-за бретонского акцента, привязавшегося к нему, как видно, за время его пребывания там. Что касается слова "земля", то он уже давно обратил внимание, что французы имеют обыкновение называть область своего рождения, а иногда даже и город, где они родились, "землей". Так, например, хозяйка прачечной, происходившая из города Бордо, имела обыкновение говорить: "В моей земле Бордо".

Служащая гостиницы сунула руку в карман передника и уже хотела дать ему, как это везде принято, мелочь на чай, как ее взгляд упал на адрес, и она увидела, что это не заказ для гостиницы, а почтовая посылка, предназначенная одному из постояльцев. "Комната номер девятнадцать, второй этаж направо", — сказала она, не удостоив его взглядом. Когда он начал подниматься по лестнице, она опомнилась и добавила слова наставления, которые должны были очень ему пригодиться, как это было ясно по его поведению: "И, пожалуйста, не стучи сильно в дверь и не забудь снять свою

шапку перед ним. Знай, что это один из самых важных пастырей общины, человек почитаемый и известный — большой человек”.

В дверь комнаты этого почитаемого большого человека Габриэль вежливо постучал три раза, как стучала в его дверь хозяйка в дни его величия; в этом стуке не было ни требовательного высокомерия, ни торопливого самоуничижения, в нем соблюдались пропорции, выражающие уважение без того, чтобы стучащий поступился своим достоинством. Удары были такими же, и паузы между ними были отмерены точно так же, но дверь была другая, и поэтому изменился звук. Дверь его комнаты на ферме была старинная и тяжелая, и звук был глухим и сухим, а тут мелодия бодрых ударов сопровождалась каким-то влажным резонансом, и это было приятно его уху и обещало подходящие чаевые, правда не слишком обильные, так как служители религии не имеют обыкновения бросаться деньгами. Это его ожидание чаевых снова напомнило ему о том большом уважении, которое питала к нему в свое время хозяйка. Будучи сама госпожой, она не привыкла, конечно, получать чаевые, и, когда он протянул их ей в первый день пребывания в ее доме, протянул по рассеянности и по привычке, возникшей у него во время жизни в парижских гостиницах, она отказалась принять их, но каждое утро вновь вежливо стучала в его дверь с большим почтением, так как считала за честь быть его хозяйкой и собственноручно подносить ему завтрак в постель. Пока она считала его богатым, она питала к нему глубокое уважение, даже тогда, когда не имела никакой пользы от его богатства, а когда он отдавал ей деньги, полагавшиеся за квартиру, выражение ее лица вызывало в его памяти стих: “Уделяющий от своей мудрости всякому смертному”, потому что вид ее говорил, что она получает

из его рук не просто денежные банкноты, а какие-то эманации его душевных свойств. После того, как деньги переходили в ее руки, и до того, как она прятала их в ей одной известные тайники, она сидела на краю своего дивана, плотно сжав рот и благоговейно закатив глаза, и медленно-медленно перебирала хрустящие бумажки с выражением любовного исступления на лице. В то время она страшно боялась его расточительности и следила, чтобы он не баловал ее работников слишком большими чаевыми за мелкие услуги, но больше всего предостерегала она его от жадности Леонтин, убиравшей каждый день его комнату и за это получавшей от него постоянное вознаграждение. "Вы не обращайтесь внимания на сладкие улыбки этой, — так говорила она ему, — она думает только о *rougboir*!"

Французское слово "*rougboir*", что в дословном переводе означает "чтобы пить", которое он не раз слышал от отца, всплыло в его памяти из глубин детства вместе с дрожащим раскаленным воздухом, который словно излучали горячие, побелевшие от жара безжалостного солнца камни домов и оград на улице, протянувшейся от Новых ворот Старого города до района Мусрара, улице, которую евреи называли "Ради Сиона", а христиане — "Улицей Святого Павла". В экипаже, красном внутри и черном снаружи, запряженном парой каурых коней, они ехали вокруг стены Старого города по новым районам, чтобы показать их важному гостю, прибывшему с визитом в Иерусалим. Гость был действительно важным, ибо отец надел на себя все знаки отличия, как испанские, так и османские, и кавас, а это был никто иной, как сеньор Моиз, в служебном мундире и с большим жезлом в руке шагал перед экипажем и стучал по камням мостовой, прокладывая им дорогу по переулкам Старого города. В экипаже

отец объяснял гостю, что означает слово "бакшиш". "Бакшиш, — так сказал он ему, — это персидское слово, которое в переводе означает "дать" и подразумевает — "пурбуар".

"Что такое "пурбуар"? — вступил Габриэль в разговор. "Пурбуар", — сказал ему отец, — означает "чтобы пить", и так называют во Франции бакшиш". В этот момент экипаж подъехал к глазной клинике, которую недавно открыл на улице "Ради Сиона" молодой, но уже известный доктор Ландау. Снаружи слепила глаза белизна раскаленных на солнце стен, а на камнях мостовой, во всю ее длину, арабские нищие обнажали все свои увечья и болячки перед важными эфенди, приехавшими в экипажах, и вопили: "Бакшиш, бакшиш!" Они вышли из экипажа и оказались между безногим, который подполз к ним на ягодицах, отталкиваясь от земли руками, и юношей, худым, как хворостина, который размахивал костью, торчащей из обрубка его предплечья. Габриэлю стало нехорошо при виде этого подгнившего мяса и от исходящей от них вони, и он отвернулся и стал глядеть в сторону горы Скопус. В тот момент, когда его отец объяснял гостю особенности разных видов бакшиша, тот в результате притупления способности мыслить, виной чему была нестерпимая жара, не сумел вникнуть в слова своего радушного хозяина и совершил ошибку, начав радавать полные пригоршни мелких монет окружившим его калекам. Последствия этого шага не заставили себя ждать. Внезапно со всех сторон на них лавиной обрушились обрубки рук и ног, ввалившиеся носы, раздавленные лица и гниющие язвы, и вся эта кишачая масса рычала все настойчивее и яростнее: "Бакшиш, бакшиш!" Габриэль был вынужден употребить всю свою силу, чтобы сбросить с себя мерзкую кость, торчащую из обрубка руки тощего подростка, и на

одно мгновение вокруг них образовалось свободное пространство, но именно тогда гость размахнулся и бросил в толпу калек на расстояние нескольких шагов еще одну пригоршню монет. Нищие бросились подбирать деньги, вырывая их друг у друга. Габриэлю казалось, что еще мгновение — и они забьют и затопчут однорукого тощего подростка, который благодаря своей ловкости подбежал первым и успел собрать несколько монет. Однако этот отвлекающий маневр не помешал атакующим снова преградить им путь, и им удалось добраться до входа в клинику и войти внутрь только после того, как сеньор Моиз воспользовался своим жезлом каваса, чтобы расчистить им дорогу, а также после того, как откуда-то подула сильная струя воздуха, которая разбросала атакующих и дала задыхающемуся Габриэлю спасительную возможность перевести дух. Он поднял глаза и изумился, узнав, откуда пришла помощь: он увидел извозчика-араба, стоящего на переднем сидении экипажа, тот выставил вперед свой толстый живот, а красная его феска была так воинственно заломлена набекрень, что левого глаза вовсе не было видно. Извозчик размахивал кнутом направо и налево, немилосердно стегая калек, мешающих проезду.

Когда они уже стояли на пороге глазной клиники доктора Ландау, мимо них проехала коляска, весьма похожая на ту, из которой они лишь недавно вышли, и в ней сидел арабский эфенди с мальчиком. Эфенди поднял руку и с почтением благословил Иехуду Проспера-бека, и отец ответил ему многочисленными благословениями, пожелав ему большого счастья в браке, и радости, и здоровья, и веселия сердца. "Это Махмуд-эфенди, один из почтенных людей Бет-Лехема, — объяснил отец гостю с улыбкой, — он едет на базар вместе с Даудом, своим сыном от первой жены,

чтобы купить подарки Дунии, юной красавице, которая, да свершится воля Аллаха, будет его третьей женой”.

”Дуня? — гость наморщил лоб, повторив имя девушки с русским акцентом. — Да ведь это русское имя! Может быть, она русская?” ”Она настоящая арабская девушка, — возразил Иехуда Проспер-бек, — из чисто арабской знатной семьи, семьи Масрур. И слово ”дуния” — арабское слово, и означает оно — мир, и Махмуд-эфенди уже сказал о ней, что весь мир отдаст он за одну ее улыбку”.

С порога глазной клиники Габриэль видел, как на фоне слепящей белизны каменной ограды, дрожащей в раскаленном воздухе, катятся колеса коляски Махмуда-эфенди и обдают калек сероватой пылью, подобной той, что поднимается, когда идешь по тропинкам между могилами на Масличной горе. ”Отдаст весь мир, — повторил гость и усмехнулся, — арабы любят выразаться витиевато и преувеличивать, мне это знакомо по ”Сказкам тысячи и одной ночи”. Иехуда Проспер-бек рассмеялся. ”Этот мир, — сказал он и показал пальцем на серые столбы пыли, — отдать за улыбку любви совсем не преувеличение. Это даже не щедрость доброго человека. Глупец, кто согласен получить его за улыбку. Глупец, кто согласен получить его даже даром, как бакшиш, пурбуар”.

”Бакшиш, пурбуар — здесь, в Леванте, настоящее смешение языков и понятий”, — сказал судья, пришедший проститься с сыном Иехуды Проспер-бека, собирающимся отплыть во Францию для изучения медицины. Дан Гуткин был тогда самым молодым судьей Верховного суда, но имя его уже появилось в списке удостоенных почетного звания ”офицера Британской империи”, опубликованном в день рождения Его Величества короля. ”Только в разговорном арабском здесь, в

Леванте, употребляют слово "бакшиш" для всех трех, отличных друг от друга, видов даяний: взятки, милостыни и денег за обслуживание, но всякий уважающий себя и свой язык араб, даже если он и не великий знаток литературного языка, употребит слово "бакшиш" лишь тогда, когда речь идет о взятке. Если он имеет в виду милостыню, он скажет "зкат", а плату за обслуживание назовет "ршом эль-хидмат", что означает "пурбуар" — да, пурбуар, как я уже сказал, — и при этом лицо его приняло выражение чрезвычайной серьезности и значительности, которое в зале суда предназначалось только для провозглашения приговора, а вне зала суда — для произнесения вещей, в которых он был более чем уверен, — пурбуар — один из двух основных критериев при определении культуры разных народов и стран. Второй критерий — проституция. Да, проституция и пурбуар, то есть "чаевые".

Правила дачи чаевых, принятые в Париже, Габриэль нарушил в тот же день, когда нога его впервые коснулась камней мостовых этого города, хотя он и знал эти правила до тонкости от самого судьи, который, придя проститься с ним, счел необходимым научить его всему, что знал о чаевых и о проституции в больших городах. Он нарушил их в большой общественной уборной в парижском метро. Каждый входящий в кабину должен был платить за обслуживание, но, к его великому удивлению, в мужском туалете не служитель открывал нуждающимся в том мужчинам дверь кабины и давал им туалетную бумагу, а служительница в белом фартуке и в белом колпаке на голове; в дополнение к этим своим обязанностям она также чистила обувь, для чего в коридоре, около больших зеркал, было поставлено особое приспособление. Когда он вышел из кабины и увидел ее лицо, его затопило теплое чувство нежности

и сострадания: ее глаза и улыбка чем-то напомнили ему мать, когда она бывала в хорошем настроении и напевала песни времен своей юности. При мысли, что когда-нибудь и его мать тоже может оказаться вынужденной убирать общественную уборную и чистить посетителям ботинки, сердце его на мгновение сжалось. Когда служительница спросила, не желает ли господин, чтобы она почистила ему обувь, он покорно уселся на высокий и удобный стул и поставил ногу на специальную скамеечку, верх которой был покрыт сверкающей медью. Чем больше он обдумывал мысль, пришедшую ему в голову, тем увереннее отступал его страх. Его мать не пошла бы убирать общественную уборную, даже если бы внезапно, в результате какого-либо несчастья, оказалась без крыши над головой и без куска хлеба, и не было бы у нее никакой возможности заработать денег, кроме этой. На такую работу она послала бы свою старшую сестру, шарообразную тетю Пнину, а сама не только не согласилась бы на это, но и вообще не пошла бы ни на какую работу, даже на самую благородную и уважаемую в ее представлении, например — управлять школой для девочек имени Эвелины де Ротшильд. А что, если бы не было тети Пнины? Тогда бы, можно сказать с уверенностью, госпожа Джантила Лурия стала бы искать и нашла бы другую Пнину. "Я не создана, чтобы убирать общественную уборную!" — прозвучал в его ушах голос матери. "А эта женщина, которая так преданно чистит, от всей души, — да, да, так преданно! — мои ботинки, она что, рождена убирать общественную уборную?!" — услышал он свой голос, возражающий матери в присутствии служительницы, а та продолжала приветливо и с удовольствием выполнять работу, для которой не была создана. Больше всего трогало его выражение лица, с которым она отвечала

всем своим клиентам, словно гостеприимная хозяйка, радостно угощающая приглашенных ею дорогих гостей домашними пирогами. Она производила впечатление одной из тех женщин, что выросли и воспитывались в приличной семье и пользовались всеми благами цивилизации, однако нужда заставила их оказаться в положении слушающих другим, ибо никогда не учились они никакому ремеслу или специальности; в работе своей такие люди отличаются вежливым обхождением и старанием угодить.

”Я чужой здесь, из другой страны, — сказал он, — только что прибыл в Париж”. ”Я тоже здесь чужая, — ответила она и подняла на него свои лучистые глаза. На вид ей можно было дать, по крайней мере, лет пятьдесят, но в облике ее сохранилось что-то от девичьей красоты. — Я тоже приехала сюда недавно из своей земли”.

”А я думал, что вы француженка, парижанка”.

”Нет, нет, — сказала она и засмеялась. — Я не француженка и не горожанка — я бретонка, из деревни. Я родилась в маленькой деревне в Бретани, в деревушке Карнак”.

Эти ее слова почему-то еще больше усилили чувство жалости в его душе, и, когда она кончила чистить его ботинки, он порывлся в кармане и протянул ей полную горсть монет. ”О, нет! — воскликнула она и сама отсчитала деньги, полагающиеся ей за обслуживание. — А все остальное немедленно положите обратно в карман”, — и она начала объяснять ему, какой процент следует платить за услуги, то есть то, что было ему уже известно. ”Но я хочу дать вам все”, — сказал он и смутился еще больше. ”Не будьте дураком, — заметила она ему. — Вы молодой человек, и вам пригодятся эти деньги, особенно в большом и чужом городе. Деньги, да, деньги могут дать вам самое дорогое — свободу!”

”Наверное, невыносимо тяжело, — сказал он и почувствовал себя идиотом каких поискать, — работать здесь, в уборной...”

”Вы ошибаетесь, молодой человек, — ответила она. — Никогда не была я так свободна. Никогда мне не было так хорошо”.

Приветливое выражение ее глаз сопровождало его по дороге в гостиницу, оно как бы знаменовало некий компромисс, долженствовавший смягчить чувство острого противоречия между свободой, которая была для нее дороже всего в этом мире, и этим рабским положением служащей публичной уборной, в которой ей было хорошо, как никогда в жизни. ”Здесь, наверное, кроется что-то религиозное в своей основе”, — подумал он и вспомнил рассказы о монахинях, занимающихся вследствие пробуждения в их душах особой религиозности всякой низкой работой, тяжелой и неприятной. Но и тут его подстерегала неожиданность. Когда он в следующий раз пришел к ней в День всех святых, чтобы почистить ботинки, хотя в этом не было никакой необходимости, он заметил что-то о святых, благодаря которым даже студенты-атеисты радуются освобождению от занятий.

”Всех этих святых я не имела чести встречать, — ответила она и добавила, к его немалому удивлению, с тем же приветливым выражением лица, — но если они похожи хоть в чем-то на знакомых мне святых, я могу вас заверить, что не свободу принесли они миру, а рабство. Святые, которых я знала, превратили мою жизнь на земле в ад, от которого я спаслась только благодаря одной женщине, которую они считают ведьмой и язычницей”.

Кто же эти святые, которых она знает? Святые, знакомые и хорошо ей известные, это ее мать и ее муж. Святость ее матери известна не только в деревне, где она родилась, но и во всей округе,

во всех селениях Дикого берега и залива Морбиган, и даже священник сказал о ней, после того, как она пожертвовала сто тысяч франков для обновления древней церкви, что она достойна быть причислена к лику святых католической церкви. Большинство земель области принадлежат ей, но своей дочери никогда не дала она ни гроша, чтобы та купила себе конфетку у лавочника, и это только из соображений благочестия. По той же причине она воспитала дочь на рассказах о всевозможных муках, которые ожидают на том свете души грешников, и из тех же соображений выдала ее замуж, как только она достигла зрелости, за единственного наследника соседских земель. Ее муж слывет святым не благодаря тому, что он совершил ради своей веры, а благодаря тому, чего он не сделал ради нее. Он — великий поборник освобождения Бретани от французского порабощения. Если бы ему было дано, он изгнал бы французов, их самих, их язык и их манеры — изгнал бы из всей Бретани и правил бы могучей рукой на всем пространстве от Атлантического океана до города Нанта, как когда-то Номино, великий герцог Бретани, имя которого гремело по всему миру. Он бы разбудил и воспламенил бретонцев, продал бы все земли отца, все имущество семьи и вооружил на эти деньги целые полки крестьян и рабочих, захватил бы полицейский участок в деревне, потом префектуру района, и так далее и так далее, пока не завладел бы всей страной и не удостоился бы мировой славы, но сначала надо захватить полицейский участок в деревне. Все свои мечты о великой деятельности, свое высокое предназначение он в великой своей святости принес в жертву своей семье. Его старые и больные родители пришли в ужас, когда услышали, что он намерен продать все земли, а когда они узнали, что на деньги, вырученные от продажи земли, он собирается ку-

пить ружья, чтобы потом ворваться в полицейский участок, в глазах у них потемнело. Если бы он осуществил идею, которой жило его сердце, он превратил бы старость родителей в сущий ад, но он не такой эгоистичный честолюбец, он не тот человек, который может пожертвовать семьей ради осуществления своих желаний. Наоборот, он принесет свою жизнь, каждое мгновение своей жизни, проходящей безвозвратно и бесполезно, на алтарь семьи, частью которой со времени его женитьбы стала и жена, а в последнее время именно она в основном и представляла семью. Боль своей принесенной в жертву жизни он заливал днем вином, а ночью разговорами. По ночам он винил во всем жену и часто отвешивал ей крепкие пощечины и затрещины, особенно после того, как его мужская мощь ослабла. Правду сказать, не мог он гордиться своими мужскими качествами и в молодости, когда только что женился, но рукоприкладством он стал заниматься все больше тогда, когда совсем утратил мужскую силу. И так, между двумя святыми — матерью и мужем — проходила и угасала ее жизнь, пока не восстала Леонтин, старая служанка, и не вырвала ее из рук этих двоих. Леонтин помогла ей убежать из дома, и, что еще важнее, она освободила ее от страха, который всю жизнь привязывал ее к матери и к мужу, она вдохнула в нее храбрость духа, необходимую, чтобы совершить этот побег.

”Как же она это сделала?” — спросил Габриэль.

”Не знаю, — отвечала чистильщица обуви, — есть в ней какая-то сила. Эта Леонтин считается в наших краях ведьмой, кем-то вроде колдуньи или прорицательницы”.

С тех пор, как он однажды испытал неловкость при ее отказе принять от него чаевые, превосходящие обычную сумму, он старался давать ей чаевые, не превышающие пределы принятого. Так

же сделал он и в этот раз, но она подняла от скамейки для ног свои светящиеся глаза, улыбнулась и сказала: "Сегодня я разрешаю вам дать мне чаевых столько, сколько не жалко, ведь сегодня День всех святых..."

"Что касается отношения Кальвина ко всем католическим святым..." — сказал один из двух проходивших по коридору господ, а за дверью во время паузы между его вежливыми ударами слышались шаги пастыря общины, столь почтенного в глазах гостиничной служащей. Она, конечно, назвала бы его не "уважаемым, великим и знаменитым", а "святым" человеком, если бы была католичкой, а не гугеноткой. Когда шаги приблизились к двери, ему показалось, что он слышит также какое-то бормотание, какую-то мелодию, будто тот человек напевал про себя песню, и то была не Песнь восхождения из псалмов Давида и не святой христианский гимн, а песня "В роще, на холме троих", которую Габриэль любил, еще когда учился в учительской семинарии "Эзра". Подобные галлюцинации уже бывали у него, у Габриэля, в ту ночь, в Бретани, когда он вышел на холмистый берег и услышал голоса, доносящиеся с залива. Тогда ему казалось, что он слышит мелодию песни "Здесь, в стране, о которой мечтали наши отцы, осуществляются все надежды...", и только когда он приблизился к юношам, сидевшим в лодке посреди залива, обнаружилось, что они поют популярную в Карнаке народную песню "Это записано на небесах". Тогда его охватил панический страх, а теперь, поскольку он уже знал, что это только шутки его буйного воображения, он уже видел своим внутренним взором, как он рассказывает матери странную историю, происшедшую с ним во французском городке Нойоне, к северо-востоку от Парижа. Как он был носильщиком в большой фирме перевозок

”Кальберсон” и нес посылку одному гугенотскому пастору, который остановился в гостинице для священнослужителей. Из-за двери он слышал, как почтенный пастор меряет шагами свою комнату и возносит какую-то тихую молитву Богу. Когда он наклонился, чтобы постучать в дверь, до его уха донеслась мелодия этой молитвы, и вот оказалось, что это не молитва вовсе, а бормотание напева, и не вообще напева, а напева песни ”В роще, на холме троих”. Священник кружил по комнате и бормотал про себя: ”...не тронь меня, юноша, сердце мое чует недоброе, в роще, на холме троих, показалась горная козочка, стройная, точеная... в роще, на холме троих...”. Мать поднимет на него глаза с выражением страдания и злобы, глубоко вздохнет и скажет: ”Ой, Габи, Габи, ну тебя с твоими восточными фантазиями! Скажи мне, пожалуйста, чем ты лучше своего отца, этого старого турецкого развратника! И что тут удивительного? Ведь ты кость от кости его и плоть от плоти его”.

Дверь отворилась, и священник протянул руку, чтобы взять посылку, а второй рукой начал рыться в кармане, чтобы вытащить несколько монет на чай носильщику. Когда священник поднял голову, Габриэль увидел под черной шляпой лицо Маленького Срулика, лицо Израиля Шошана, своего давнего друга еще со времен иешивы рабби Авремеле в Старом городе, и иешивы рава Кука, и учительской семинарии, созданной обществом ”Эзра”.

Лицо Маленького Срулика, возникшее внезапно из-под черной шляпы с тем же испуганным, пришибленным и в то же время упрямым выражением, которое не покидало его в последний год учебы в учительской семинарии, когда он тяжело страдал из-за своей великой и безнадежной любви к Орите, дочери судьи Дана Гуткина, лицо это вызвало в Габриэле — вместе с шоком от удивле-

ния — наплыв радостного тепла, но веселый смех замер у него на устах при виде паники, охватившей Маленького Срулика: сероватая бледность распространилась по его всегда румяным щекам, по обе стороны от его раскосых, как у китайца, глаз, глядящих из-за стекол больших очков. Он отпрянул назад, наткнулся на стол и ухватился одной рукой за его край, тогда как второй рукой, все еще сжимавшей монеты, которые за минуту до того он собирался дать на чай носильщику, он судорожно заслонил глаза, словно защищая их от невыносимого зрелища. Опомившись, Маленький Срулик пробормотал что-то о современном человеке, несущем свой современный крест, отпечатанный большими буквами на его спине, а Габриэль разразился смехом и закричал: "Срулик, Срулик! Оставь все эти банальные глупости о крестах нашего времени и скажи мне, черт возьми, что это случилось с тобой? Что ты тут делаешь?".

"Что я тут делаю? — повторил за ним Маленький Срулик, поправляя очки на носу и потирая щеки, которые снова расцвели своим обычным румянцем. — Я готовлюсь к лекции о Тайной вечере. Есть у меня несколько мыслей о значении Тайной вечери, в которых, как мне кажется, содержится что-то новое, они могут пролить свет на идею о спасении души через Мессию и в Мессии..." Со все возрастающим возбуждением он начал развивать тезисы своей лекции перед Габриэлем, который поставил посылку на пол у кровати, уселся на стуле, скрестил руки на груди и сказал себе: "А может быть, я и вправду умер?". Страх, который напал только что на маленького Срулика, когда тот увидел его, был похож на ужас, который может нагнать только привидение, внезапно появившееся на дороге перед человеком. Когда-то он что-то читал о способах, позволяющих человеку удостовериться, жив ли он еще, не улетела

ли незаметно его душа из тела. Самый верный и испытанный способ — так там было сказано — это проверка тени: если человека сопровождает тень, значит, существует и тело, отбрасывающее ее. Когда он читал это, забавляясь фольклорными выдумками, то не думал и не гадал, что этот вопрос когда-нибудь встанет перед ним всерьез. "Хорошенькие времена, — подумал он и разразился смехом с каким-то безграничным высокомерием, — я ищу свою собственную тень, а может быть, и Маленький Срулик мертв, как и я, но только он не знает этого". Его веселость еще увеличилась, когда он посмотрел вокруг и не нашел ни одной сколько-нибудь заметной тени — ни своей, ни Маленького Срулика. В сероватом свете, пробивающемся сквозь вечные туманы, окутывающие северные города и скрывающие яркий глаз солнца, его глаза различали мягкие оттенки и полутона, плавно сливающиеся друг с другом и не имеющие никаких четких очертаний.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тевет — четвертый месяц года по еврейскому календарю; соответствует примерно декабрю—январю.

Ханукка (ивр., букв. "освящение") — праздник, установленный в память о победе над греко-сирийскими захватчиками (164 г. до н.э.) и в честь отвоевания и освящения заново Иерусалимского Храма.

Ту би-шват (ивр., букв. "15 швата") — *шват* — пятый месяц года по еврейскому календарю; соответствует примерно январю—февралю; *Ту би-шват* — праздник, называемый "Новый год деревьев".

Старый город — наиболее древняя часть Иерусалима, обнесенная крепостной стеной с башнями и воротами. Он включает в себя четыре квартала — Еврейский, Мусульманский, Христианский и Армянский. За пределами Старого города евреи начали селиться только в середине XIX в.

Гора Скопус (лат., на ивр. *Хар ха-Цофим*, "гора обозрения") — гора в северной части Иерусалима; отсюда в давние времена паломникам открывался первый вид на Храм. В 1925 г. состоялась официальная церемония открытия Еврейского университета на горе Скопус. С 1948 г. здесь расположен один из двух кампусов Еврейского университета.

...пещеры с могилами членов Синедриона — пещеры Синедриона (ивр. *Санхедрин*), или могилы Синедриона, находятся в Санхедрии, одном из северных районов Иерусалима. В народе считают, что в этих пещерах похоронены члены Синедриона, Верховного суда периода Второго храма. Мнение это основано на том, что там находится около 70 могил (в Синедрионе заседал 71 человек), и на том, что захоронение по некоторым признакам можно отнести к

концу эпохи Второго храма, т.е. к I в. н.э. Внутри, в стенах пещер, выдолблены ниши в два ряда, в каждой нише стояли некогда оссуарии. Оссуарий — сосуд из глины, камня или алебастра, обычно украшенный росписью или рельефом. В такой сосуд клали тело умершего на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

- 3 ...у нее паук в углу потолка... — буквальный перевод ивритской поговорки, означающей, что у человека есть некая навязчивая идея, мысль, застрявшая в голове.
- 4 В одной из *аггадот* (так называются в еврейской традиции притчи и нравоучительные истории) рассказывается о том, как юный Давид спасался в горах от преследований царя Саула. Когда Саул со своими воинами осматривал пещеру за пещерой, в ту самую пещеру, где прятался Давид, они не заглянули — вход в нее был затянут паутиной, и они рассудили, что раз паутина не повреждена, значит пещера пуста.
- 5 И-Наби-Самуэль (араб.) — деревня названа по имени пророка Самуила.
- 6 Аса — иудейский царь, о котором говорится в Библии (III Книга Царств, 15:19-24; II Книга Хроник, 14-16).
Гиркан I Иоханан, сын Шимона Хасмонея, этнарх Иудеи и первосвященник (134 — 104 гг. до н.э.). После смерти сирийского царя Антиоха VII сумел добиться независимости Иудеи.
- 7 Бухарский квартал — район Иерусалима, возникший в 1880 — 1914 гг. в результате переселения в Эрец-Исраэль около 1500 бухарских евреев.
- 8 "Храм разбитых сосудов" — философско-мистическая книга, автор которой, Ашкенази Ицхак Лурия ("Ари Святой"; 1534 — 1572) был духовным вождем кружка еврейских каббалистов в Цфате. Здесь намек на то, что, по преданию, Лурия сменил свое имя, а также на то, что, по некоторым свидетельствам,

при жизни он был окружен сиянием божественного света. Не стоит упускать из виду, что главный герой романа (образ несомненно автобиографический) носит фамилию Лурия и что весь цикл романов Давида Шахара, куда входит и "Лето на улице Пророков", также называется "Храм разбитых сосудов".

- 9 Хайле-Селассие I (1892 — 1975) — император Эфиопии в 1930 — 1974 гг. Возглавлял борьбу против итальянцев во время итало-эфиопской войны (1936 — 1939). Был свергнут с престола.
- 10 Монит — ивр. "такси", слово, введенное в обиход Э. Бен-Иехудой (см. прим. 31) и образованное от ивритского *моне* — "считаю".
- 11 Кафия — арабский мужской головной убор в виде полотняного платка, закрепляемого на голове с помощью витого шнура или обруча.
- 12 Меа-Шеарим — название улицы и района Иерусалима, возникшего в 1874 г. в процессе расселения евреев вне стен Старого города. Жители Меа-Шеарим в подавляющем большинстве ортодоксальные евреи.
- 13 "Самбо!" (сленг) — презрительная кличка негров, вроде русского "черномазый".
- 14 См. Мишна, "Масехет Авот", 2:1.
- 15 Бек — у турок титул родоплеменной, а позднее — феодалной знати; в широком смысле слова — "господин". "Бек" ставится обычно после имени, например, Рустам-бек.
- 16 Сефардские евреи, *сефарды* — так называют выходцев из стран Востока, Испании, Португалии и Северной Африки. *Сфарад* — Испания на иврите. Выходцев из стран Западной и Восточной Европы называют *ашкеназами* (по древнееврейскому названию Германии — *Ашкеназ*). Естественно, что у "вос-

точных” и ”западных” евреев разные обычаи и традиции, хотя сотни лет их связывает общее культурное наследие. В современном Израиле представители и той, и другой общины занимают достойное место во всех областях жизни, хотя в отдельных случаях и в отдельные периоды между ними возникают трения.

- ¹⁷ Ишув (ивр. ”население”) — собирательное название еврейского населения Эрец-Исраэль, главным образом до создания государства Израиль.
- ¹⁸ Ладино, или еврейский испанский язык — разговорный и литературный язык евреев испанского происхождения — сефардов.
- ¹⁹ Речь идет о состязании между Аароном и Моисеем, с одной стороны, и волхвами египетского фараона, с другой (см. Исход, 7:8-12). *Моисей* (ивр. *Моше*) — величайший еврейский пророк, который вывел народ Израиля из египетского плена и получил от Всевышнего Тору (Письменный Закон) на горе Синай. *Аарон* — брат Моисея и его ближайший сподвижник; первый еврейский первосвященник. *Тора* (букв. ”учение”) — в узком смысле Пятикнижие Моисеево, т.е. первые пять книг Библии.
- ²⁰ ...день, когда должен был принять на себя бремя исполнения заповедей. — Имеется в виду церемония *бар-мицва* (букв. ”сын заповеди”), которую проходят еврейские мальчики по достижении ими возраста 13 лет, когда они считаются взрослыми и принимают на себя обязательство соблюдать все заповеди иудаизма.
- ²¹ Могила праматери Рахили (Рахели) находится на Хевронской дороге, между Иерусалимом и Бет-Лехемом (Вифлеемом). Рахиль была второй женой праотца Иакова.
- ²² ”Бней-Брит” (ивр., букв. ”сыны завета”) — одна из старейших (1843 г.) еврейских общественных организаций, отделения (ложи) которой имеются в более

чем 40 странах мира. Деятельность ее широка и разнообразна и нередко лежит в сфере, выходящей за пределы специфически еврейских проблем. Основанная иерусалимской ложей "Бней-Брита" библиотека превратилась впоследствии в Национальную и университетскую библиотеку в Иерусалиме.

- 23 В Мишне (трактат "Масехет Авот, 2:10) есть место, "предостерегающее человека от ученых мужей", и далее следует то образное их описание, которое, перефразируя, цитирует консул, желая уязвить свою иерусалимскую жену.
- 24 Бамия — травянистое растение, незрелые плоды которого употребляют в пищу.
- 25 Ротель — устаревшая мера веса, равная 2880 граммам.
- 26 "Альянс" ("Всемирный еврейский альянс") — первая современная международная еврейская организация; была создана в Париже в 1860 г. для оказания помощи евреям во всем мире. Впоследствии деятельность "Альянса" сосредоточилась главным образом в области образования.
- "Эзра" ("Организация помощи немецких евреев") — организация, созданная по примеру "Альянса" в Берлине в 1901 г. для оказания помощи евреям Восточной Европы и стран Востока. Прекратила свою деятельность в 1941 г.
- 27 Хедер и талмуд-тора — мужские религиозные школы. В настоящее время имеются также ашкеназские талмуд-торы.
- 28 "Нетурей-карта" (арамейск., букв. "стражи города") — крайне фанатичная религиозная еврейская секта, возникшая в 1935 г. Члены "Нетурей-карта" считают, что существование светского Израиля противно еврейской религии, а потому они не признают государства и его институтов, в качестве разговорного языка пользуются идишем, а не ивритом и т.д.

- 29 *...не Ицхак, а реб Ицхок...* — как уже упоминалось в тексте, Красное Ухо был галицийским евреем; на идише его имя звучит как Ицхóк.
- 30 Пейсы — длинные пряди волос на висках, которые, по еврейскому Закону, не следует состригать.
- 31 Элизер Бен-Иехуда (1858 — 1922) — инициатор возрождения иврита в качестве разговорного языка; литератор и педагог. Его деятельность вызывала яростное сопротивление ультрарелигиозных кругов, усматривавших в возрождении разговорного иврита осквернение священного языка.
- 32 Гой (идиш, ивр.) — нееврей.
- 33 Согласно Библии, Моисей был женат на Циппоре, дочери мидианского жреца Итро. Позднее он взял себе в жены эфиопку, против чего решительно протестовали его брат Аарон и сестра Мирьям (см. Числа, 12:1-3).
- 34 Школа "Лемель" была основана в Старом городе в Иерусалиме в 1856 г. дочерью Шимона Лемеля (Симона фон Лемеля; 1766 — 1845), австрийского промышленника и еврейского общественного деятеля. Преподавание там велось на основе новейших для того времени педагогических принципов. Школа "Лемель" существует по сей день.
- 35 Альберт Тихо (1883 — 1960) — знаменитый иерусалимский врач-офтальмолог, основал глазную больницу; своим бескорыстием и помощью бедным снискал всеобщую любовь.
- Моше (Мориц) Валлах (1866 — 1957) — один из первых еврейских врачей в Эрец-Исраэль. Приехал в Палестину в 1891 г. Инициатор создания (1902) и главный врач больницы "Шаарей-Цедек" (букв. "Врата милосердия") в Иерусалиме, где проработал со дня основания до 1947 г. Награжден званием почетного гражданина города Иерусалима.

- 36 Хумеш (идиш) — Тора, или Пятикнижие Моисеево.
- 37 Автор подчеркивает свое равнозначное отношение к т.н. неодушевленному и одушевленному миру и потому пользуется словами из Библии: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие, 3:19).
- 38 *...его душа, приобщенная к союзу бессмертных вместе с душой голубя* — парафраз слов из каддиша — поминальной молитвы.
- 39 Захария (Зхария) — еврейский пророк, согласно традиции, автор 11 книги т.н. Малых пророков. Захария в период возвращения евреев из Вавилонского плена призывал к восстановлению Храма и к соблюдению этических норм иудаизма.
- Авессалом (ивр. Авшалом) — третий сын царя Давида (XI в. до н.э.). Авессалом, опасаясь того, что престол перейдет к Соломону (как оно впоследствии и случилось), поднял восстание против отца. Восстание потерпело поражение, а Авессалом погиб. Гробницы Захарии и Авессалома находятся в Кидронской долине.
- 40 Весь эпизод предполагает знакомство читателя с библейским рассказом о том, как Авраам по велению Бога был готов принести в жертву сына Исаака (Бытие, 22): "Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; ... и принеси его в жертву всесожжения на одной из гор... Авраам... взял... сына, наколот дров для всесожжения... устроил жертвенник, разложил там дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего... И увидел Авраам: вот сзади барашек, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял барашка и принес его во все-сожжение вместо сына своего".

- 41 ...Ему, вдыхающему душу... — см. Бытие, 2:7.
- 42 Раши (1040 — 1105) — акроним имени Рабби Шломо Ицхаки, знаменитого средневекового толкователя Библии и Талмуда, комментарии которого считаются одними из самых авторитетных в раввинистической литературе.
- 43 См. примечание².
- 44 Скиния (скиния завета) — переносное святилище, сооруженное евреями в пустыне после исхода из Египта; вплоть до постройки Иерусалимского Храма было главным местом отправления культа (См. Исход, 25:8, 28:43).
- 45 Ковчег со скрижалями — ларец в Святая святых скинии, в котором хранились *скрижали завета*.
Скрижали завета — две каменные плиты, на которых, согласно Библии, был высечен текст Десяти заповедей. Скрижали завета Моисей получил на горе Синай вместе с Торой (см. Исход, 32-34).
- 46 Кафе "Атара" (ивр., букв. "венеч") — популярное кафе в центре Иерусалима, в нем любили собираться артисты, писатели, художники. Существует и поныне.
- 47 Нашашибид Раджиб-бей — видный арабский политический деятель, мэр Иерусалима в 1920 — 30-х годах. Его имя носит район города вблизи горы Скопус.
- 48 Хаим Нахман Бялик (1873 — 1934) — крупнейший еврейский поэт и переводчик нового времени, родился на Украине, в 1921 г. поселился в Эрец-Исраэль.
- 49 В Иерусалиме, неподалеку от улицы Пророков (*Ханевшим*) расположен так называемый Абиссинский (Эфиопский) квартал, населенный преимущественно эфиопами-коптами, прибывшими в Святой город из Египта. Копты — египтяне, исповедующие христианство (сходное с православием).

- 50 Речь идет о повести Э.Хемингуэя "Снега Килиманджаро".
- 51 См. Бытие, 1:1-12.
- 52 Еврейская традиция разрешает употреблять в пищу только т. н. "чистых" животных, а свинья к их числу не относится (см. Второзаконие, 14).
- 53 ...*войска персидского и мидийского*... — слова из библейской Книги Эсфирь (1:1-3); в переносном смысле могут обозначать "столпотворение".
- 54 *Арон ха-кодеш* (ивр.) — шкаф для хранения свитков Торы в синагоге.
- 55 Суббота (ивр. *шабат*) — седьмой день еврейской недели — особый день, освященный пятой заповедью: "Помни день субботний, чтобы святить его..." (Исход, 20:8-11). По еврейской традиции суббота (как и всякий день) начинается вечером, с появлением первых звезд, и встреча субботы отмечается торжественным ритуалом с зажиганием свечей, произнесением благословений и праздничной трапезой. В субботу евреям запрещено работать.
- 56 *Мидраш* (букв. "толкование, изучение") — общее название сборников раввинистических толкований Библии с целью выяснения галахических вопросов (*мидраш галаха*) или извлечения нравоучений из притч и сказаний (*мидраш аггада*).
- 57 На Масличной горе, рядом с православным храмом Вознесения, находится Вознесенский монастырь, существующий по сей день. Место это куплено архимандритом Антонием в 1870 г.
- 58 Меджида — мелкая турецкая серебряная монета.
- 59 Нахалат-Шивá — один из первых еврейских кварталов вне стен Старого города; начал строиться в 1869 г. поблизости от Яффской дороги.

- 60 Подразумеваются первые еврейские нерелигиозные школы в Иерусалиме ("Альянс", "Эзра", "имени Эвелины де Ротшильд" и др.), где преподавание велось как на иврите, так и на европейских языках.
- 61 Иешива (ивр., в русск. традиции *ешивот*) — религиозное учебное заведение, где, главным образом, изучают Талмуд.
- 62 Караимы (букв. "читающие", или "люди Писания") — еврейская секта, возникшая в VIII в. в Багдаде, члены которой признают Тору (Письменный Закон), но отвергают Талмуд. В конце XI в. центр интеллектуальной деятельности караимов перемещается с Востока, где начинается духовный упадок общины, в Испанию, затем, после изгнания евреев из Испании — в Византию, а в конце XVI в. — в Литву и др. регионы. Немногочисленная замкнутая караимская община существует в Старом городе в Иерусалиме и поныне и имеет там свою синагогу. На протяжении почти всей своей истории караимы считали себя евреями и боролись за признание их особой общиной в рамках иудаизма.
- 63 *Саддукеи* — возникшее в начале II в. до н.э. в Эрец-Исраэль течение в иудаизме, отрицавшее равнозначность авторитета Письменного (Тора) и Устного (Талмуд) Законов.
- 64 ...*Тора... без толкований и оград...* — имеется в виду Письменная Тора в своем, так сказать, первоизданном виде, без комментариев и без раввинских строгих ограничений, называемых "ограда к Торе".
- 65 Песнь восхождения — песнопения, которые пели еврейские священнослужители (левиты), восходя по ступеням Иерусалимского Храма (Псалмы, 119-133).
- 66 Русское подворье — район в центре Иерусалима, построенный в 1860-х годах русской духовной миссией для нужд русских православных паломников; включал в себя церкви, странноприимные дома, се-

минарии, больницы и проч. Сохранил свое название до сих пор.

- 67 Иисус Навин (Иехошуа бин-Нун, ивр.) — преемник Моисея, вождь евреев периода завоевания Эрец-Исраэль после исхода из Египта. Согласно Библии, Бог по просьбе Иисуса Навина остановил солнце над Гивоном и луну над долиной Аялонской, чтобы тот успел завершить разгром аморреев.
- 68 *Шаммай* (кон. II в. до н.э. — нач. I в. до н.э.) — глава еврейского суда в Эрец-Исраэль, знаменитый толкователь Устного Закона, требовал строжайшего соблюдения всех религиозных предписаний. *Гиллель* (*Хиллел*) — современник Шаммая, старавшийся внести в толкование Закона дух терпимости и кротости. Оба законоучителя имели многочисленных приверженцев.
- 69 Еврейский национальный фонд (Керен каемет ле-Исраэль) — фонд сионистского движения для приобретения и освоения земель в Эрец-Исраэль; основан в 1901 г. Деньги в него вносили евреи всего мира.
- 70 Эфенди — в Турции — вежливое обращение к мужчине, "господин".
- 71 Судья Гуткин называет Пнину ее идишским именем — Перл (что так же, как и Пнина на иврите, означает "жемчужина").
- 72 Хамула (араб.) — большая семья, род, клан.
- 73 ... *один из тридцати шести праведников.* — В еврейской традиции — минимальное число живущих одновременно и неизвестных людям праведников, которым мир в каждый момент обязан своим существованием. Представление о 36 праведниках впервые встречается в Талмуде, а легенды о них занимают видное место в фольклоре восточноевропейских евреев. Число "36" (буквы еврейского алфавита имеют, как известно, и числовые значения)

записывается с помощью двух букв: *ламед* — 30 и *вав* — 6, отсюда народное название такого праведника — *ламедвавник*.

- 74 Шолом-Алейхем (псевд., наст. имя Шолом Наумович Рабинович, 1859 — 1916) — один из наиболее значительных писателей на идише; автор романов, повестей, рассказов и пьес из еврейской жизни.
- 75 В еврейской религиозной философии Моисей прежде всего — величайший из еврейских пророков. Например, Маймонид (Рамбам) считал, что Моисей превосходит всех других пророков потому, что он единственный, кто вышел за пределы законов природы и проник в сферы сверхъестественного бытия.
- 76 Шофар — бараний рог, в который трубили в библейский период для созыва войска, желая объявить наступление юбилейного года, в дни новомесечия и в праздник Рош ха-Шана (еврейский новый год). Звуки шофара должны также возвестить пришествие Мессии. И сейчас в синагогах трубят в шофар в дни некоторых праздников.
- 77 *...рукою сильною и мышцею простертой.* — См., например, Второзаконие, 7-19.
- 78 *...город иевусеев...* — Иерусалим. Иевусеи (иевуситы) — народ, владевший городом Иерусалимом до его завоевания царем Давидом.
- 79 Согласно Евангелию от Иоанна (гл.11), Иисус воскресил умершего Лазаря, воззвав громким голосом: "Лазарь, иди вон!" Случилось это после того, как Лазарь уже четыре дня пролежал в гробу и тело его начало смердеть.
- 80 Кальвин Жан (1509 — 1564) — деятель Реформации, основатель кальвинизма, его главное сочинение — "Наставление в христианской вере" (1536). В основе его доктрины лежит вера в абсолютное предопре-

деление: каждый человек еще до сотворения мира предопределен Богом к спасению или к гибели.

- 81 **Философия дзен, дзен-буддизм** — одна из школ буддизма, проповедующая "мгновенное просветление". Основана Бодхидхармой, индийским монахом, прибывшим в Китай в 520 г. н.э. В основе "пути дзен" лежит представление о единой реальности, в которой "растворяются" и субъект, и объект и по сравнению с которой понятие субъекта и объекта, времени и движения, добра и зла условны и относительны. Учение дзен-буддизма с его интуитивизмом и иррационализмом стало предметом особого внимания в современной философии наряду с экзистенциализмом и пронизывает в той или иной степени произведения многих современных писателей.

Читателю романа Давида Шахара важно в особенности помнить, что в буддийской философии вообще принято сравнение мира с потоком, который течет изначально, вечно изменяясь и перерождаясь. Буддизм не проводит различия между материальным и идеальным миром, утверждая единство этих двух миров.

- 82 **Название больницы на иврите** означает "Врата милосердия". Эта больница и поныне существует в Иерусалиме. О ее основателе см. примечание³⁵.
- 83 **Рав Кук (Аврахам Ицхак, 1865 — 1935)** — раввин, известный еврейский религиозный мыслитель; взгляды рава Кука оказали значительное влияние на формирование современной религиозно-сионистской идеологии.
- 84 **Миссионеры** — представители религиозных организаций, чья деятельность направлена на распространение своего вероисповедания среди инаковерующих. Наибольшее развитие миссионерство получило в христианстве.
- 85 **Даниил** — еврейский праведник и пророк,ключения которого описаны в библейской Книге Да-

нила. Сатрапы царя Дария испрашивают царский указ, повелевающий всякого, кто будет просить о чем-нибудь какого-нибудь бога или человека, кроме царя, бросить в ров со львами, и Даниила, продолжавшего, несмотря на указ, молиться своему Богу, бросают в этот ров. Дарий, подойдя на следующее утро ко рву, взывает: "Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?" — и получает ответ: "Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам". Дарий немедленно велит освободить невредимого Даниила. (См. Книгу Даниила, 6)

⁸⁶ Гемара (ивр.) — часть Талмуда, в которой толкуется Мишна — созданное в I — II вв. н.э. учение ранних еврейских законоучителей, таннаев. Талмуд — составленное в I — V вв. н.э. толкование содержащихся в Библии предписаний. Слово Гемара часто употребляется применительно к Талмуду в целом.

⁸⁷ См. примечание 42.

⁸⁸ Шулхан Арух (ивр., букв. "накрытый стол") — религиозно-правовой свод, составленный в 1550 — 1559 гг. выдающимся раввинистическим авторитетом Иосефом Каро. Галаха — нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев.

⁸⁹ Пресвитерианская община, пресвитерианцы — последователи протестантского вероучения, возникшего в Англии в XVI в.; стоят за независимую от государства "дешевую" церковь; отвергают власть епископата, признают лишь пресвитера — выборного священника. Пресвитерианские общины в настоящее время сохранились в Шотландии, Англии, США и некоторых других странах.

⁹⁰ Святой Августин (Августин Блаженный Аврелий, 354 — 430) — христианский теолог и церковный деятель. Развил учение о благодати и предопределении.

Фома Аквинский (1225 или 1226 — 1274) — христианский философ и теолог, систематизатор схоластики на базе христианского аристотелизма. Доминиканец.

- ⁹¹ Иоанн Дамаскин (ок. 675 — до 753) — византийский богослов, философ и поэт; идейный противник иконоборчества.
- ⁹² Мудрецы Талмуда — еврейские законоучители, работавшие над составлением Талмуда (I — V вв. н.э.). В Талмуд входит Мишна (текст) и Гемара (комментарии); в целом он содержит толкование и обсуждение еврейского Учения, устные предания, сведения из различных областей жизни и т.д.
- ⁹³ Владимир (Зеев) Жаботинский (1880 — 1940) — писатель и публицист, писавший по-русски и на иврите, один из ведущих лидеров сионистского движения, идеолог и основатель ревизионистского движения в сионизме. Издательством "Библиотека-Алия" выпущены следующие книги В.Жаботинского: "Избранное", "Повесть моих дней" (Воспоминания), романы "Самсон-Назорей" и "Пятеро".
- ⁹⁴ ... спустился в Египет... — автор выделяет курсивом это выражение (неоднократно встречающееся в Библии). Дело в том, что в еврейской традиции толкований "спуститься в Египет" означает не только "отправиться (уехать) в Египет", но и, в переносном смысле, "предать свою веру, свой народ", что, собственно, и произошло с доктором Шошаном.
- ⁹⁵ Псалом 22.
- ⁹⁶ Евангелие от Марка, 15:34.
- ⁹⁷ Виленский Талмуд — издание Вавилонского Талмуда, печатавшееся в конце XIX в. в Вильне в типографии "Вдовы и братьев Ромм". Ромм — родовитая еврейская семья, оставившая значительный след в истории еврейского книгопечатания.

- ⁹⁸ Таллит (ивр., талес — идиш) — прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти или шелка с черными или голубыми полосами вдоль коротких сторон и с кистями из четырех сложенных вдвое нитей, прикрепляемых к углам (цицит).
- ⁹⁹ Штреймл — мужской головной убор, надеваемый хасидами в субботу и в другие праздничные дни.
- ¹⁰⁰ Гугеноты — приверженцы кальвинизма во Франции XVI — XVIII вв. Современные кальвинисты — реформаты, пресвитериане, конгрегационалисты.
- ¹⁰¹ Евхаристия — то же, что причащение. Одно из семи главных таинств. Согласно христианскому вероучению, причащающиеся верующие приобщаются к Христу, вкушая во время литургии хлеб и вино, в которых будто бы воплощены тело и кровь Христовы. Тайная вечеря — последняя трапеза Христа с учениками — прообраз евхаристии.
- ¹⁰² Унамуно Мигель де (1864 — 1936) — испанский писатель, философ-экзистенциалист. Основные темы его художественных произведений — любовь, смерть, одиночество, богоискательство.
- ¹⁰³ Кубиюстус — игрок в кости, от арабск. кааб (куб), вошедшего в иврит через греческий. Игра в кости до сих пор чрезвычайно популярна на арабском Востоке.
- ¹⁰⁴ ...событий 1929 года... — имеются в виду нападения арабов на еврейские кварталы Иерусалима, на евреев Тель-Авива и Хайфы, погромы в Хевроне (70 убитых евреев), в Цфате (18 убитых евреев и 20 раненых). Крупным подразделениям британской армии понадобилось около недели, чтобы восстановить порядок.
- ¹⁰⁵ Дольмен (от бретонского *tol* — стол и *men* — камень) — древнее (3 — 2 тысячелетие до н.э.) погребальное сооружение в виде большого каменного ящика, на-

крытого плоской плитой. Распространены в приморских районах Европы, Азии и Северной Африки.

- ¹⁰⁶ Евангелие от Матфея, 26:26-28.
- ¹⁰⁷ ”Нет вещи, у которой не было бы своего места” — искаженная цитата из Экклесиаста, 3:17.
- ¹⁰⁸ Рабби Иоси (1-я пол. IV в.) — *амора* из Эрец-Исраэль. один из виднейших законоучителей Иерусалимского Талмуда.
Аморай — создатели Гемары, следующей за Мишной части Талмуда. Дискуссии амораев входят в оба Талмуда — Вавилонский и Иерусалимский.
- ¹⁰⁹ Рабби Аббайе (278 — 338) — вавилонский амора, преемник Раббы (см. прим. 111) на посту главы Пумбедитской Академии. Подчеркивал предпочтительность сознательного отношения к религиозным предписаниям формальному следованию им.
- ¹¹⁰ См. Книгу Судей, 14; 15.
- ¹¹¹ Рабба бар-Нахмани (2-я пол. III в. — 1-я пол. IV в.) — вавилонский амора, один из крупнейших законоучителей Вавилонского Талмуда, глава талмудической Академии в Вавилонии (в городе Пумбедите).
- ¹¹² ...танцевал в синагоге со свитком Торы. — У евреев принято в праздник Симхат-Тора (Дарование Торы, букв. ”Радость Торы”) обходить со свитками Торы в руках возвышение (*бима*, ивр.) в синагоге — то есть место, на котором стоит стол или особого рода пюпитр для чтения Торы.

עיריית חיפה/מינהל החתי"ר
האגף לתרבות הייכלת ואמנות
המחלקה לספריות הספרייה הצבורית
ע"ש ש. פבזנר מס'

76134/1

КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов

26. **Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ**
27. **Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН**
28. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1**
29. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2**
30. **А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ**
31. **Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ**
32. **С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА**
33. **Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ**
34. **ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк**
35. **Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА**
36. **И.Башевис-Зингер. РАБ**
37. **Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ**
38. **Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ**
39. **Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ**
40. **Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ**
41. **Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ**
42. **Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ**
43. **Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК**
44. **ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ**
45. **МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков**
46. **Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ**
47. **Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ**
48. **Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ**
49. **Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН**
50. **СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА**
51. **Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ**
52. **Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО**
53. **Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА**
54. **МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах**
55. **Джон Орбах. РИКША**
56. **Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА
СВОЮ СВОБОДУ**

57. **Исаак Бабель.** ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. **Проф. И. Слуцкий.** ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. **Проф. И. Слуцкий.** ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. **Андре Шварц-Барт.** ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. **Эммануэль Литвинов.** ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
62. **Владимир (Зеев) Жаботинский.** ИЗБРАННОЕ
63. **Мартин Бубер.** ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. **Макс И. Даймонт.** ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. **Сол Беллоу.** ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. **ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:**
И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. **А. Сущеввер.** ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. **АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.** Сборник
69. **СКОПУС.** Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР
70. **Ури Дан.** ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. **Моше Шамир.** СВОИМИ РУКАМИ
72. **Л. Коллинз и Д. Лапьер.** О, ИЕРУСАЛИМ!
73. **М. Новомейский.** ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. **М. Гесс.** РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. **Ф. Кандель.** ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. **Ф. Баазова.** ПРОКАЖЕННЫЕ
77. **А. Шлионский.** ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. **Иехуда Бурла.** ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. **Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий.** АГАДА
80. **ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
81. **ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:**
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ
В ИСПАНИИ
83. Х. Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАНЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1

11. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2**
12. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1**
12. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2**
13. **В ОТКАЗЕ. Сборник**
14. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1**
15. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2**
16. **Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА**
17. **В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей**
18. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания**
19. **Оскар Минц. ПРИЗМЫ**
20. **Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА**
21. **Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ**
22. **Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера**
23. **Израэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ**
24. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1**
25. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2**
26. **Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1**
27. **Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2**
28. **Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ**
29. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1**
30. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2**
31. **Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ**
32. **Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ**
33. **Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ**
34. **Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ**
35. **Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...**
36. **Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ**

137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М. Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И. Ахарони, Б. Ротенберг. ПО СЛЕДАМ
ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И. Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А. Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И. Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС — II. Сборник произведений израильских
литераторов, пишущих по-русски

165. **Р. Зернова.** ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.
Сб. рассказов
166. **П. Пели.** ТОРА СЕГОДНЯ
167. **Р. Маркус, Г. Козн, А. Галкин.** ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. **С. Кац.** ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ
169. **Э. Луз.** ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. **Яков Кац.** КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. **ИЗРАИЛЬСКАЯ НОВАЯ ПОЭЗИЯ.** Сб. переводов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. **Рут Сэмюэлс.** ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. **Дорит Оргад.** МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. **Ури Орлев.** ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. **Амос Оз.** СУМХИ
5. **Шмуэль Хуперт.** ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. **Й. Сегал.** ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. **Яэль Розман.** МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И
ПНИНОЙ
8. **Двора Омер.** ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. **Сами Михаэль.** ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. **Шмуэль Авидор-Хакохен.** И СОТВОРИЛ БОГ...
11. **Двора Омер.** ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. **Юрий Суль.** ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. **Ицхак Ной.** РОН И ДЖУДИ
14. **И. Башевис-Зингер.** ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов
и сказок для детей
15. **Эстер Файн.** ХАДАС
16. **Н. Гутман и Э. Бен-Эзер.** МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ
СИНЬЮ
17. **СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я!** Антология израильской детской
литературы. Книга 1

18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской литературы. Книга 2
19. **Одед Бецер.** ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. **Давид Шахар.** ТАЙНА РИКИ
21. **Абба Эвен.** МОЙ НАРОД. Том I
22. **Абба Эвен.** МОЙ НАРОД. Том II
23. **Мартин Гилберт.** АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. **Гиля Альмагор.** ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИА

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р.О.В. 4140
91041 Jerusalem
Israel**

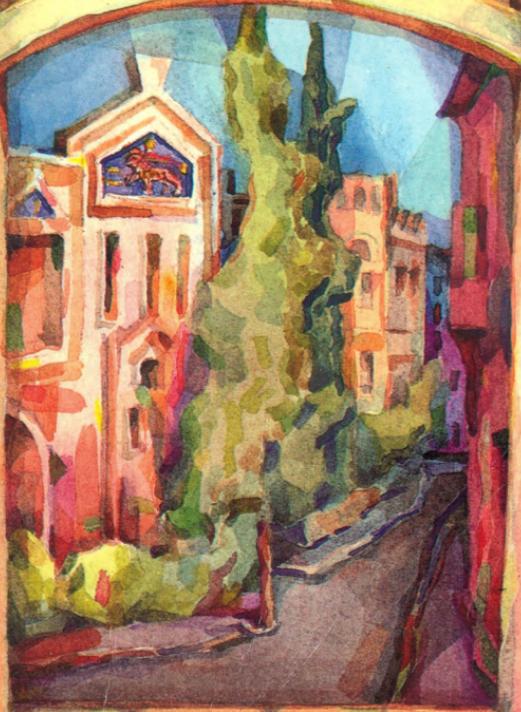


Д. Шахар

ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ

157

Давид Шахар



ЛЕТО НА УЛИЦЕ
ПРОРОКОВ